РИЧАРД ГЕНРИ ДАНА

ДВА ГОДА на ПАЛУБЕ




SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга известного американского писателя XIX столетия Ричарда Генри Даны посвящена описанию морского путешествия автора в качестве простого матроса на паруснике из Атлантического океана в Тихий вдоль берегов Северной и Южной Америки вокруг мыса Горн.

Это — подробный дневник из жизни американского торгового судна; поэтичное описание морской стихии и ее обитателей; интересный этнографический документ о жизни и быте полинезийцев, калифорнийских индейцев и мексиканцев. Это, наконец, социологический очерк, характеризующий положение матросов американского торгового флота того времени.

- Ричард Генри Дана
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Глава VII
  - Глава VIII
  - Глава IX
  - Глава X
  - Глава XI
  - Глава XII
  - Глава XIII
  - Глава XIV
  - Глава XV
  - Глава XVI
  - Глава XVII
  - Глава XVIII
  - Глава XIX
  - Глава XX
  - Глава XXI
  - Глава XXII
  - Глава XXIII
  - Глава XXIV
  - Глава XXV
  - Глава XXVI
  - Глава XXVII

- Глава XXVIII
- Глава XXIX
- Глава XXX
- Глава XXXI
- Глава XXXII
- Глава XXXIII
- Глава XXXIV
- Глава XXXV
- Глава XXXVI
- ПОСЛЕСЛОВИЕ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Краткий словарь морских терминов и выражений

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31

- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73

Ричард Генри Дана
Два года на палубе

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я не хотел бы представлять публике это повествование, не сказав нескольких слов в разъяснение причин, побудивших меня выпустить его в свет. После куперовских «Лоцмана» и «Красного корсара» появилось столько книг о море, что я счел бы неоправданным со своей стороны добавить к ним еще одну без каких-либо объяснений.

По моему твердому убеждению, все книги, претендующие на описание морской жизни, за единственным исключением интересных, но слишком торопливых «Очерков моряка» г-на Эймса, написаны людьми, плававшими или в качестве офицеров военного флота, или просто пассажирами. И лишь очень немногое из написанного может быть принято за пересказ действительных событий.

Замечу, что дисциплина, обычаи и нравы военного корабля в корне отличны от порядков торгового флота. Как бы ни были занимательны и хорошо написаны эти книги, с какой бы точностью они ни воспроизводили жизнь на море, каждому вполне ясно, что офицер военного флота, который всегда остается «джентльменом в перчатках», общается лишь с офицерами, а с матросами в лучшем случае говорит через боцмана и морскую жизнь опишет иначе, нежели простой матрос.

Не говоря уже об интересе, пробуждаемом в нас незнакомыми сторонами жизни, за последнее время немалое внимание было обращено на простых моряков. Тем не менее я уверен, что, кроме упомянутого мной исключения, не написано ни одной книги, отображавшей жизнь этих людей и автором которой был бы один из них. «Голос с палубы» все еще не слышен.

На последующих страницах я намереваюсь дать точный и достоверный рассказ о двух с небольшим годах, проведенных мною в качестве простого матроса на палубе американского торгового судна. Мое повествование написано по дневнику и заметкам и освещает почти все события, в которых я участвовал. Автор не отступает от действительных фактов даже в малейших подробностях и старается представить каждое явление в его истинном свете. При этом я был вынужден пользоваться иногда грубыми выражениями и описывать сцены, тягостные для слишком деликатной натуры. Однако я старался, насколько возможно, избегать их. Причина, побудившая меня опубликовать эту книгу, заключается в желании изобразить жизнь простого матроса, как ее светлых, так и мрачных сторон.

Многое здесь может оказаться непонятным широкой публике,

но по собственному опыту, а также прислушиваясь к мнению довольно обширного круга людей, я убедился, что факты, относящиеся к новым для нас сторонам жизни, так действуют на воображение непосвященных, что те даже не замечают недостатка своих специальных знаний. Тысячи людей, не разбирающихся в названиях снастей, читали в «Лоцмане» описание прорыва американского фрегата через Английский канал или о погоне за британским «купцом» и его крушении в «Красном корсаре», с затаенным дыханием следили за каждым маневром кораблей, будучи незнакомыми даже с азами морского дела.

Эти причины, а также советы друзей склонили меня отдать свое сочинение в печать. Если оно заинтересует широкую публику, привлечет больше внимания к жизни моряков или же даст новые, истинные сведения относительно условий их существования и послужит хоть в какой-то мере их моральному совершенствованию и уменьшению повседневных тягот последних, цель моего труда будет достигнута.

Ричард Генри Дана-младший

Бостон, июль 1840 г.

Глава I
Отплытие

Выход в море брига «Пилигрим», отправлявшегося из Бостона вокруг мыса Горн к западному побережью Северной Америки, был назначен на четырнадцатое августа. Бриг снимался с якоря вскоре после полудня, и в двенадцать часов я явился на борт в полном морском снаряжении, а в сундучке у меня лежало все необходимое для двух- или трехлетнего плавания, на которое я решился, чтобы излечить болезнь глаз, вынудившую меня прервать свое образование. Помощь врачей не оставляла мне надежды, и я рассчитывал теперь на полную перемену образа жизни, длительное отлучение от книг, тяжелую работу, простую пищу и свежий воздух.

Понадобилось не много времени, чтобы сменить тесный сюртук, цилиндр и лайковые перчатки гарвардского студента на свободные парусиновые штаны, клетчатую рубаху и черную шляпу матроса, и я полагал, что с успехом сойду за настоящего просмоленного моряка. Однако наметанный глаз все равно не обманешь, и хоть мне казалось, что я выгляжу не хуже самого Нептуна, конечно же, едва я появился на палубе, каждый безошибочно распознал во мне сухопутного человека. У матроса одежда особого покроя, равно как и манера носить ее, что для новичка при всем старании недостижимо: брюки, плотно обтягивающие бедра, широко и свободно спадают вниз, клетчатая рубаха необъятна; на голове отлакированная с низкой тульей черная шляпа, сдвинутая на затылок и украшенная черной лентой в пол-сажени длиной, свисающей над левым глазом; шея повязана черным шелковым платком. Отсутствие всего этого и еще многого другого незамедлительно выдает новичка. Кроме недостатков в одежде, которые, без сомнения, бросались в глаза, цвет лица и руки тоже отличали меня от настоящего морского волка, с его обожженной солнцем физиономией, широкой походкой вразвалку и бронзовыми заскорузлыми руками, в любой момент готовыми ухватиться за снасть.

Со всеми своими изъянами, написанными на лбу, я присоединился к команде. Нас оттянуло течением от причала, и с наступлением ночи мы стали на якорь. Следующий день был занят приготовлениями к выходу в море: проводкой такелажа [1] для лиселей [2], подъемом бом-брам-реев, клетневанием тросов и погрузкой пороха. С вечера я никак не мог заснуть из-за боязни проспать свою первую вахту. А когда вышел на палубу, сознание

собственной значимости заставило меня беспрестанно расхаживать по всему судну взад-вперед и всякий раз заглядывать то под форштевень, то под корму. Поэтому я был немало удивлен хладнокровием сменившего меня старого матроса, который уютно устроился вздремнуть под баркасом. По его мнению, такой бдительности было вполне достаточно в спокойную ночь на якоре в безопасной гавани.

На следующий день была суббота, утром с зюйда потянул бриз, мы приняли лоцмана, выбрали якорь и, лавируя, стали выходить из бухты. Попрощавшись с друзьями, которые пришли проводить меня, я едва успел в последний раз взглянуть на город, так как на судне совершенно нет времени для проявления чувств.

Во внешней гавани нас встретил противный ветер, поэтому пришлось стать на якорь на рейде. Там мы простояли весь день и часть ночи. Моя вахта начиналась в одиннадцать часов вечера, и мне приказали разбудить капитана, если ветер зайдет на вест. Около полуночи ветер сделался попутным, и когда я доложил об этом, капитан приказал вызвать всех наверх. Не помню уж, как мне удалось проделать это, но, вне всякого сомнения, у меня не получилось ничего похожего на настоящий хриплый боцманский окрик: «Пошел все наверх! С якоря сниматься!» Мигом все пришло в движение: паруса были отданы, реи обрасоплены, и мы начали выбирать якорь — то последнее, что связывало нас с землей янки. Из-за слабого знания судна я не в полной мере мог участвовать во всех этих приготовлениях. Непонятные для меня команды отдавались с поразительной быстротой и незамедлительно исполнялись; вокруг была такая суета, было столько недоступных моему пониманию криков и действий, что я пришел в полное замешательство. Нет ничего более безнадежного и жалкого, чем сухопутный человек, начинающий жизнь моряка. Наконец, послышались те особенно протяжные звуки, которые сопровождают работу матросов на шпиле. Под штевнем зашумела вода, сырой бриз накренил судно, оно тяжело перевалило через первую волну, словно прощаясь с родиной, — наше долгое, долгое плавание началось.

Глава II
Первые впечатления

Наш выход в море пришелся на воскресенье. На судне было много дел, и нас целый день продержали за работой. С вечера всех распределили по вахтам и был установлен морской распорядок. Когда команду вызвали на корму, я увидел превосходный образчик капитана. Он обратился к нам с короткой выразительной речью, не переставая расхаживать по юту, покуривая сигару и роняя слова между затяжками.

«Ну, дети мои, мы начали долгий рейс. Если мы поладим, то приятно проведем время, если же нет — у нас будет сущий ад. Все, что вам придется делать, — это подчиняться приказам и исполнять свои обязанности, как подобает мужчинам, — и тогда вам будет хорошо. Если же нет — вам придется туго, это говорю вам я. Если мы споемся, я окажусь неплохим парнем, если нет — хуже черта рогатого. Вот все, что я хотел сказать. Вахта левого борта вниз!»

Я оказался в вахте правого борта, со вторым помощником, и сразу получил возможность отстоять свою первую вахту. Вместе со мной оказался Стимсон, такой же молодой парень и тоже отправлявшийся в свой первый рейс. Раньше он служил в конторе бостонского коммерсанта, и у нас нашлись общие знакомые, о которых мы и принялись рассуждать, пока не пришла его очередь заступить впередсмотрящим. Мне же представился великолепный случай для размышлений. И тут я в первый раз ощутил абсолютную тишину моря.

На юте, где я не имел права появляться, расхаживал помощник капитана, двое матросов беседовали на баке, однако у меня не было желания присоединиться к ним; я полностью отдался впечатлениям от всего окружающего. Но сколь ни поразительны были красота моря, яркие звезды и быстро мчавшиеся на их фоне облака, я не мог не думать о том, что отдаляюсь от всех радостей цивилизованной жизни. И все же, как это ни странно, тогда и после эти размышления доставляли мне удовольствие — с их помощью я надеялся сохранить свою связь с теми ценностями, с которыми расстался.

Мои размышления были прерваны командой брасопить реи — ветер стал заходить на нос. По лицам матросов, то и дело посматривающих на наветренную сторону, и по быстро затягивавшим небо темным тучам я понял, что надо приготовиться к дурной погоде. Я слышал, как капитан сказал,

что рассчитывает к полуночи войти в Гольфстрим. Через несколько минут пробило восемь склянок, вахта сменилась, и мы отправились вниз. Вот теперь я по-настоящему ощутил неудобства морской жизни. Кубрик, где мне предстояло жить, оказался заваленным бухтами троса, запасными парусами, какой-то рухлядью и прочим неприбранным имуществом. Там не было даже коек, и нам не позволили вбить гвозди, чтобы повесить одежду. К тому же поднялось волнение, судно сильно раскачивалось с борта на борт, и все пришло в величайший беспорядок. Как говорят моряки, «все сверху и ничего под рукой». На моем сундуке была свалена тяжелая бухта троса. Мои шляпы, сапоги, матрас с одеялами скатились к подветренному борту, и их придавило ящиками и бухтами тросов. В довершение всего нам не разрешили зажигать огонь. Я уже чувствовал сильные приступы морской болезни, апатию и безразличие, которые всегда сопровождают ее. Отказавшись от всяких попыток собрать свои вещи, я улегся на паруса, ожидая каждую минуту команду: «Пошел все наверх!» Вскоре по палубе часто забарабанили капли дождя, и у вахты, по всей видимости, прибавилось работы, так как то и дело громко раздавались команды помощника капитана, слышались топот ног, скрип блоков и весь набор звуков, сопровождающих приближение шторма. Через несколько минут откинулась крышка люка, из-за чего шум и крики, доносившиеся с палубы, сделались еще громче, и наши уши были обласканы криком: «Все наверх, да поживее! Паруса убирать!» — и люк снова захлопнулся. Когда я выскочил на палубу, меня ожидали новые впечатления.

Маленький бриг шел круто к ветру и лежал, как мне тогда показалось, почти на борту. Сильная встречная волна била о штевень с грохотом парового молота и, влетая на палубу, окатывала нас с головы до ног. Марса-фалы были отданы, большие паруса полоскали, ударяясь о мачты и хлопая с громоподобным шумом; ветер свистел в такелаже; незакрепленные снасти хлестали по воздуху; непрестанно слышались громкие, непонятные для меня команды; матросы тянули снасти, до хрипоты в глотках выводя странные, замысловатые куплеты шанти [3].

В довершение всего я еще не успел «оморячиться», испытывал ужасающую тошноту и едва стоял на ногах, держась за какие-то предметы в кромешной темноте. Таково было мое состояние, когда мне приказали лезть наверх (впервые в жизни), чтобы брать рифы у брамселей.

Теперь уже и не представляю, как мне это удалось. Я держался за рей изо всех сил. Пользы от меня было немного.

Хорошо помню, что на марса-рее меня несколько раз охватывали приступы тошноты и мой желудок судорожно опорожнялся в черноту ночи. Тем временем на мачтах все было приведено в порядок, и нам разрешили сойти вниз. Это не показалось мне большим благом, так как хаос и неописуемо тошнотворный запах перекатывавшейся в трюме воды делали кубрик ничем не лучше холодной и мокрой палубы. Я много читал о пережитом в море другими людьми, но теперь мне казалось, что их беды не идут ни в какое сравнение с моими страданиями. Ведь в добавление ко всем напастям я ни на минуту не мог забыть, что началась лишь первая ночь двухлетнего плавания.

На палубе было не легче. Помощник капитана непрестанно отдавал команды. Кажется, он говорил, что двигаться полезно. Я был согласен на все, лишь бы выбраться из ужасного кубрика. Когда к горлу подступала тошнота, я подходил к люку, высовывал наружу голову и получал мгновенное облегчение, как от лучшего рвотного средства.

Так продолжалось два дня.

Среда, 20 августа. Сегодня утром наша вахта была с четырех до восьми. Выйдя на палубу, мы увидели, что все сильно изменилось к лучшему. Ветер и море успокоились, появились яркие звезды. Изменилось и мое самочувствие, хотя я все еще был очень слаб от морской болезни. Стоя на шкафуте с наветренного борта, я наблюдал за постепенным зарождением дня и первыми полосами ранней зари. О восходах в море написано очень много, но ни один из них не может сравниться с утром на суше. В море недостает пения птиц, говора проснувшихся людей, первых скользящих лучей солнца, освещающих деревья, холмы, колокольни и крыши домов, — всего, что так оживляет и одухотворяет рассвет. Здесь нет никакого пейзажа. Восход солнца в море являет собой непревзойденное — тоскливое и печальное — зрелище.

В первых серых полосах, протянувшихся вдоль горизонта и отбрасывающих едва заметный свет на поверхность вод, есть нечто меланхолическое; в сочетании с беспредельностью океана и его непостижимыми глубинами рассвет вызывает чувства одиночества и щемящей тоски, с которыми не может сравниться ничто другое в природе. Постепенно, по мере того как свет становится ярче, меланхолия проходит, и когда встает солнце, начинается обычный день в море.

Мои размышления были прерваны командой помощника: «Пошел все на бак! Баковую помпу изготовить!» Я понял, что здесь не полагается мечтать и мы должны браться за дело, как только начинает светать. Вызвав наверх всех «бездельников», а

именно плотника, кока и стюарда, и вооружив помпу, мы принялись скатывать палубу морской водой. Эта процедура совершается в море каждое утро и занимает около двух часов. У меня едва хватило сил, чтобы выдержать ее до конца. Когда мы справились с этим, пролопатили палубу и уложили все снасти в бухты, я уселся на запасное рангоутное дерево в ожидании семи склянок, служивших сигналом к завтраку. Вахтенный помощник, заметив мою ленивую позу, велел мне смазать грот-мачту от топа до палубы.

Судно все еще немного покачивало, а я уже три дня ничего не ел и хотел было ответить, что не лучше ли приняться за дело после завтрака, но понял — надо именно сейчас «брать быка за рога», и если я проявлю хоть малейший признак малодушия или нерасторопности, то сразу же и окончательно погибну. Поэтому ничего не оставалось делать, как взять ведерко с салом и лезть на бом-брам-стеньгу.

Качка, которая усиливается, чем выше вы поднимаетесь, запах сала, раздражавший мое утонченное обоняние, сызнова вывернули мой желудок, и я немало радовался, когда закончил работу и вернулся на относительно устойчивую палубу. Через несколько минут пробило семь склянок, был вытравлен лаг, вызвана вахта, и мы отправились завтракать. Не могу не вспомнить здесь совет нашего простодушного африканца-кока. «Теперь, парень, — сказал он, — тебя как следует вычистило и у тебя в трюме не осталось ни капли береговой воды. Ложись-ка на другой галс и принимайся за добрую и здоровую солонину. Даю слово, на ребрах у тебя нарастет и ты будешь ничем не хуже других еще до того, как мы подойдем к Горну». Его совет пригодился бы и многим пассажирам, которые пробавляются бесполезными деликатесами, заготовленными специально на случай морской болезни.

Невозможно описать перемену, произведенную во мне полуфунтом холодной солонины и парой галет. Я словно родился заново. Находясь до полудня на подвахте, когда можно было выкроить для себя немного времени, я раздобыл у кока солидный кусок твердой солонины и без устали глодал его. Когда мы вышли на палубу, я чувствовал себя почти как настоящий мужчина и мог уже с заметным воодушевлением начинать обучаться своему морскому ремеслу. Около двух часов пополудни с мачты раздался громкий крик впередсмотрящего: «Вижу парус!» — и скоро с наветра появились два судна, шедшие нам наперерез. Я впервые видел суда в море и подумал, что ни одно зрелище не может быть столь захватывающим и превзойти это по красоте. Суда прошли с подветра достаточно далеко от нас, чтобы

их можно было окликнуть, но капитан смог прочесть их названия в подзорную трубу. Это были корабль «Элен Мар» из Нью-Йорка и бриг «Мэрмэйд» из Бостона. Оба держали на вест, направляясь к нашей дорогой родине.

Четверг, 21 августа. Сегодня ясный восход, попутный ветер, вокруг все светло и радостно. Я успел «оморячиться» и начинаю постигать свои обязанности. Около шести склянок, то есть в три часа пополудни, слева по курсу заметили парус. Мне, как любому новичку, очень хотелось поболтать со встреченными коллегами. Судно приблизилось к нам, обстенило грот-марсель, и оба корабля легли в дрейф, кланяясь на зыби друг другу, словно пара боевых коней, сдерживаемых наездниками. Это было первое судно, которое я видел в море вблизи, и меня поразило, как сильно оно качалось при таком спокойном море. Оно то зарывалось носом, то медленно оседало в море кормой, и тогда вздымался его форштевень, обнажая блестящую медную обшивку. Палубы «незнакомца» были полны пассажиров, которые, услышав крики: «Парус! Парус!», тоже вышли наверх посмотреть на нас. По своему внешнему виду они походили на швейцарских и французских эмигрантов. Сначала нас окликнули по-французски, но, не получив ответа, перешли на английский. Это была «Каролина», шедшая из Гавра в Нью-Йорк. Мы просили сообщить о нас: бриг «Пилигрим», пять суток из Бостона, на пути к северо-западному побережью Америки. После этого «Каролина» наполнила ветром паруса и оставила нас бороздить в одиночестве водную пустыню.

Существует особый порядок переговоров между судами в море: «Что за судно?» — «„Каролина“, из Гавра, направляюсь в Нью-Йорк. Кто вы?» — «Бриг „Пилигрим“, Бостон, рейсом в Калифорнию, пять суток из порта». Если нет надобности в каких-нибудь добавочных сведениях или просто нет времени, эта форма остается почти всегда неизменной.

День завершился прекрасно. Установилась благоприятная, устойчивая погода, потянулась рутина морских будней, нарушаемая только штормами, появлением паруса или земли на горизонте.

Глава III
Порядки на судне

Хорошая погода установилась надолго, и никакие происшествия не нарушали однообразия нашей жизни. Поэтому лучше всего именно сейчас описать порядки, правила и обычаи на американских торговых судах, прекрасным образцом которых был наш бриг.

Прежде всего о капитане, нашем всемогущем повелителе. Он не стоит вахту, поднимается на палубу и уходит, когда ему заблагорассудится, никому не обязан давать отчет, а, напротив, все и во всем должны беспрекословно повиноваться ему, даже старший помощник. Он может собственной властью смещать своих помощников и даже разжаловать их в матросы. Если на судне нет пассажиров и суперкарго, как, например, у нас, единственным обществом для него остается собственное величие, а из удовольствий — лишь сознание верховной власти и ее применение.

Первым министром, исполнительной и надзирающей властью является старший помощник. Это первый лейтенант, боцман, парусный мастер и старший рулевой, вместе взятые. Капитан говорит ему обо всем, что хочет сделать на судне, возлагая на него руководство работами, их распределение, а также ответственность за выполнение. Кроме того, старший помощник (его называют просто помощник, par excellence [4]) делает записи в судовом журнале, за что несет ответственность перед судовладельцами и страховщиками, распоряжается погрузкой, хранением и доставкой груза. Вне службы это обычно ex officio [5] первый остроумец команды, поскольку капитан не снисходит до шуток с матросами, а на второго помощника никто не обращает внимания. Поэтому когда помощник находит уместным позабавить «народ» грубоватой шуткой или же пройтись на чей-нибудь счет, каждый считает своим долгом рассмеяться.

У второго помощника, как говорится, собачья должность. Это не офицер и не матрос. Он обязан лезть наверх брать рифы и вместе со всеми пачкаться дегтем во время смоления. Матросы не видят в нем командира и называют «подавальщиком», так как ему приходится раздавать им шкимушгар, марлинь и прочие материалы, нужные для работы. Кроме того, он заведует боцманской кладовой со всеми ее лопатками для клетневания, свайками и прочим и прочим. Капитан требует от него сохранять достоинство и держать матросов в повиновении, но в то же время

его самого и близко не подпускают к делам старшего помощника и заставляют работать вместе с командой. Это человек, кому мало дают и с кого много спрашивают. Но все же в большинстве случаев ему платят вдвое больше против обычного матроса; он ест и спит в каюте, но обязан почти все время находиться на палубе, и кушанье ему подают во вторую очередь, то есть то, что остается после капитана и старшего помощника.

Стюард — это капитанский слуга. Он заведует буфетом, к которому никто, кроме него, не допускается, даже старший помощник. По этой причине сей последний обычно становится его врагом, так как не любит, чтобы на судне были неподвластные ему люди. Команда не считает стюарда за своего, так что он полностью отдан на милость капитана.

Кок, которого обычно титулуют «доктором», — благодетель всей команды, и те, кому удается заслужить его расположение, имеют возможность сушить свои чулки и рукавицы, а во время ночной вахты брать на камбузе огонь для трубки. Сии две персоны, а также плотник и парусный мастер, если таковой имеется, не стоят вахту, и после отработанного дня им дозволяется спать всю ночь, за исключением тех случаев, когда подается команда «Все наверх!».

Матросы разделены, по возможности равномерно, на две части, называемые вахтами левого и правого борта, которыми соответственно командуют старший и второй помощники. Время распределено так: четыре часа вахты на палубе и четыре часа внизу или, как говорят, на подвахте. Ночные вахты именуются первой, средней и утренней. Если, к примеру, старший помощник и его вахта заняты с восьми до двенадцати, то в полночь вахта второго помощника сменяет их на палубе до четырех часов утра, когда первые снова заступают и стоят до восьми. Поскольку при таком распорядке вахта старшего помощника находится на палубе восемь часов из двенадцати, а другая лишь четыре, первая имеет так называемую «предполуденную подвахту» с восьми часов до полудня. На военных судах да и на некоторых торговых такая смена вахт поддерживается двадцать четыре часа и называется «в две вахты», но на нашем судне, как и на большинстве других «купцов», с полудня до темноты на палубе работали все матросы, и только в очень плохую погоду нам разрешали переходить днем на две вахты.

Для читателя, никогда не бывавшего на море, следует рассказать о «собачьих вахтах» [6]. Они устроены, чтобы одним и тем же людям не приходилось находиться в одно и то же время на палубе в течение всего плавания. Поэтому вахта с четырех до восьми пополудни разделена на две полувахты — с четырех до

шести и с шести до восьми. Благодаря этому двадцать четыре часа делятся на семь вахт вместо шести, и каждую ночь часы вахты сдвигаются. «Собачьи вахты» приходятся на время сумерек, непосредственно перед наступлением ночных вахт, когда дневные работы завершены и весь экипаж собрался на палубе. Капитан прогуливается на юте с наветренного борта, старший помощник — с подветренного, а второй — на шканцах с наветра. Стюард закончил свои дела в каюте и вышел покурить вместе с коком на камбузе. Команда расселась вокруг шпиля или улеглась на баке, попыхивая трубками, напевая песни или рассказывая свои бесконечные истории. В восемь часов бьет восемь склянок, вытравливают лаг, выходит вахта, сменяется рулевой, запирается камбуз, подвахтенные идут вниз.

Утро начинается с того, что, едва забрезжит рассвет, вахтенные уже «поворачиваются» — скатывают и лопатят палубу. Все это, а также наполнение бачка свежей водой и укладка снастей занимает время до семи склянок (то есть до половины восьмого), когда команда получает завтрак. В восемь начинается дневная работа и продолжается до захода солнца, исключая час на обед.

Прежде чем закончить эти объяснения, будет уместно рассказать о дневной работе и устранить одно заблуждение, распространенное среди сухопутных жителей. Нет ничего более обычного, чем такая фраза: «А разве в море у матросов есть какое-нибудь дело? Чем же они там занимаются?» Это вполне объяснимая ошибка, но, поскольку она повторяется очень часто, все моряки заинтересованы в ее исправлении. Так вот, прежде всего судовая дисциплина требует, чтобы каждый находящийся на палубе матрос был всегда чем-нибудь занят, исключая воскресенья и ночные часы. Все остальное время вы никогда не увидите на палубе порядочного судна ни одного праздного матроса, который бы просто сидел или стоял, облокотившись на борт. Каждому помощнику капитана надлежит следить, чтобы все работали, даже если нет никаких других дел, как соскребать ржавчину с якорных цепей. Ни в одной тюрьме заключенных не занимают работой так регулярно и не подвергают такому тщательному надзору. Во время работы запрещены всякие разговоры, и если на мачтах или же оказавшись рядом матросы нередко переговариваются, то при появлении помощника капитана они сразу замолкают.

Что касается работы, которую задают матросам, то человек, никогда не бывавший в море, может просто ничего здесь не понять. Когда «Пилигрим» вышел в море и я увидел, что нас непрестанно заставляют что-нибудь делать, и так по прошествии

и первой, и второй недели, я решил, что судно приводится в походный порядок, и все это скоро закончится, а мы будем только управляться с парусами. Но на самом деле так продолжалось в течение всех двух лет, и к концу плавания работы было столько же, сколько в начале. Как иногда говорят, судно подобно дамским часам — на нем всегда что-нибудь неисправно. При выходе из порта надо завести снасти для лиселей и проверить весь бегучий такелаж, чтобы заменить все непригодные концы новыми; затем осматривают стоячий такелаж, нужное меняют и чинят тысячами всяких способов. Если некоторые из бесчисленных снастей оказываются потертыми или износившимися, на них полагается наложить так называемую клетневку. Только клетневанием на судне должны быть заняты один или два человека ежедневно в течение всего плавания.

Следует учесть еще и то, что все «тонкие концы», применяемые на судне, — а к ним относятся шкимушгар, бензельные и тренцевальные лини и марлини — изготавливаются самими матросами. Владельцы судна закупают в неимоверных количествах старую рухлядь — тросы, которые матросы должны распускать, сплетать в каболки и скатывать клубками. Такие каболки используются потом для самых различных целей.

Другой способ занять команду — это обтягивание стоячего такелажа. Если где-нибудь появляется слабина (а случается это постоянно), полагается снять бензели, завести тали, и после того, как снасть выбрана втугую, бензели и накладки возвращаются на место. К тому же различные части судна настолько связаны между собой, что редко можно тронуть одну снасть, ничего не делая с другими. Невозможно придать мачте наклон на корму бакштагами, не ослабляя фор-штаги, и т. д. Если добавить к этому смоление, прожиривание, промасливание, лакирование, всевозможные выскабливания и отскребывания, которые необходимы во время длительного плавания, да еще учесть, что все это делается в *дополнение* к ночным парусным вахтам и вахтам на руле, зарифливанию, уборке и постановке парусов, не говоря уже о том, что нужно то и дело тянуть, выбирать и наваливаться, вряд ли возникнет вопрос: «А чем же занимаются матросы в море?»

И если после всех этих трудов, после того как приходится рисковать руками и ногами и даже своей жизнью во время штормов, в морозы и в непрестанной сырости,

Когда медведица скрывается в берлоге,
А лев и волк поджарый
Свои меха от ливня берегут,

владельцу или капитану покажется, что матросы не заработали свои двенадцать долларов в месяц (из которых они должны еще и обмундировать себя), свою солонину и сухари, их заставляют щипать пеньку — занятие поистине бесконечное. Это верный способ занять людей на случай дождливого дня, когда нельзя работать с такелажем, потому что с небес льют потоки. И разве можно оставить матросов в сухом помещении и дать им спокойно поговорить друг с другом? Нет, их разводят по судну и сажают все за ту же пеньку. Я видел эту пеньку, сложенную в самых разных местах, дабы матросы не оставались без дела между шквалами, которые так часты у экватора. Некоторые помощники настолько усердны в изыскании занятий для команды, что заставляют людей драить якорные цепи. Недаром в «Филадельфийском катехизисе» [7] сказано:

> Шесть дней тебе назначено сгибаться и потеть,
> А на седьмой — песочить палубу и драить якорную цепь.

Конечно, у Горна или мыса Доброй Надежды, так же как и в крайних северных и южных широтах, не до этого. Но мне случалось видеть, как палубу драили и скатывали, хотя вода не замерзала только из-за своей солености, а матросов заставляли работать с такелажем, когда их руки так коченели, что еле удерживали свайку.

В этой главе я отошел от своего повествования ради того, чтобы читатель мог с самого начала получить сколь возможно правильное представление о жизни и обязанностях матроса. Тем более что некоторое время наше существование и заключалось лишь в однообразном исполнении этих обязанностей, каковые лучше всего было описать сразу и в полной совокупности. Но прежде чем покончить с этим описанием, я хочу, дабы показать сухопутному читателю, насколько он мало знаком с природой корабельного быта, заметить следующее: при хорошей погоде на судне, содержащемся, как принято говорить, в лучшем морском виде, судовой плотник не остается без работы ни одного дня.

Глава IV
Воскресенья в море

После встречи с «Каролиной» 21 августа ничто не нарушало однообразия нашей жизни вплоть до

пятницы, 5 сентября, когда мы увидели на траверзе с правого наветренного борта судно, оказавшееся бригом под английским флагом. Пройдя у нас за кормой, он сообщил, что вышел сорок девять дней назад из Буэнос-Айреса в Ливерпуль. Не успел «англичанин» скрыться из виду, как снова раздался крик: «Вижу парус!» — и появилось другое судно по носу, пересекавшее наш курс с наветренного борта. Оно прошло далеко, и окликнуть его не удалось, но мы рассмотрели, что это бригантина под бразильским флагом на грот-мачте. По всей вероятности, она шла из Бразилии в Южную Европу, возможно в Португалию.

Воскресенье, 7 сентября. Вошли в пассат от норд-оста. Утром поймали первого дельфина, которого я рассматривал с величайшим любопытством. Меня разочаровал цвет этого животного, когда оно испускало дух. Дельфины, конечно, очень красивы, но все-таки не в такой степени, как об этом говорят. Впрочем, надо отдать им должное — нет зрелища, производящего большее впечатление, чем дельфин, плывущий на глубине всего нескольких футов в яркий солнечный день. Он отличается поразительным изяществом формы, и его считают самым быстрым животным соленых вод. Падающие на дельфина лучи солнца, благодаря стремительности и переменчивости движения, а также отражениям от воды, делают его похожим на осколок радуги.

Сегодняшний день прошел, как и все благополучные воскресенья в море. Палубу скатили, снасти были уложены, и все приведено в порядок. Днем на палубе держали только одну вахту. Матросы надели белые полотняные брюки и красные клетчатые рубашки и ничего не делали, кроме необходимой работы с парусами. Обычно по воскресеньям все занимаются чтением, разговорами, покуривают трубочки и чинят одежду. Если погода хорошая, выносят свою работу и книги на палубу и рассаживаются вокруг шпиля на баке. Воскресенье — единственный день, когда разрешены подобные вольности. Наступает понедельник, снова надеваются просмоленные штаны, и опять шесть дней непрестанного труда.

Привлекательность воскресенья для команды увеличивается еще и тем, что в этот день дают пудинг, или, как его называют,

«тесто». Это не более чем мука, заваренная кипятком и приправленная патокой. Несмотря на липкость и темный цвет, пудинг считается деликатесом, да и на самом деле составляет приятное разнообразие к соленой говядине и свинине. Многие ненавистные капитаны искупали зверское обращение с командой только тем, что в обратном рейсе давали «тесто» два раза в неделю.

На некоторых судах воскресенье сделано днем учения и религиозной службы, но наша команда состояла сплошь из одних богохульников, от капитана до самого зеленого юнги, и поэтому не приходилось ожидать чего-нибудь большего, чем непритязательный отдых и спокойное развлечение разговорами.

Несколько дней мы шли в бакштаг, используя пассат, и так продолжалось до понедельника

22 сентября. Выйдя на палубу утром в семь склянок, мы увидели, что вахта на мачтах обливает паруса водой, а по корме — черное двухмачтовое судно клиперной постройки, шедшее за нами. Мы сразу принялись за работу и поставили всю парусину, какую только можно, используя в качестве лисель-спиртов даже весла. Мы не переставали смачивать паруса из подтянутых к топам ведер. Так продолжалось до девяти часов, когда пошел моросящий дождь. Незнакомое судно не прекращало преследования, и всякий раз, как только мы меняли курс, чтобы идти фордевинд, оно делало то же самое. Капитан следил за ним в подзорную трубу и сказал, что наш преследователь вооружен, полон людей и не показывает флага. Мы продолжали идти фордевинд, зная, что имеем при этом наилучший ход, а клипера быстрее всего идут круто к ветру. У нас было еще одно преимущество — дул легкий ветер, и мы поставили больше парусов, неся брамсели и бом-брамсели на фоке и гроте и еще десять лиселей, в то время как на неизвестном судне смогли добавить только гаф-топсель. Утром оно несколько приблизилось к нам, но когда пошел дождь и ветер еще более ослабел, начало отставать. Вся наша команда оставалась на палубе до самого вечера, и мы привели в готовность огнестрельное оружие. Но нас было слишком мало, и вряд ли мы могли бы что-нибудь сделать, если бы наши опасения подтвердились. К счастью, ночь оказалась безлунной и на редкость темной, так что, погасив все огни и изменив курс на четыре румба, мы надеялись ускользнуть. Мы даже не подсвечивали нактоуз и держали по звездам, сохраняя все время абсолютную тишину. На рассвете горизонт был совершенно пуст, и мы легли на прежний курс.

Среда, 1 октября. Пересекли экватор по западной долготе 24°24'. Теперь в соответствии со старинным обычаем я получил

право называться сыном Нептуна и немало радовался, что заслужил сей титул без той неприятной церемонии, которую приходится претерпевать столь многим. Единожды перейдя экватор, вы уже навсегда освобождаетесь от этого обряда и получаете все права подстраивать разные шутки новичкам. Если на судне нет пассажиров, сия традиция соблюдается теперь лишь в редких случаях, но когда таковые имеются, всегда бывает много веселья и развлечений.

По прошествии некоторого времени все матросы убедились в том, что второй помощник по имени Фостер — самый пустой и неосновательный человек, да и как моряк тоже плох, и что капитан крайне недоволен им. А права капитана в подобных случаях хорошо известны, и все мы предвидели неприятности. Фостера (которого называли мистером только благодаря его должности) можно было считать моряком лишь наполовину, так как прежде он ходил только в короткие рейсы, оставаясь в промежутках между ними подолгу на берегу. Его отец владел некоторым капиталом и намеревался дать сыну порядочное образование; однако вследствие лености и неспособности к учению его пришлось отдать в морскую службу, но и там он преуспел ничуть не больше. К тому же, в отличие от многих других бездельников, этот человек совсем не обладал качествами моряка; он, как говорится, был слеплен не из того теста. Фостер зачастую пускался в долгие рассуждения с командой, наговаривал на начальство и шутил с юнгами, то есть всячески подрывал дисциплину. Подобное поведение всегда подозрительно для капитана и в конце концов не одобряется даже самими матросами. Они скорее предпочитают энергичного и требовательного помощника, который умеет держать дистанцию, но относится к команде по-человечески. Среди прочих дурных привычек Фостер имел обыкновение спать на вахте и, застигнутый однажды капитаном, получил предупреждение, что в следующий раз будет отстранен от должности. Для того чтобы помешать ему спать на вахте, капитан приказал убрать с палубы клетки для кур. Сам капитан никогда даже не присаживался, будучи на палубе, и не позволял этого помощникам.

На вторую ночь после прохождения экватора наша вахта стояла с восьми до двенадцати, и последние два часа был мой черед на штурвале. Всю ночь налетали легкие шквалы, и капитан велел мистеру Фостеру, командовавшему нашей вахтой, смотреть в оба. Встав за штурвал, я вскоре увидел, что помощник совсем осовел и в конце концов улегся на световой люк и крепко заснул. Вскоре на палубу тихо поднялся капитан и встал рядом со мной, поглядывая на компас. Помощник все-таки почувствовал его

присутствие, но сделав вид, что ничего не замечает, начал потихоньку напевать и насвистывать, стараясь показать, будто совсем не спал; потом, не оглядываясь, пошел на шкафут и скомандовал поставить грот-бом-брамсель. Повернувшись, чтобы идти обратно на ют, он изобразил удивление при виде капитана. Но это притворство не помогло. Капитан без долгих отлагательств тут же принялся за него и устроил отменнейший разнос в наилучшем морском стиле: «Ах, ты, подлец никчемный! Погляди на себя — ведь ты не человек, не моряк, ты хуже юнги и хуже последнего отиралы. Да что там! На корабле ты просто бревно! Соли своей и то не отрабатываешь!» За этим последовали еще более изысканные перлы из морского лексикона. По окончании сей проповеди бедняга был отослан в свою каюту, а остаток вахты капитан отстоял сам.

Утром, когда отбили семь склянок, всю команду собрали на палубе и объявили, что Фостер больше не помощник капитана и мы сами можем избрать из своего числа второго помощника. Подобное довольно часто практикуется капитанами, и они поступают весьма благоразумно, так как матросы в таких случаях чувствуют себя как бы хозяевами положения, и это льстит им, хотя собственная их участь остается неизменной — повиноваться и не более. Как обычно в подобных случаях, наша команда отказалась принять ответственность в выборе человека, на которого мы уже не смогли бы потом жаловаться. Поэтому решение оставалось за капитаном. Он избрал энергичного и сметливого молодого матроса, родившегося на берегах Кеннебека и уже сделавшего несколько рейсов в Кантон. О его производстве было объявлено в таких выражениях: «Я выбрал Джима Холла, он будет вторым помощником. А ваше дело простое — повиноваться ему так же, как мне. Да не забудьте, теперь он *мистер* Холл».

Фостер перебрался в кубрик и лишился приставки к своему имени, а молодой Джим, став мистером Холлом, водворился в новой резиденции в царстве столовых ножей, вилок и чайных чашек.

Воскресенье, 5 октября. Мы стояли утреннюю вахту. Вскоре после рассвета впередсмотрящий на баке закричал: «Вижу землю!» Я никогда еще не слышал, как в море оповещают о появлении земли, и даже не понял, что это означает (мало до кого дошел бы смысл этих слов с первого раза, настолько неразборчиво их выкрикивают). Однако, заметив, куда направлены все взгляды, я тоже увидел на траверзе с наветра полоску земли. Мы сразу убрали лисели, легли в крутой бейдевинд и пошли к берегу. Это было сделано, чтобы определить нашу долготу, так как по капитанскому хронометру мы были на

25° к западу от Гринвича а по обсервациям значительно дальше, и капитан никак не мог разобраться, что же у него неисправно — хронометр или секстан. Открывшийся берег разрешил загадку, и первый из подозреваемых был осужден. В дальнейшем хронометр стал идти совсем плохо и уже совершенно не использовался.

Приблизившись к берегу, мы обнаружили, что вышли к порту Пернамбуко. В подзорную трубу были видны крыши домов, большая церковь и даже город Олинда. Мы подошли к самой гавани и увидели, как в нее устремляется бриг под всеми парусами. В два часа пополудни мы взяли мористее, оставив землю справа по корме, а к закату земля совсем исчезла из виду. Здесь я впервые увидел одно из тех необычных сооружений, которые называют катамаранами. Они состоят из нескольких связанных вместе бревен, причем люди сидят там, погрузив ноги в воду. Катамараны несут один большой парус, достаточно быстроходны и, как ни странно, по мореходности не уступают нашим шлюпкам. Мы наблюдали несколько таких катамаранов, управляемых одним или тремя индейцами, они смело пускались в открытое море почти в полной темноте. Индейцы выходят на этих суденышках ловить рыбу и, поскольку бывают времена года с устойчивой погодой, ничего не боятся. Мы простились с городом Олиндой и продолжали держать курс к мысу Горн.

Вплоть до широты Ла-Платы нам не встретилось ничего примечательного. В этом месте нередки яростные штормы от зюйд-веста, называемые «памперос». Они чрезвычайно губительны для судоходства по реке и распространяются на много лиг в океан. Обычно им предшествуют молнии. Капитан велел помощникам не спускать глаз с горизонта и, как только сверкнет вспышка, не мешкая убирать паруса. Для начала нас лишь слегка задело, как раз во время моей вахты. Я прохаживался у подветренного борта, когда мне показалось, что справа по носу прочертила молния. Я доложил об этом второму помощнику, и он некоторое время пристально всматривался в темноту. На зюйд-весте была густая чернота, и минут через десять мы заметили отчетливую вспышку. Ветер, дувший от зюйд-оста, стих. Воцарился мертвый штиль. В мгновение ока мы были на реях, убрали брамсели, бом-брамсели и бом-кливер, взяли грот и трисель на гитовы, обрасопили реи и стали ждать шквала. Плотный туман, окаймленный черными тучами, стеной двигался на нас, закрывая звезды, которые ярко горели на свободной части горизонта. И тут же обрушился шторм со шквалом и ливнем. Град и потоки воды не давали дышать, даже самые крепкие были вынуждены повернуться спиной. Наше маленькое судно увалилось под ветер, и некоторое время мы шли чисто на

фордевинд, продираясь сквозь стену воды. Вся команда была вызвана наверх; на марселях и триселе взяли все рифы, кливер и нижние паруса убрали, поставили фор-стеньги-стаксель — и бриг, приведясь круто к ветру, лег почти на прежний курс.

Это было мое первое испытание, заслуживающее названия шторма. Правда, мы уже брали рифы в Гольфстриме, что показалось мне тогда нешуточным делом, но, конечно, опытные моряки не придали бы этому никакого значения. Теперь я привык к судну и матросской работе и мог быть полезным на рее. Вместе со всеми я по команде поднимался на мачту, а зарифливание парусов стало казаться мне захватывающим состязанием: одна вахта брала рифы на фор-марселе, другая — на гроте, и каждая изо всех сил старалась закончить первой. У нас было большое преимущество перед нашими соперниками, потому что старший помощник никогда не работает на рее, а наш новый второй всегда бросался на ванты, едва мы начинали обтягивать риф-тали. Первыми завязав сезни, мы скатывались вниз по бакштагам и вантам и налегали на марса-фалы, показывая этим, что победа осталась за нами. Вообще, взятие рифов — самое азартное в работе матроса. Тут занята вся команда, а после того как отданы фалы, нельзя терять ни минуты — никаких передышек и мешканий. Стоит задержаться на секунду, через тебя сразу переступят и обгонят. Первый на рее идет к наветренному ноку, второй — к подветренному, следующие двое хватаются за «собачьи уши», а остальные закатывают пузо паруса, стараясь не мешать друг другу локтями. При взятии рифов нок рея (то есть его оконечность) — самое почетное место. Зато при уборке парусов сильнейшие, наоборот, стоят у боргов (посередине рея) и работают с пузом. Если второй помощник — лихой парень, он никогда не допустит, чтобы кто-нибудь другой опередил его на этих местах. Но когда ему недостает знания морского дела, силы или энергии, он не успевает первым на ноки или к боргам и сразу теряет свою репутацию.

Остаток ночи и весь следующий день мы шли все под теми же глухо зарифленными парусами, так как ветер держался изрядно свежим. Град не выпадал более, зато хлестал проливной дождь, было холодно и тоскливо, тем более что мы не приготовились к такой погоде и были легко одеты. Сменившись, мы с большим удовольствием спустились вниз и натянули на себя все теплое, вплоть до высоких сапог и зюйдвесток. К заходу солнца шторм несколько стих, и на юго-западе начало проясняться. Мы отдали рифы и еще до полуночи поставили брамсели.

Мы уже ощутили близость Горна с его холодами и поэтому занялись необходимыми приготовлениями.

Вторник, 4 ноября. С рассветом слева по корме увидели землю — два одинаковых по форме, но неравной величины острова, довольно высокие, с плавными очертаниями. Это были Фолклендские острова. «Пилигрим» прошел между ними и побережьем Патагонии. Итак, мы вступили в область мыса Горн, имея превосходный ветер от северных румбов, неся лисели и надеясь быстро и без помех миновать это опасное место.

Глава V
Мыс Горн

Среда, *5 ноября.* Предыдущей ночью погода была благоприятна, так что мы ясно видели Магеллановы облака и Южный крест. Магеллановы облака состоят из трех малых туманностей [8] в южной части небосвода — двух ярких, наподобие Млечного пути, и одной темной. Они открываются как раз над линией горизонта сразу после прохождения тропика Козерога. Южный крест показывается с 18° северной широты и у мыса Горн стоит почти над головой. Это четыре звезды в форме креста — одно из самых ярких созвездий.

До полудня ветер дул слабо, но потом засвежело, и мы убрали бом-брамсели, но оставили пока лисели; капитан, сказал, что при возможности прошел бы с ними вокруг Горна. Незадолго до восьми часов (время захода солнца в этих широтах) в фор-люке раздался крик: «Пошел все наверх!» — и, выскочив на палубу, мы увидели катившееся на нас от зюйд-веста черное облако, закрывавшее собой все небо. «Вот и мыс Горн!» — заметил старший помощник. Едва мы успели взять паруса на гитовы, как оно накрыло нас. В несколько минут разошлась такая волна, какой мне еще не приходилось видеть. Она накатила спереди, и маленький бриг нырнул в нее, погрузившись всей носовой частью. Вода хлынула на палубу через носовые порты и клюзы, угрожая начисто смыть все за борт. У подветренных шпигатов воды было по пояс. Мы бросились к реям, взяли на марселях два рифа и убрали все остальные паруса. Но это не помогло. Бриг шел тяжело и скрипел под встречной волной, а шторм бушевал все сильнее. На нас с невообразимой яростью обрушился дождь со снегом и градом. Мы снова подтянули риф-тали, взяли все рифы на марселе, убрали грот и легли на правый галс. Нашим радужным надеждам пришел конец, и мы приготовились к противным ветрам и холодной погоде: спустили бом-брам-реи и сняли их такелаж, хотя все прочее наверху было оставлено, даже трюм-стеньги и лисель-спирты.

Всю ночь бушевал жестокий шторм — дождь, снег и град обрушивались на судно, ветер оставался противным и гнал высокую волну. На рассвете (около трех часов) вся палуба была покрыта снегом. Капитан послал стюарда наверх раздать вахте по стакану грога, и пока мы оставались у Горна, утренняя вахта всегда получала грог, а если приходилось брать рифы на марселях — то и вся команда. С восходом солнца облака

рассеялись, и ветер, зайдя в корму, позволил поставить паруса и лечь почти точно по курсу.

Четверг, 6 ноября. В первую половину дня погода улучшилась, но к ночи все повторилось сызнова. На этот раз мы не легли в дрейф, как накануне, а пытались лавировать против ветра под зарифленными марселями, триселем и фор-стеньги-стакселем. Ночью подошла моя очередь стоять два часа за штурвалом. Несмотря на свою неопытность, я, к удовлетворению вахтенного помощника, справлялся с делом и за все плавание вокруг Горна ни меня, ни Стимсона ни разу не отстраняли от вахты на руле, что послужило для нас предметом особой гордости, так как требуется немалое умение и глаз, чтобы удержать судно на курсе при крутом бейдевинде, да еще против высокой волны. «Приводи к ветру, когда оно начинает уваливаться» — вот основное правило, и если из-за небрежности рулевого судно зачерпнет бортом, то с палубы может все начисто смыть или даже снести мачты.

Пятница, 7 ноября. К рассвету ветер стих, и все утро нас трясло на мертвой зыби, да еще в густом тумане. Штили здесь совершенно иные, чем в других частях океана, — все время накатывает такая высокая и частая зыбь, что нет ни минуты покоя. Поэтому суда здесь не поддаются управлению ни парусами, ни рулем и болтаются в воде, словно бревна. Нам пришлось раскрепить реи, туго обтянув брасы, и все как следует принайтовить на палубе. Верхние паруса оказались тем не менее полезными; хотя их может «унести» или разорвать при бросках судна на толчее волн, все же они значительно умеряют размахи качки на длинной волне, придавая движениям судна равномерность и плавность.

Утренний штиль напомнил мне о сцене, которую я забыл описать в свое время, но хорошо запомнил, поскольку в тот день мне впервые довелось услышать вблизи дыхание китов. Это было в ночь, когда мы проходили между островом Статена и Фолклендскими островами. Наша вахта стояла с полуночи до четырех, и, выйдя на палубу, мы увидели, что бриг совершенно неподвижен и окутан плотным туманом. Море было идеально гладкое, словно его полили маслом. Но время от времени, не нарушая этой зеркальной глади, набегала длинная зыбь и слегка приподнимала судно. Мы были окружены со всех сторон стаями медлительных китов, но не могли видеть их из-за тумана. То и дело слышались глубокие неторопливые вздохи. Некоторые вахтенные спали, другие сидели молча, и ничто не нарушало очарования и таинственности происходящего. Я стоял, перегнувшись через фальшборт, и слушал мерное дыхание

гигантских существ. Временами мне чудилось, что я вижу, как рядом всплывает огромная черная туша; потом с шумным вздохом еще одна в отдалении, и тогда поверхность океана с ее невысокой, но мерной и длинной зыбью казалась мне мощной грудью, которая вздымалась в такт с ее собственным тяжелым и глубоким дыханием.

К вечеру этого дня (пятницы 7-го) туман рассеялся, и мы были вправе ожидать ледяного шторма, который и не замедлил нагрянуть сразу после захода солнца. Опять брали паруса на гитовы, брали рифы, убирали паруса, опускали реи, пока бриг не остался под глухо зарифленными марселями и триселем. Почти всю ночь на нас гнало снег, град и дождь. Волны разбивались о форштевень и заливали носовую часть нашего маленького судна, но оно держалось на курсе, и капитан не хотел ложиться в дрейф.

Суббота, 8 ноября. День начался штилем и густым туманом, а завершился снегом, градом, жестоким ветром и глухо зарифленными марселями.

Воскресенье, 9 ноября. С утра было ясно и так до двенадцати, когда капитан смог взять полуденную высоту солнца. Для Горна это прекрасно, и мы, не имея пока за все плавание ни одного «плохого» воскресенья, удивлялись, что и здесь единственный сносный день также пришелся на него. У нас даже было время прибрать кубрик и немного подсушить одежду. Впрочем, безмятежность продолжалась недолго. Между пятью и шестью крик «Вахта правого борта наверх!» вызвал нас на палубу, и сразу же была поднята вся команда. Нашим глазам представилось зрелище, достойное репутации мыса Горн. С зюйд-веста надвигалась огромная темно-серая туча, и мы изо всех сил спешили убрать паруса (с утра были поставлены верхние паруса) до того, как нас накроет. Мы убрали верхние паруса, взяли на гитовы нижние, обтянули риф-тали на марселях и уже лезли на фок, когда ударил шквал. В одно мгновение сравнительно спокойное море покрылось высокими волнами, которые катились одна громаднее другой. Сделалось темно как ночью. Град и снег хлестали больнее, чем когда-либо прежде, и, казалось, хотели пригвоздить нас к реям. Мы убирали паруса дольше обычного — они намокли и задубели, снасти и такелаж покрылись снегом и обледенели, а мы сами были ослеплены яростью шторма. Когда мы спустились на палубу, наш маленький бриг, словно обезумев, нырял среди устрашающих волн, которые, накатываясь, каждый раз заливали носовую палубу. В этот момент вскочивший на шпиль старший помощник закричал: «Отдать фал! Кливер долой!» Дело было не из приятных, не говоря уже об опасности, но совершенно необходимое. Наш лучший матрос, швед Джон,

который всегда работал на баке, прыгнул на бушприт. Нужен был второй, однако никто не торопился. Я стоял около старшего помощника, но рванулся раньше других, мигом завел нирал на шпиль и проскочил между недгедсами на бушприт. Матросы у шпиля спускали кливер, а мы с Джоном карабкались с наветренной стороны по перту на утлегарь. Большой парус бился на ветру, полоща с такой силой, словно намеревался сбросить нас в море. Некоторое время мы не могли даже пошевелиться и еле держались, вцепившись в бушприт изо всех сил, а бриг, нырнув в две громадные волны, накатившие одна за другой, дважды окунул нас по шею. Мы плохо соображали, держимся ли еще или уже полетели за борт. Потом бушприт поднял нас высоко в воздух и снова окунул в волны. Джону показалось, что утлегарь вот-вот обломится, и он крикнул старшему помощнику, что нужно увалиться под ветер и убрать стаксель. Однако из-за грохота разбивающихся о форштевень волн нас невозможно было услышать, и оставалось только сделать то, что было в наших силах. К счастью, больше не накатывало таких сокрушительных волн, и мы убрали кливер по всей форме. А когда снова очутились на палубе, то были немало обрадованы тем, что все на баке в порядке, и вахта сошла вниз. Сами мы промокли до костей и дрожали от холода. Джон заметил, что мы счастливо отделались, хотя обычно матросы ничего не говорят, когда дело уже позади. Погода оставалась неизменной всю ночь.

Понедельник, 10 ноября. Часть суток лежали в дрейфе, но остальное время шли вперед под глухо зарифленными парусами. Море бурное, жестокий шторм, частые шквалы с градом и снегом.

Вторник, 11 ноября. По-прежнему все без перемен.

Среда. Все то же.

Четверг. Все то же.

Мы уже начали привыкать к «горновской» погоде, судно шло с уменьшенной парусностью, на палубе и внизу все было закреплено, так что, кроме вахты, дел оставалось не так уж много. Наша одежда пропиталась водой, и можно было только менять сырую на еще более мокрую. Ведь кубрик не отапливается, а сушиться на камбузе мы не могли. Естественно, нечего было и думать о чтении или других занятиях, потому что мы слишком уставали, да и люки все время оставались закрытыми. Повсюду была сырость, грязь, темнота и непрестанная болтанка. Отстояв вахту, мы спускались вниз, выжимали промокшую одежду, развешивали ее для «просушки» по переборкам и заваливались на койки, стараясь получше выспаться к следующей вахте. Матрос может спать где угодно — ему не помешают ни ветер, ни вода, ни хлопанье парусов, ни стук рангоута, ни скрип железа. Мы спали

как убитые, когда раздавались три удара по люку и надоевший голос кричал: «Вахта правого борта! Восемь склянок!» — поднимая нас с коек на холодную мокрую палубу. Единственные минуты, которые хоть как-то можно было назвать приятными, наступали утром и вечером, когда нам давали по целой кружке чая, подслащенного патокой (матросы многозначительно называют его «живой водой»). Этот напиток, сколь бы плох он ни был, давал по крайней мере тепло и вместе с холодной солониной и галетами составлял всю нашу пищу. Но и сего скромного блага мы дожидались с неуверенностью — ведь приходилось ходить на камбуз за своим котелком солонины и кружкой чая с риском лишиться их по пути в кубрик. Я нередко видел, как котелки, катились к шпигатам, а их владельцы барахтались на палубе. Помню, как один англичанин, который был душой нашей команды, — впоследствии его смыло за борт, и он погиб — минут десять стоял у камбуза с кружкой чая, выжидая удобного момента, чтобы пробраться в кубрик. Наконец, решив, что. «пока притихло», он двинулся вперед. Но не успел сделать и нескольких шагов, как большая волна накрыла бак, и в течение нескольких секунд я видел только его голову и плечи. Затем англичанина сбило с ног и поволокло на ют. Потом корма поднялась вверх, осушила палубу, а он все еще не выпускал из рук свою оловянную кружку, в которой не было уже ничего, кроме соленой воды. Однако никакие превратности судьбы не могли обескуражить его или хотя бы на минуту лишить неистребимого чувства юмора. Поднявшись на ноги, он погрозил рулевому кулаком и сбежал вниз. «Что за моряк, если он не понимает шуток?» — сказал он, проходя мимо меня. Самое неприятное в таких случаях — отнюдь не купание. Чай нам выдавали порциями, и сверх нормы на камбузе уже ничего нельзя было получить. Хотя товарищи никогда не оставят человека с пустыми руками и непременно отольют из своих кружек, убыток так и так остается, он лишь распределяется между всеми.

Нечто подобное случилось через несколько дней и со мной. Кок приготовил нам «крошево» — маленькие кусочки свинины с толчеными сухарями и несколькими вареными картофелинами, которые были приправлены перцем. Это был редкий деликатес, и я, оказавшись на камбузе последним, взялся доставить котелок на всю вахту. Я благополучно добрался до люка и ступил было на трап, как вдруг большая волна вытолкнула корму из воды, а заодно и ступеньки из-под моих ног, и я спустился несколько быстрее обычного, а содержимое котелка, ударившегося о мою голову, оказалось на палубе. Какими бы ни были ваши переживания, в море полагается все обращать в шутку. Даже если

вы свалились с рея и избежали мгновенной смерти, лишь случайно попав в пузо паруса, неприлично выказывать волнение или придавать случившемуся серьезное значение.

Пятница, 14 ноября. Мы оказались значительно западнее Горна и постепенно склонялись к северу, опасаясь, однако, как бы преобладающие сильные зюйд-весты не отнесли нас к Патагонии. В два часа пополудни заметили паруса на траверзе слева и в четыре разглядели большое судно, шедшее параллельным курсом под зарифленными марселями. Мы же отдали рифы, так как ветер поутих, и поставили грот-брамсель. Как только наш капитан рассмотрел, какие паруса несет встречное судно, то сразу же приказал добавить фор-брамсель и бом-кливер. Это пристыдило старого китобоя, опознанного нами по его шлюпкам и укороченным парусам, он тоже отдал рифы на марселях, но и только, так как спустил свои брам-стеньги еще на подходе к Горну. Он приблизился к нам и сообщил, что является китобойным судном «Нью-Ингленд», сто двадцать суток назад вышедшим из Нью-Йорка. Наш капитан тоже прокричал наше название и наши девяносто два дня из Бостона. Потом оба капитана поспорили о долготе, но так и не пришли к согласию. Китобой отстал, но всю ночь держался у нас на виду. К утру ветер стал еще тише, и мы подняли бом-брам-реи, так что бриг окутался целым облаком парусов. «Фонтанщик», как матросы называют китобоев, поднял грот-брам-стеньгу, поставил паруса и выкинул сигнал, прося, чтобы мы легли в дрейф. Около половины восьмого к нам подошел их вельбот и на палубу прыгнул капитан Джоб Терри — человек, известный во всех портах и всем морякам Тихого океана. «Неужели вы не знаете Джоба Терри? Я думал, каждый слышал о нем», — сказал мне зеленый новичок с вельбота, когда я спросил про капитана. Это был действительно необычный человек. Шести футов роста, в сапогах из толстой воловьей кожи и коричневой куртке, он только своим загорелым лицом походил на морского волка, хотя промышлял китов уже сорок лет и, как он сам любил говорить о себе, строил корабли, покупал корабли и водил корабли. Команда у него почти сплошь состояла из неотесанных новичков, которые, как говорят матросы, «еще не вытряхнули сено из волос». Капитан Терри убедил нашего капитана в том, что счисление у нас не совсем в порядке. Он провел на борту весь день и лишь с заходом солнца собрался на свое судно, которое отстало уже миль на шесть, а может быть, и все восемь. С самого своего появления он пустился в бесконечные рассуждения о своих отношениях с правительством Перу, с лордом Таунсендом, командиром фрегата «Дублин», и даже с самим президентом Джексоном. Он, наверно, так и не смог

бы остановиться, если бы не подул свежий ветер, заставивший его возвратиться на свое судно. Один из матросов китобойца, парень совсем деревенского вида, нимало не интересуясь ни нашим парусным вооружением, ни такелажем, сразу же пошел к выгородке со свиньями и признался, что больше всего хочет возвратиться домой к отцу и выхаживать поросят.

Здесь же мы наблюдали любопытную сцену проявления человеческого тщеславия. Как оказалось, на китобойцах существуют должности гарпунщиков, нечто среднее между матросами и помощниками капитана. Один из гарпунщиков находился в шлюпке с капитаном Терри, но мы думали, что он просто старшина шлюпки, то есть обычный матрос. Однако на китобоях гарпунщики держатся отдельно и едят либо за особым столом, либо в кормовой каюте после капитана и помощников. Вся эта иерархия была нам совершенно незнакома, и посему бедняга гарпунщик оказался предоставленным самому себе. Наш второй помощник не пожелал знаться с ним и даже казался отчасти удивленным, что тот держится на шканцах. Дело в том, что сознание важности своей персоны не позволяло гарпунщику отправиться на бак. Наступило время обеда, а с ним и experimentum crucis [9]. Как поведет себя гарпунщик? Наш второй помощник, дождавшись своей очереди, сел за стол, но не пригласил его. Приходилось выбирать между голодом и унижением. Мы позвали его в кубрик, но он все-таки отказался. Матросы с китобоя объяснили, в чем дело, и мы повторили приглашение. Голод взял верх, и его гарпунское величество снизошло откушать при помощи складного ножа из общего бачка. Однако же он все время чувствовал себя не в своей тарелке, старался всячески показать, что унижается только в силу обстоятельств. Из всего этого можно было заключить, что среди рода человеческого преобладает отнюдь не стремление к равенству, а, напротив, желание усилить, насколько возможно, существующее неравенство, как природное, так и придуманное.

В восемь часов мы изменили курс и легли севернее к острову Хуан-Фернандес.

В этот день мы последний раз видели альбатросов, сопровождавших нас большую часть пути вокруг мыса Горн. Эта птица интересовала меня еще по книгам и особенно благодаря поэме Кольриджа [10], и я был ничуть ею не разочарован. Мы поймали одну или двух на крючок с приманкой, который буксировали за кормой. Большие, звучно хлопающие крылья, длинные ноги и огромные глаза придают альбатросам странный вид. Лучше всего они смотрятся на лету, но наиболее прекрасное зрелище являет собой альбатрос, которого я видел спящим на

воде во время штиля на крупной зыби. Не было даже легчайшего бриза, и только длинные могучие валы накатывали один за другим. Мы заметили белоснежную птицу прямо по курсу. Она спала на волнах, спрятав голову под крыло, то поднимаясь на гребень волны, то медленно скользя вниз и исчезая в гигантском провале. Некоторое время альбатрос не замечал нас, но шум воды под форштевнем разбудил его. Он поднял голову, какое-то мгновение удивленно смотрел на судно, потом распустил свои широкие крылья и взлетел.

Глава VI
Гибель матроса

Понедельник, 19 ноября. Черный день в нашем календаре. В семь часов утра, когда мы были на подвахте, нас разбудил крик: «Все наверх! Человек за бортом!» Эти непривычные слова заставили дрогнуть сердце каждого, и, поспешив на палубу, мы увидели, что бриг с обстененными парусами лежит в дрейфе. Дело в том, что юнга, стоявший на руле, оставил штурвал, а плотник — старый моряк, видя, что ветер совсем легкий, положил руль под ветер и обстенил паруса. Вахта спускала шлюпку, и я выбежал как раз вовремя, чтобы успеть прыгнуть в нее, когда она почти отвалила от борта. Лишь оказавшись на необозримом просторе Тихого океана в небольшой шлюпке, я узнал, кого мы потеряли. Это был Джордж Болмер, молодой англичанин, который, как я уже говорил, был душой команды. Помощники капитана ценили его как умелого и старательного матроса, а команда любила своего товарища за веселый и добродушных нрав. Он полез наверх с блоком, бухтой фала, свайкой и бугелем, чтобы закрепить строп на топе грот-мачты. Бол-мер сорвался с путенс-вант правого борта и, не умея плавать, в тяжелой одежде, со всей этой сбруей вокруг шеи, вероятно, сразу же пошел ко дну. Мы выгребли за корму в том направлении, где он упал, и, хотя понимали, что нет никакой надежды, никто не заговаривал о возвращении, и мы почти час работали веслами, не желая смириться с мыслью о его гибели, в то же время не представляя, что же нам делать. В конце концов мы повернули обратно.

Смерть всегда ошеломляет, и более всего на море. Когда человек умирает на берегу, его тело хоть ненадолго остается с близкими и друзьями, но если он падает за борт и тонет в море, это происходит столь неожиданно и оказывается столь непостижимым, что производит впечатление чего-то таинственного. Вот человек умер на берегу — вы провожаете покойника до могилы, и камень отмечает место погребения. Вы нередко можете предвидеть это, и всегда находится что-то, напоминающее вам о покойном впоследствии. Человек убит рядом с вами в бою, но его искалеченное тело остается доказательством того, что он действительно существовал. Совсем иначе в море — только что ваш знакомый был рядом, вы слышали его голос, и вдруг, в одно мгновение, он исчезает, и уже ничто, кроме опустевшей койки, не напоминает о его гибели. Если воспользоваться расхожим, но трогательным выражением, то

можно сказать — вам так недостает этого человека. Среди необозримых водных просторов горстка людей заключена на крохотном судне; долгие, долгие месяцы они не видят и не слышат никого, кроме самих себя, и, когда один внезапно вырван из их числа, то ощущают его отсутствие на каждом шагу. Это подобно потере руки или ноги. И нет никого, чтобы заполнить этот пробел. Койка в кубрике так и останется пустой, и всегда будет недоставать одного матроса, когда вызывают ночную вахту. Одним меньше за рулем, одним меньше рядом на рее. Вам недостает его лица и голоса, ведь привычка сделала их почти незаменимыми для вас, вы всеми своими чувствами ощущаете эту потерю.

Поэтому такая смерть особенно трагична, и команда некоторое время остается под ее впечатлением. Помощники начинают мягче обращаться с матросами, а те проявляют больше доброжелательства в отношениях между собой. Все становятся молчаливее и серьезнее. Не слышно ни ругательств, ни громкого смеха. Вахтенные помощники внимательнее следят за работами, а матросы ведут себя осторожней на мачтах. О погибшем редко вспоминают вслух, и все заканчивается грубоватым матросским панегириком: «Да, с беднягой Джорджем кончено. Рановато он списался с судна. А ведь знал человек дело, да и товарищем был хорошим». Далее обычно следует упоминание о том свете, ведь почти все моряки верующие, конечно, на свой манер, хотя их религиозные воззрения не отличаются строгостью и связностью. Они говорят: «Бог не будет слишком строг с беднягой» — и кончают обыкновенно расхожей фразой о том, что их мучения в этом мире зачтутся Большим капитаном на небесах. «Тяжело работать, тяжело жить, тяжело умирать и в конце концов отправиться в ад — это уж слишком!» Наш кок, простодушный старик африканец, который многое претерпел в жизни и отличался серьезностью — на берегу непременно посещал церковь два раза в день, а у себя на камбузе читал матросам Библию по воскресеньям и рассуждал об их греховном поведении в день, посвященный Спасителю, — сказал, что каждый может отдать душу столь же внезапно, как Джордж, и также не приготовившись к этому.

Жизнь моряка в лучшем случае — это смешение малого добра с большим злом и немногих удовольствий со множеством страданий. Все заплетено в один клубок — прекрасное и отвратительное, возвышенное и обыденное, торжественное и нелепое.

Почти сразу после нашего возвращения на судно с печальным известием пожитки несчастного были пущены с аукциона.

Правда, перед этим капитан созвал всю команду на палубе и спросил, все ли, по их мнению, было сделано для спасения погибшего и стоит ли оставаться долее на этом месте. Матросы единогласно подтвердили бесполезность задержки, поскольку Джордж не умел плавать и был очень тяжело одет. Мы разошлись, а бриг лег на прежний курс.

Законы мореплавания возлагают на капитана ответственность за имущество умершего во время рейса матроса, и, согласно установившемуся обычаю, устраивается аукцион, на котором команда приобретает вещи, а их стоимость вычитается при окончательном расчете. Таким образом можно избежать всех неприятностей и забот, связанных с их хранением, и, кроме того, одежда продается обычно дороже ее стоимости на берегу. Поэтому едва бриг снова лег на фордевинд, как сундучок Джорджа вынесли на бак, и началась распродажа. На свет извлекли куртки и штаны, которые мы еще совсем недавно видели на нем, и назначили им цену, хотя жизнь покинула владельца считанные минуты назад. Сундучок отнесли на ют и определили под ларь, так что из принадлежавшего Джорджу не осталось ничего. Впрочем, моряки неохотно надевают вещи покойного в том же рейсе без крайней необходимости.

Как всегда в таких случаях, смерть Джорджа вызвала разные толки. Один слышал, как он жалел, что так и не научился плавать, и говорил, что ему суждено утонуть. Другой утверждал, будто всякий рейс, если идешь против своего желания, непременно кончится плохо, а покойный, подписав контракт, истратил весь задаток и, хотя очень не хотел отправляться на «Пилигриме», был вынужден к тому, оказавшись на мели. Его приятель сообщил, что как раз накануне Джордж рассказывал ему о своем семействе и матери, чего с ним раньше никогда не бывало.

На следующий вечер, придя на камбуз за огнем, я застал кока в разговорчивом настроении, поэтому присел на запасной рангоут и дал ему возможность поболтать. Мне это было тем более интересно, что нашего негра буквально распирало от всяческих суеверий, столь широко распространенных среди моряков. Он поведал мне, что Джордж вспоминал про своих приятелей, а ведь мало кто умирает, не получив предупреждения. Это твердо доказано самим необычным поведением людей перед смертью. Потом он перескочил на другие поверья, про «Летучего Голландца» и прочее, и все это с таинственным видом, словно что-то не договаривая. В конце концов он высунул голову наружу и, удостоверившись, что поблизости никого нет, спросил меня шепотом:

— Слушай, ты не знаешь, кто таков наш плотник?

— Знаю, он немец.

— А какой немец?

— Из Бремена.

— А ты не путаешь?

Я уверил его, что плотник не понимает другого языка, кроме немецкого и английского.

— Тогда дело лучше, — отвечал кок, — а то я ужас как боялся, не финн ли он. И скажу тебе, все время ужас как угождал ему.

Я спросил о причине этого, и тут выяснилось, что все финны колдуны и имеют особую власть над ветрами и штормами. Я пытался возражать, но доводы его оказались куда сильнее (он знал по собственному опыту), и его не удалось сдвинуть с места. Он ходил на одном судне на Сандвичевы острова [11], и у них был парусный мастер-финн, который мог делать все, что ему вздумается. Этот человек не расставался с портерной бутылкой, всегда до половины заполненной ромом. Напивался он почти каждый день и мог часами сидеть перед стоявшей на столе посудиной и разговаривать с ней. В конце концов он перерезал себе горло, и все согласились, что в нем сидел бес.

Нашему коку рассказывали о таких случаях, когда за кормой корабля, лавировавшего в Финском заливе против ветра, бывало, появлялось другое судно и перегоняло его, и шло оно чисто в фордевинд под всеми лиселями, и оказывалось, что это судно из Финляндии.

— Уж я-то повидал таких; будь моя воля, и на шаг не подпускал бы их к палубе. Известное дело, коли им что не по вкусу, непременно подстроят какую-нибудь дьявольскую шутку.

Поскольку я еще сомневался, кок заявил, что лучше всех такое дело разрешит Джон, как самый старый из всей команды. Джон и вправду был самым старым среди нас, но зато и самым невежественным. Я все-таки согласился позвать Джона. Кок изложил ему дело, и тот, конечно же, встал на его сторону и заявил, что сам был на одном судне, которому пришлось две недели идти против встречного ветра, пока капитан не догадался, что матрос, которого он незадолго перед тем обругал, был финн. Тогда капитан сказал этому матросу, что, если он сейчас же не остановит противный ветер, его посадят в форпик и не дадут ни крошки. Финн не уступал, и капитан велел запереть его и не кормить. Тот держался еще полтора дня, но потом уж не вытерпел и сделал какую-то штуку, так что ветер совершенно переменился. После этого его выпустили.

— Ну, что ты на это скажешь? — спросил кок.

Я отвечал, что нисколько не сомневаюсь в правдивости всей истории, но было бы довольно странно, если бы за пятнадцать суток ветер не изменился сам, как бы там у них ни получилось с этим финном.

— Ладно, иди отсюда. Думаешь, раз учился в колледже, то умнее всех, — проворчал кок, — и знаешь лучше людей, которые видели это собственными глазами? Вот походи в море с мое, тогда поймешь, что к чему.

Глава VII
Хуан-Фернандес

Мы продолжали идти вперед, пользуясь попутным ветром и прекрасной погодой, и во

вторник, 25 ноября, прямо по носу открылся остров Хуан-Фернандес, выплывавший из моря подобно темно-голубому облаку. В этот момент мы находились милях в семидесяти от него, и вследствие его большой высоты и голубого цвета я подумал, что над островом висит облако, но постепенно оно приобретало более темный и зеленоватый оттенок, и уже можно было различить неровности его поверхности. Наконец стали заметны деревья и скалы, а к полудню этот прекрасный остров лежал прямо перед нами. Мы взяли курс на его единственную гавань и вошли в нее после захода солнца, встретив выходивший в море корабль, оказавшийся чилийским военным бригом. Нас окликнули, и какой-то офицер, которого мы приняли за американца, посоветовал стать на якорь до наступления ночи и сообщил, что они идут в Вальпараисо. Мы сразу же направились к якорному месту, но по причине ветра, налетевшего на нас из-за гор порывами от разных румбов, смогли отдать якорь лишь незадолго до полуночи. При заходе в гавань нас все время буксировала судовая шлюпка, а матросы, оставшиеся на судне, непрестанно брасопили реи, дабы не прозевать ни малейшей перемены ветра. Наконец впервые после выхода из Бостона, то есть через сто три дня, около ноля часов наш якорь коснулся грунта на глубине сорока саженей. Нас разделили на три вахты, и так мы провели остаток ночи.

Около трех часов утра меня вызвали на вахту, и я никогда не забуду возникшего во мне странного чувства при виде окружавшей нас земли и ощущения ночного бриза, доносившего с берега голоса лягушек и сверчков. Горы, казалось, нависали у нас над головой, а через равные промежутки времени из их глубины исходили похожие на эхо звуки, которые поразили меня, как нечто едва ли имеющее отношение к людям, и мы не видели никаких огней, пока старший помощник, бывавший на острове, не объяснил, что это alerta [12] чилийских солдат, охраняющих преступников, которые содержатся в пещерах на склоне горы. Отстояв вахту, я спустился вниз, с нетерпением ожидая дня, дабы ближе рассмотреть этот романтический, можно даже сказать, классический остров, а если посчастливится, то и ступить на него.

Когда вся команда была вызвана наверх, солнце уже встало, и

до завтрака, покуда мы вытаскивали из трюма бочонки для пресной воды, я смог хорошо рассмотреть все вокруг. Суша почти наглухо запирала бухту, и в глубине последней виднелся причал, защищенный маленьким волноломом из камней; на нем лежали две большие лодки, там же стоял часовой. Неподалеку виднелись хижины и домики, числом около сотни; самые привлекательные — из необожженной глины, выбеленные снаружи. Но большинство напоминало обиталище Робинзона Крузо — деревянные шесты, покрытые ветками. Дом губернатора отличался своими размерами, решетчатыми окнами, оштукатуренными стенами и красной черепицей на крыше. Тем не менее, подобно всем остальным, он имел лишь один этаж. По соседству стояла небольшая часовня, выделяющаяся своим крестом, а также длинное, низкое, бурого цвета здание, обнесенное подобием частокола; над ним развевался истрепанный и грязный чилийский флаг. Это сооружение, конечно же, носило почетное название «presidio» [13]. У губернаторского дома стоял часовой, еще один — около часовни. Несколько вооруженных штыками солдат в дырявых башмаках прогуливались между домами или сидели на пристани в ожидании нашей шлюпки.

Горы были не такими высокими, какими казались при свете звезд. Они заметно отступали к центру острова и поросли густым зеленым лесом, а кое-где переходили в плодородные долины, пересеченные во всех направлениях тропинками для мулов.

Не могу забыть, как мы со Стимсоном насмешили команду своим нетерпением попасть на берег. Когда капитан приказал спустить шлюпку, мы оба решили, что она пойдет к берегу, и, ринувшись в кубрик, поспешно набили свои карманы табаком для обмена на берегу. Как только вахтенный помощник крикнул: «Четверо в шлюпку!» — мы чуть было не сломали себе шеи, стараясь оказаться первыми, за что и удостоились чести в течение получаса буксировать бриг, после чего, к вящему удовольствию остальных матросов, которые видели все наши «маневры», возвратились на борт.

После завтрака второму помощнику приказали отправиться с пятью матросами на берег, чтобы наполнить бочонки водой, и, к моему удовольствию, я все-таки попал в их число. Удача сопутствовала мне и дальше — вода оказалась слишком мутной, поэтому губернатор послал людей к истоку ручья, чтобы расчистить его, и это дало нам почти два часа свободного времени. Мы стали прогуливаться между домами и отведали те немногие фрукты, которые предлагали нам. Остров изобилует дынями, грушами, необычайно крупной земляникой, а также

вишнями. Последние, как рассказывают, были завезены сюда лордом Ансоном. Солдаты являют своей одеждой жалкое зрелище, они даже спрашивали нас, нет ли на судне сапог для продажи. Впрочем, навряд ли у них отыскались бы деньги. Они очень хотели разжиться табаком, за который предлагали раковины, фрукты и тому подобное. Они также интересовались ножами, но губернатор настрого запретил продавать их, поскольку все население острова, за исключением солдат и нескольких офицеров, — преступники, привезенные из Вальпараисо, и нельзя было допустить, чтобы в их руки попадало оружие. Остров, кажется, принадлежит Чили и уже два года используется как колония для преступников. Им управляет губернатор (англичанин, состоящий на службе в чилийском военном флоте), которому подчинены священник, полдюжины надзирателей и отряд солдат. Держать каторжников в повиновении — дело не такое простое; незадолго до нашего прихода несколько человек похитили лодку и овладели стоявшим в гавани бригом; капитана и команду они отправили на берег в той же лодке, а сами ушли в море. Нас предупредили об этом, мы зарядили оружие и во время ночной вахты держались настороже, а когда бывали на берегу, то принимали все меры предосторожности, чтобы наши ножи не перешли в руки преступников. Как я узнал, самые опасные преступники находятся под стражей в пещерах, которые вырыты в склоне горы, и днем надзиратели выводят их на строительство акведука, причала или для выполнения других общественных работ. Остальные живут вместе с семьями в домах собственной постройки. Они показались мне самыми ленивыми людьми на земле. Единственным их занятием были прогулки (расео) — то в лес, то просто между домами, то на пристань поглазеть на нас и наше судно. Из-за своей лени они даже разучились быстро говорить. А в это же время других заставляют носить тяжести на плечах, да еще рысцой в затылок друг другу под присмотром надзирателей в широкополых соломенных шляпах, вооруженных длинными палками. Не знаю, по какому принципу производится подобное разделение, но справиться об этом не представилось возможности, ибо единственный человек на острове, говорящий по-английски, был сам губернатор — лицо совсем не моего круга, так как я и на берегу оставался все тем же простым матросом.

Мы наполнили бочонки и возвратились на бриг, а вскоре к нашему капитану пожаловал обедать губернатор, одетый в форму, делавшую его похожим на офицера американской милиции. Его сопровождали падре в полном францисканском облачении и капитан местного гарнизона, обладатель огромных

бакенбардов и засаленного мундира. Пока они обедали, со стороны моря появилось большое судно, и вскоре мы увидели вельбот, входивший в гавань. Он подошел к нам и высадил своего шкипера, оказавшегося скромным молодым квакером, облаченным с ног до головы в коричневое. Его судно, нью-бедфордский китобой, называлось «Кортес» и зашло на остров специально для того, чтобы разузнать, нет ли в гавани кораблей из-за Горна, от которых можно услышать последние новости из Америки. Люди с «Кортеса» пробыли у нас недолго. Наскоро поговорив с нами, они сошли в шлюпку и возвратились на свое судно. Вскоре оно наполнило паруса и скрылось из виду.

На небольшой шлюпке, пришедшей за губернатором и его свитой (как они сами себя называли), привезли в подарок команде большое ведро молока, несколько раковин и брус сандалового дерева. Молоко, которое мы испробовали впервые после выхода из Бостона, было тут же уничтожено. Я получил и кусок сандалового дерева, растущего в средней части острова в горах, но он, так же как и маленький цветок, сорванный мною и бережно сохранявшийся между страницами в томике писем Каупера, пропал вместе с моим сундуком и всем его содержимым по небрежности других уже после возвращения домой.

За час до захода солнца, когда все бочонки были уложены, мы начали сниматься с якоря, что заняло немалое время, поскольку судно стояло на глубине тридцати саженей, а ранее при усилении ветра с берега мы отдали и второй становой якорь. Поскольку ветер завихрялся вокруг гор, то затихая, то опять усиливаясь, бриг непрестанно крутился на месте и якорные канаты совершенно перепутались. Мы до бесконечности то подтягивали их, то снова отпускали и при этом каждый раз ставили и убирали паруса. В конце концов нам все-таки удалось сняться и выйти в море. Когда мы покинули бухту, уже ярко светили звезды, а за кормой лежал остров с его вершинами; я в последний раз посмотрел на самое романтическое место, когда-либо мною виденное. Я до сих пор испытываю к этому острову особенную привязанность. Она возникла, конечно, из-за того, что это была моя первая земля после отплытия из Бостона, а еще более — по воспоминаниям детства, связанным у меня, как и у каждого, с чтением «Робинзона Крузо». К этому можно присовокупить высоту и романтические очертания гор, красоту и свежесть растительности, поразительное плодородие почвы и уединенное положение среди широких просторов Тихого океана, что и придает острову особое очарование.

Когда в разное время мои мысли возвращались к этому месту, я старался припомнить больше относящихся к нему сведений. Он

лежит на 33°30' южной широты, немногим более чем в трехстах милях от Вальпараисо, расположенного на той же широте. Длина острова около пятнадцати миль, ширина — пять. Гавань, где мы стояли (названная лордом Ансоном бухтой Камберлэнд), единственная, две другие бухточки по обе стороны острова пригодны не более чем для подхода шлюпок. Наилучшее место для якорной стоянки находится в западной части бухты, где отдавали якорь мы, то есть в трех кабельтовых от берега. Глубина здесь немногим более тридцати саженей. Эта гавань открыта для ветра с норд-норд-оста, а на самом деле на всю четверть — от норда до оста, но благодаря тому, что опасность представляют лишь ветры от зюйд-веста со стороны самых высоких гор, ее можно считать вполне надежной. Еще более примечательным является обилие в этих местах всяческой рыбы. Двое из нашей команды, остававшиеся на бриге, за короткое время поймали достаточно, чтобы всем хватило на несколько дней, а один из них сказал, что даже не слыхивал о таком изобилии. Им попались треска, лещ, серебрянка и другие неизвестные нам виды.

На острове много превосходной воды благодаря ручейкам, сбегающим с холмов в каждую долину. Один из самых полноводных как раз пересекает тот луг, где стоят дома, и служит для жителей удобным и обильным источником. Именно от него по короткому деревянному акведуку вода была подведена почти к самым нашим шлюпкам. Каторжники соорудили также нечто вроде волнолома и занимались постройкой причала для приема шлюпок и товаров, после завершения которого чилийское правительство намеревалось установить портовый сбор.

Что касается лесов, то, по моему впечатлению, остров весьма богат ими, и в ноябре месяце, когда мы были там, он являл собой всю свежесть и прелесть весны и казался весь покрытым деревьями. Растут там большей частью ароматические виды, из них мирты наиболее крупные. Почва отменно плодородная, и, если ее вскопать, на ней произрастают редис, турнепс, картофель и прочие овощи. Как нам и говорили, коз на острове действительно немного — мы не видели ни одной, хотя, по уверениям жителей, непременно встретили бы их, будь у нас случай забраться в глубь острова. На склонах гор по узким тропам бродят волы, но их тоже немного. Зато само поселение буквально кишит собаками всех наций, пород и видов. Столь же многочисленны здесь и куры, за которыми, по всей видимости, тщательно присматривают женщины. Мужчины же показались мне ленивейшими из смертных, и, действительно, ни к кому столь не подходит недавно придуманное янки слово «отирала», как к испанским американцам. Они любят стоять совсем без дела

в своих нарядах, немногим добротней, чем одеяла индейцев, но зато с таким видом, с каким может красоваться в подобных лохмотьях только испанский нищий. В разговоре они отличаются необычайной вежливостью и обходительностью, несмотря на дырявые башмаки и пустой карман. Однообразие их времяпровождения нарушается лишь порывами ветра из-за гор, сдувающего с домов сучья, которыми кроют крыши. Это занимает их делом хоть на несколько минут, заставляя бежать, чтобы подобрать снесенное ветром. Однажды такой ветер налетел, когда мы были на берегу, и доставил нам немалое развлечение: мужчины вертели головой, и если видели, что их крыша оставалась в неприкосновенности, то заключали, что можно не трогаться с места. Те же, у кого крыши пострадали, издав несколько испанских ругательств, натягивали на плечи свои одеяния и пускались вдогонку за своими сучьями. Впрочем, они исчезали ненадолго и вскоре возвращались к своему обычному занятию — ничегонеделанию.

Вероятно, нет надобности говорить, что мы не были в глубине острова, но те, кому довелось побывать там, отзывались о нем с одобрением. Наш капитан вместе с губернатором в сопровождении нескольких слуг поехали на мулах в горы, и после их возвращения я слышал, как губернатор просил капитана зайти на остров на обратном пути, предлагая за круглую сумму привезти из Калифорнии нескольких оленей, каковых совершенно здесь нет, а ему очень хотелось развести этих животных.

Слабый, но устойчивый зюйд-вест уносил нас от острова, и, когда я вышел на палубу к ночной вахте, земля была различима лишь благодаря тому, что закрывала собой несколько низких звезд в южной части горизонта, хотя мой непривычный глаз вряд ли признал бы это явление за признак земли. В конце вахты редкие для этих широт пассатные облака окончательно скрыли остров, а на следующий день в

четверг, 27 ноября, выйдя утром на палубу, мы снова увидели вокруг необозримый Тихий океан и уже не встречали земли до самого прибытия на западное побережье обширного Американского континента.

Глава VIII
Повседневная жизнь

С того дня, как мы оставили Хуан-Фернандес, и до самой Калифорнии мы не видели ни земли, ни даже паруса и у нас не произошло ничего примечательного. Мы вошли в юго-восточный пассат, благодаря чему в продолжение трех недель даже не притрагивались к парусам и не перебрасопили ни одного рея. Капитан воспользовался ясной погодой для приведения судна в порядок. Плотник занялся переделкой части кормового кубрика в помещение для торговли, и тогда же стало известно, что наш груз не будут перевозить на берег, а станут продавать в розницу тут же на борту. Торговое помещение сооружалось специально для показа образцов и хранения негромоздких товаров, равно как и для совершения сделок. А нас пока заставляли работать с такелажем. Все снасти обтягивались втугую, вязались выбленки, заготавливались в больших количествах шкимушгар и пропиточный раствор. Был просмолен стоячий такелаж. Я впервые испытал себя в этом деле, и досталось мне изрядно — почти всю работу мы проделали вместе с моим приятелем Стимсоном, так как люди требовались везде. К тому же Генри Меллус, еще один молодой матрос, слег от ревматизма, а юнга Сэм был слишком молод и слаб и поэтому почти весь день стоял на руле, благо ветер сохранялся несильным и устойчивым, так что мы могли наслаждаться судовыми работами сколько душе нашей было угодно. Облачившись в короткие парусиновые куртки и взяв по небольшому ведерку смолы, мы лезли: один — на грот-бом-брам-стеньгу, другой — на фор-бом-брам-стеньгу, и начиналась просмолка сверху вниз. Дело это немалой важности и во время дальнего плавания обычно производится раз в полгода. У нас просмолку делали и потом, и всякий раз всей командой, и кончали за день. Теперь же все это досталось нам двоим, и мы, как новички, провозились несколько дней. Начинают всегда с топа мачты, спускаясь постепенно вниз, просмаливая ванты, бакштаги, коренные концы топенантов и прочее, выходя попутно на ноки реев, обрабатывая перты и топенанты. Просмаливать штаги еще труднее, и эту операцию матросы называют «ездой вниз». На топе мачты крепят блок, через который проводят какой-нибудь длинный конец, например брам-лисель-фал, и получается гордень; один конец горденя заделывается вокруг штага двойным беседочным узлом, в петли которого и садится матрос с ведром смолы, а кто-нибудь на палубе потравливает другой конец.

Работающего опускают помалу, и он успевает тщательно просмолить штаг. Вот так и качаешься между небом и морем, и если гордень внезапно даст слабину, оборвется или же его по небрежности вообще отдадут, остается одно из двух: упасть за борт или сломать себе шею. Впрочем, об этом матрос никогда не думает. Он занят только тем, чтобы не оставалось «праздников» (то есть непросмоленных мест), так как иначе придется делать все заново; или не дай бог капнуть смолой на палубу, тогда уж помощник непременно шепнет снизу что-нибудь ласкающее слух. Таким манером я просмолил все фор-штаги, но самым трудным оказался такелаж на бушприте, мартин-штаге и блинда-рее. Там, пока руки заняты просмолкой, надо цепляться за снасть буквально бровями.

Вся эта грязная работа подошла все-таки к концу, и в субботу вечером мы соскребли с палубы все подтеки, но самое главное — вычистили самих себя. Наши просмолившиеся куртки и штаны были закатаны в свертки и отложены до следующей оказии, а мы облачились в чистую парусину и провели субботний вечер в тиши и неге. Следующий день выдался на славу, и вообще за все плавание у нас было лишь одно доставившее неприятности воскресенье, да и то у Горна, где не приходится рассчитывать на хорошую погоду. В понедельник мы принялись за покраску судна и вообще начали готовить его к заходу в порт. Эта работа также выполняется командой, и каждый, кто побывал в дальних плаваниях, в придачу ко многому прочему, становится хоть немного маляром. Мы выкрасили бриг снаружи и изнутри, от клотика до ватерлинии. Наружная часть бортов красится с беседки, спускаемой на тросах. Там и сидишь вместе с ведерком и кистями, а ноги половину времени болтаются в воде. Конечно, для покраски корпуса снаружи необходима спокойная погода, чтобы судно не очень качало. Вспоминаю некий чудесный день, когда я красил таким манером борт, а наш бриг спокойно шел по четыре-пять узлов в сопровождении рыбы-лоцмана, верного предвестника следующей за ней акулы. Капитан поглядывал на нее, перегибаясь через борт, мы же сосредоточенно продолжали заниматься своим делом. Так, в самый разгар покраски, в

пятницу, 19 декабря, мы вторично пересекли экватор. Мне, как и каждому, кто в первый раз испытывает столь быструю и полную смену времен года, казалось совершенно несообразным видеть в середине декабря палящее солнце.

Четверг, 25 декабря. В этот день было рождество, но оно не принесло нам праздника. Единственным отличием от будней оказался пудинг с изюмом, но команда повздорила со стюардом, потому что тот не подал к пудингу обычной порции черной

патоки, решив заменить ее изюмом. В том, что касается наших законных прав, нас нельзя было так легко обвести вокруг пальца.

Подобные пустяки обычно порождают ссоры на судне. Дело в том, что мы уже слишком долго находились в море и надоели друг другу, а поэтому пребывали в постоянном раздражении, как проживающие на баке, так и на юте. Свежие припасы у нас, естественно, кончились, и к тому же капитан велел прекратить выдачу риса, так что нам оставалась одна солонина, и только по воскресеньям мы получали крошечную порцию пудинга. Всякие мелочи, случающиеся ежедневно и почти ежечасно, которые невозможно понять или даже представить человеку, не побывавшему в долгом и тяжелом плавании, — перебранки, слухи, обсуждение всего, что было сказано в каюте, искажение слов и мнений, обычная ругань — все это привело нас в такое состояние, что мы везде и во всем видели одни только несправедливости и беспорядки. Всякий раз, когда нас заставляли работать в установленное для отдыха время, казалось, что это придумано нарочно, и лисели ставят единственно из желания «затемнить» команду [14].

Тем временем мой товарищ Стимсон и я решились просить у капитана разрешения переселиться с кормы в баковый кубрик. К нашему восторгу, разрешение было получено, и мы сразу же перебрались спать и есть к жившей там команде. Ибо матрос, живущий на корме, каким бы хорошим моряком он ни был, считается «ютовым», «судовым пасынком». Теперь-то мы почувствовали себя настоящими матросами, ибо до сих пор все время находились под присмотром помощников капитана и не могли петь и танцевать, курить, шуметь, «ворчать», то есть выражать недовольство, и вообще развлекаться, как это принято среди моряков. Кроме того, раньше с нами помещался стюард, а это вообще ни рыба ни мясо, и команда не считала нас за своих. Перебравшись в кубрик, обретаешь независимость, становишься истинным моряком. Там слышишь болтовню матросов, узнаешь их повадки, особенности их мироощущения, манеру разговора и поведения. В кубрике из долгих рассказов и споров можно почерпнуть множество занятных и полезных сведений, относящихся к морскому делу, кораблям и чужим странам. Никому не дано стать матросом или узнать матросов, если не пожить с ними в одном кубрике — не заваливаться, как они, на койку, не выскакивать из нее на палубу и не поесть со всеми из общего котла. Когда я пробыл там неделю, ничто не заставило бы меня вернуться на старое место. И впоследствии, в самую тяжелую погоду у Горна, когда я ютился в тесном и мокром кубрике, мне даже не приходила в голову подобная мысль. Кроме

того, где еще, кроме кубрика, можно научиться шить и латать одежду, то есть освоить ремесло, совершенно необходимое для всякого моряка. На подвахте матрос немалую часть времени проводит за этим занятием, и обретенные в этом деле навыки сослужили мне потом хорошую службу.

Возвратимся, однако, к настроению команды. Когда мы переселились в кубрик, произошло недоразумение из-за наших хлебных порций — как нам показалось, мы потеряли несколько фунтов. Это вызвало общее возмущение. Капитан не снизошел до объяснений, и мы всей толпой отправились на ют под предводительством шведа Джона, самого старшего и опытного из команды. Воспоминание о последовавшей затем сцене и сейчас вызывает у меня улыбку. Капитан расхаживал у наветренного борта, но, завидя нас, резко остановился, окинув суровым взглядом, и завопил таким голосом, словно собирался испепелить нас: «Ну, какого черта вам еще нужно?» Мы изложили ему нашу жалобу, выражаясь как можно почтительнее, но он обрушил на нас поток слов: стал кричать, что мы зажирели от безделья, а вся эта чушь лезет нам в голову только потому, что мы не слишком заняты работой. Это раззадорило нас, и мы, слово за словом, стали отвечать ему. Капитан сжал кулаки, начал топать ногами, изрыгать проклятия и ругательства. «Пошли вон! Все на бак, до единого! Погодите же, я затемню вас! Отделаю в лучшем виде! Попробуйте только отираться, я покажу вам, что такое настоящее пекло! Не на того напали! Я, Фрэнк Томпсон, прошел сквозь огонь, воду и чертово решето. Из меня получился такой бостонский пирог, что лучше и быть не может, пока я горяч, но в холодном виде я черств, как камень, и вам, как ни старайтесь, не разгрызть меня, уж будьте уверены!» Последние слова произвели на нас немалое впечатление, и «бостонский пирог» сделался нашим любимым присловьем до самого конца плавания, перейдя и на калифорнийское побережье, так что во всех портах нашего капитана стали величать «бостонским пирогом». Вот к чему привела наша петиция, однако дело все-таки удалось поправить, потому что старший помощник, дождавшись, когда капитан остынет, объяснил ему нашу претензию, и в восемь команду собрали на палубе, чтобы прочитать еще одно наставление, в котором, конечно, вся вина возлагалась исключительно на нас самых. Мы пытались намекнуть, что, мол, нам не дали все объяснить, но напрасно. Так и закончилась эта история, однако мы затаили злобу на капитана, и у нас уже не было мира и добрых отношений, пока плавали вместе.

Мы продолжали наслаждаться прекрасным тихоокеанским климатом. Этот океан оправдывает свое название, ибо, за

исключением его южной части у мыса Горн и китайских вод на западе, штормы там редки, и нет ни сильной жары, ни холода. В его тропической зоне в воздухе висит легкая дымка, подобная прозрачной ткани, которая, не ослабляя силы солнечного света, умеряет жару, и поэтому воздух там не так накаляется, как, например, в Атлантике или в Индийском океане. Мы зашли далеко на запад, чтобы лучше использовать северо-восточный пассат, и когда достигли широты мыса Консепсьон, где обычно входят в «соприкосновение» с берегом, нам оставалось до него еще несколько сотен миль. Мы резко изменили курс к осту и держали так в течение нескольких дней. Вскоре с наступлением темноты мы стали ложиться в дрейф на ночь из боязни выскочить на берег, ибо здесь нет маяков, а имеющиеся карты весьма приблизительны.

Вторник, 13 января 1835 г. На рассвете открылся мыс Консепсьон, 34°32' северной широты и 120°30' западной долготы. Порт Санта-Барбара, в который мы направлялись, лежит на пятьдесят миль южнее, и мы спускались на юг вдоль побережья весь следующий день и всю ночь. Утром

14 января отдали якорь в просторной бухте Санта-Барбары, проделав, считая со дня выхода из Бостона, стопятидесятисуточное плавание.

Глава IX
Санта-Барбара

Калифорния простирается почти вдоль всего западного побережья Мексики от Калифорнийского залива на юге до бухты Сан-Франциско на севере, то есть между 22° и 38° северной широты. Она разделена на две провинции — Нижнюю, или Старую, Калифорнию и Новую, или Верхнюю, Калифорнию, самым южным портом у которой является Сан-Диего, а Сан-Франциско — самым северным. Сан-Франциско расположен в обширной бухте на широте 37°58', открытой сэром Фрэнсисом Дрейком, но получившей свое название, как я полагаю, от францисканских миссионеров. Управление Верхней Калифорнией находится в Монтерее, там же и единственная на всем побережье таможня, на которой каждое торговое судно обязано предъявлять свой груз. Поэтому мы думали, что пойдем сначала в Монтерей, однако капитан еще в Бостоне получил распоряжение идти в Санта-Барбару, центральный порт побережья, и ждать там агента, который занимается всеми делами владельцев нашего судна.

Бухта, или, как ее часто называют, «канал», Санта-Барбары весьма обширна и ограничена с одной стороны материком, изгибающимся здесь подобно полумесяцу (между мысом Консепсьон на севере и мысом Санта-Бонавентура на юге), и тремя большими островами — с другой, которые отстоят от побережья миль на двадцать. Место это лишь с трудом может быть названо бухтой, ибо оно чересчур просторно и совершенно не защищено от юго-восточных и северо-западных ветров, так что на самом деле немногим лучше открытого рейда. Вся зыбь Тихого океана накатывает сюда при юго-восточном ветре, образуя на мелководье столь мощный прибой, что в сезон зюйд-остов находиться вблизи берега крайне опасно.

Зюйд-ост — истинный бич побережья Калифорнии. С ноября по апрель, а это период дождей в этих широтах, оградиться от него совершенно невозможно, и поэтому в открытых портах суда вынуждены становиться на якорь не ближе трех миль от берега и в дополнение к якорной цепи заводить на корму дуплинь, чтобы иметь возможность в любой момент сняться и уйти в море. Единственные порты, которые защищены от этого ветра, — Сан-Франциско и Монтерей на севере, Сан-Диего на юге.

Поскольку мы пришли в январе, в разгар сезона зюйд-остов, то встали, как принято, на якорь в трех милях от берега на глубине одиннадцати саженей. Капитан отправился на берег и

велел прислать за ним шлюпку к закату солнца. Я не попал в первую шлюпку и обрадовался, что до вечера пойдет еще одна, ведь после столь продолжительного плавания, когда уже видна земля, даже несколько часов ожидания встречи с ней кажутся вечностью. День прошел в обычных делах, но, поскольку впервые на борту не было капитана, мы чувствовали себя свободнее и поглядывали на берег, стараясь угадать, что это за страна, где нам предстояло прожить год или два.

Выдалась прекрасная погода, настолько теплая, что мы надели все летнее — соломенные шляпы, полотняные брюки и прочее. Такая благодать в середине зимы не могла не радовать нас. Как мы убедились впоследствии, термометр за всю зиму не опускается здесь до точки замерзания, и вообще между сезонами разница невелика, за исключением долгого периода дождей и зюйд-остов, когда теплая одежда не кажется лишней.

Огромная бухта вокруг нас казалась почти неподвижной, ветер едва дышал, хотя команда с побывавшей на берегу шлюпки и рассказывала, что у берега сильный прибой. В порту, кроме нас, находилось только одно судно — длинный остроносый бриг тонн на триста с наклоненными мачтами, под английским флагом на гафеле. Позднее мы узнали, что он построен в Гуякиле и назван в честь сражения в Аякучо, принесшего независимость Перу. «Аякучо» принадлежал некоему шотландцу по имени Вильсон, который и командовал им, занимаясь перевозкой грузов между Кальяо и другими портами Южной Америки и Калифорнии. Бриг был отменным ходоком, в чем мы не раз имели возможность убедиться. Его команда состояла из сандвичевых островитян. Кроме этого судна, ничто не нарушало пустынности бухты. Рогами ее полумесяца являются два мыса, один из которых, а именно западный, низкий и песчаный, и суда должны обходить его на почтительном расстоянии, когда спасаются от юго-восточного ветра; другой же, напротив, высокий, крутой и покрыт густым лесом. На нем расположена миссия Санта-Буэнавентура, от коей мыс и получил свое название. Посредине полумесяца, против якорного места, расположена другая миссия и городок Санта-Барбара на равнине, лишь немногим выше уровня моря, поросшей травой, но совершенно лишенной деревьев. С трех сторон ее окружают в виде амфитеатра горы, отступающие в глубь побережья на расстояние пятнадцати — двадцати миль. Миссия поставлена несколько позади города и представляет собой большое здание или, скорее, соединение нескольких построек, в центре которых возвышается звонница с пятью колоколами. Белая штукатурка придает миссии нарядный вид, и она служит ориентиром для судов, становящихся на якорь.

Городок стоит ближе к берегу, примерно в полумиле от него, и застроен одноэтажными глинобитными домами. Некоторые из них выбелены и покрыты красной черепицей. Всех домов не более сотни. В самой середине находится пресидио, или форт, построенный из той же глины и вряд ли более прочный. Город расположен весьма живописно: впереди бухта, вокруг опоясывающая цепь гор. Лишь одно умаляет привлекательность этого места. На горах нет больших деревьев из-за пожара, уничтожившего их лет десять назад. Один из здешних жителей рассказывал мне, сколь ужасен и величественен был вид горящего леса. Воздух во всей долине страшно раскалился, и людям пришлось покинуть город и несколько дней искать спасения около самой воды. Перед заходом солнца старший помощник отправил на берег шлюпку, и на этот раз я попал в ее экипаж. Мы прошли под кормой английского брига и долго гребли к берегу. Никогда не забуду впечатления от первой встречи с калифорнийской землей. Солнце только что закатилось, и начинало смеркаться. Поднимался влажный ночной бриз, накатывала тяжелая океанская волна и с шумом разбивалась высокими бурунами о берег. Осушив весла, мы легли в дрейф перед самой полосой прибоя, ожидая удобного момента, чтобы войти в него. В это время от «Аякучо» отвалила шлюпка с темнокожими островитянами, которые громко выкрикивали что-то на своем тарабарском языке. Они подошли совсем близко к нам и, зная, что мы здесь новички, тоже задержались, чтобы посмотреть, как мы пойдем через прибой. Однако наш второй помощник, сидевший на руле, решил поучиться у них и не желал начинать. Догадавшись наконец, в чем дело, они издали громкий крик и с приближением огромного гребня, который, сначала задрав корму, поставил шлюпку почти в вертикальное положение, а потом бросил ее вниз, сделали три-четыре длинных и сильных удара веслами и оседлали волну. Весла моментально были брошены за борт, как можно дальше от шлюпки, и в ту же секунду, когда она коснулась грунта, гребцы попрыгали в воду и, ухватившись с обоих бортов за планширь, вынесли ее далеко на песок. Мы сразу поняли, что самое главное — все время держаться кормой к волне, иначе шлюпку непременно ударит в борт и опрокинет. Мы навалились на весла и, как только почувствовали, что шлюпку подхватило и несет со скоростью скаковой лошади, побросали весла как можно дальше за борт и вцепились в планширь, готовые сразу выпрыгнуть, едва шлюпка коснется дна. Помощник капитана изо всех сил работал рулевым веслом, чтобы не развернуло корму. Нас выбросило на берег, и, подхватив шлюпку, мы быстро оттащили ее на высокое и сухое

место. Оставалось только собрать весла и дожидаться капитана.

Видя, что он задерживается, мы оставили одного матроса присматривать за шлюпкой и пошли прогуляться по берегу бухты, протянувшейся почти на милю между двумя мысами. Высадились мы на единственно пригодном для этого месте, как раз посредине, где дно покрыто мелким песком. Ширина полосы песка от отметки самой полной воды до небольшого возвышения, где начинается земляной грунт, ярдов двадцать, и песок там настолько плотный, что пляж служит излюбленным местом для проведения скачек. Темнело, и силуэты стоявших на рейде кораблей уже едва различались. Ровными рядами накатывали большие валы, громоздясь, по мере приближения к берегу, все выше и выше. Они зависали над берегом белыми гребнями, а потом начинали быстро опрокидываться, словно детский карточный домик. Тем временем островитяне развернули свою шлюпку и, втащив ее в воду, стали загружать шкурами и салом. Как раз такой работой нам предстояло заниматься в самом ближайшем будущем, и мы посматривали на них с понятным любопытством. Они подтащили шлюпку на такую глубину, где каждая большая волна могла подхватить ее, и два человека, закатав штаны до колен, стояли по оба борта у носа, изо всех сил удерживая суденышко в нужном направлении, хотя их самих едва не сносило прибоем. Остальные бегали от шлюпки к отмели, на которой вне досягаемости воды была свалена груда высушенных бычьих шкур, не уступавших по твердости доскам. Они клали их себе на голову по одной, а то и по две штуки сразу и тащили к шлюпке, где один человек занимался только укладкой. Шкуры приходилось носить на голове, чтобы не замочить их, и мы заметили, что у всех островитян надеты толстые шерстяные шапочки. «Смотри, Билли, и мотай на ус», — сказал кто-то из наших товарищу. «Ну как, Дана, — обратился ко мне второй помощник, — не слишком-то похоже на Гарвардский колледж? А по-моему, это и есть настоящая работа головой». Откровенно говоря, подобное зрелище выглядело не очень обнадеживающим.

Разделавшись со шкурами, канаки принялись за мешки с салом (они были сшиты опять-таки из шкур и такой же величины, как мешки под муку). Носили их к шлюпке по двое, так что каждый держал на плече свой край. Потом островитяне стали готовиться к возвращению на судно, и здесь мы тоже могли многому научиться. Человек на корме вставил рулевое весло и поднялся во весь рост, двое с загребными веслами сели на банки, изготовившись грести сразу, как только шлюпка окажется на плаву. Двое стояли в воде, удерживая шлюпку за нос, и с первой большой волной, ухватившись за планширь, бегом потащили

суденышко на глубину. Когда вода дошла им до подмышек, они подпрыгнули и, перегнувшись через борт, повалились в шлюпку. Гребцы ударили веслами, но шлюпка не пошла — ее отбросило почти на сухое место. Те двое на носу опять соскользнули в воду и во второй раз оказались удачливее — подбадривая себя громкими криками, канаки вывели шлюпку на глубокую воду и наконец отошли от берега. Мы смотрели им вслед, пока они не миновали полосу прибоя и не исчезли в темноте, уже скрывшей их судно.

Наши босые ноги стали мерзнуть на холодном песке; в болотах заквакали лягушки, и одинокая сова с отдаленного мыса время от времени издавала свой меланхолический крик. Мы уже подумывали, что «старику», как обычно называют капитана, пора бы и возвратиться. Через несколько минут послышался стук копыт, и появился всадник. Он шел галопом, потом, осадив лошадь, бросил нам несколько слов и, не дождавшись ответа, снова пустил лошадь вскачь и пропал в темноте. Он был смугл, как индеец, в широкополой испанской шляпе и закутан в пончо (иначе — серапе); из кожаных гамаш торчал длинный нож.

— Я попадаю вот уже в седьмой порт и нигде не видал пока ни единой христианской души, — изрек Билл Браун.

— Погоди, это еще не самое страшное, — успокоил его Джон.

Наша беседа была прервана появлением капитана. Мы столкнули шлюпку в воду и приготовились. Капитан, уже бывавший в этих местах и знавший, «что к чему», взял рулевое весло, и мы отошли от берега приблизительно так же, как и шлюпка с «Аякучо». Мне, как самому младшему, выпало удовольствие удерживать шлюпку за нос и насквозь промокнуть. Несмотря на большую волну, все обошлось благополучно, хотя шлюпку швыряло то вверх, то вниз, словно щепку. Через минуту мы были уже на мерной зыби и гребли на огонь, вывешенный на гафеле нашего судна.

Подойдя к борту брига, мы подняли все шлюпки и, нырнув в кубрик, первым делом переменили вымокшую одежду, после чего занялись ужином. Потом матросы зажгли свои трубки (а у кого были, то и сигары) и потребовали рассказать обо всем увиденном на берегу. При этом высказывались всяческие догадки относительно местных жителей, продолжительности рейса, погрузки шкур и еще о множестве вещей, пока не пробило восемь склянок, когда команду созвали на палубе, чтобы установить «якорную вахту». Нам полагалось стоять по двое, а так как ночи были долгие, каждая смена продолжалась два часа. Второй помощник должен был находиться на палубе до восьми, а с первыми лучами солнца команду уже поднимали. Прежде всего

вахте вменялось в обязанность смотреть в оба и не прозевать, когда задует с зюйд-оста, а тогда сразу же поднимать старшего помощника. Каждые полчаса нужно было бить склянки, как в море. Вместе со мной от двенадцати до двух вахту стоял швед Джон; он ходил по левому борту, я по правому. С рассветом, сразу после подъема, последовала обычная процедура скатывания палубы, а к восьми нам уже раздали завтрак. Днем посланная на «Аякучо» шлюпка привезла четверть говяжьей туши, которая оказалась нам весьма кстати. Мы немало этому радовались, а старший помощник объявил, что на побережье у нас всегда будет свежее мясо, так как здесь оно дешевле солонины. Во время обеда раздался крик кока: «Парус!» — и, выбежав на палубу, мы увидели два судна, огибавших мыс. Одно из них было с корабельным вооружением и шло под брамселями, второе — бригантиной. Они обстенили марсели и спустили каждый по шлюпке, которые направились к нам. Флаг на корабле озадачил нас — оказалось, что это был «генуэзец», который ходит вдоль побережья с генеральным грузом. Он снова взял ветер и направился в море, так как шел в Сан-Франциско. На бригантине команда состояла из канаков с Сандвичевых островов, и один из них, говоривший немного по-английски, рассказал, что это «Лориотта» из Оаху под командой капитана Ная и они тоже возят шкуры и сало. На такой посудине, напоминающей обрубок, которую матросы прозвали ящиком из-под масла, как, впрочем, и на «Аякучо» и всех других, занятых в калифорнийской торговле, помощниками служат англичане и американцы. Из них же нанимают двух-трех надежных и опытных матросов для работы с такелажем и для прочих морских дел. Остальная команда — сплошь островитяне, которые весьма расторопны и прекрасно управляются со шлюпками.

Все три капитана после обеда съехали на берег и вернулись только к ночи. Обычно, когда судно стоит в порту, всеми делами на борту занимается старший помощник. Капитану, если он не является одновременно и суперкарго, делать особенно нечего, и он проводит большую часть времени на берегу. Имея добродушного и не очень строгого помощника, мы радовались этому обстоятельству, однако в конце концов все обернулось к худшему. Дело в том, что, если капитан человек суровый и энергичный, а старший помощник не отличается этими качествами, обязательно жди неприятностей. Да мы и так уже чувствовали их приближение. Капитан несколько раз в присутствии команды выражал старшему помощнику свое неудовольствие, и поговаривали, что между ними не все ладно. А если уж капитан подозревает своего помощника в заигрывании с

командой, то начинает вмешиваться во все его дела и натягивать вожжи, а страдают от этого только матросы.

Глава X
Зюйд-ост

Вечером после захода солнца на юге и на востоке все заволокло чернотой, и вахте было велено смотреть в оба. Поэтому в ожидании вызова наверх мы улеглись как можно раньше. Проснувшись около полуночи, я увидел только что сменившегося с вахты матроса, который зажигал огонь. Он сказал, что с зюйд-оста начинает поддувать, в бухту гонит волну и ему пришлось разбудить капитана. По тому, как он улегся на свой рундук, не снимая одежды, я понял, что долго спать нам не придется. Судно уже дергалось на якоре, канат скрипел и натягивался втугую. Я уже не мог уснуть и приготовился выскочить наверх по первой команде. Через несколько минут трижды ударили по люку и раздался крик: «Все наверх! Паруса ставить! Пошевеливайся!» Мы не успели даже одеться, когда старший помощник, просунувшись в люк, заторопил нас: «Живее! Живее! Нас сорвет с якоря!» В мгновение ока мы были на палубе. «По мачтам! Марсели ставить!» — закричал капитан, как только первый из нас появился наверху. Оказавшись в несколько прыжков на вантах, я увидел, что у «Аякучо» марсели отданы и команда, распевая шанти, дружно выбирает шкоты. Это, возможно, и «завело» нашего капитана, потому что «старик Вильсон» (капитан «Аякучо») уже много лет плавал у побережья и знал все повадки дурной погоды. Мы быстро отдали сезни и спустились на шкоты, только на каждом марсе оставалось, как обычно, по матросу, чтобы раздергивать снасти и парусину. Пока обтягивали шкоты, на нашем траверзе «Аякучо» со своими наклоненными мачтами, как гончий пес, уже несся круто к ветру, разрезая, словно ножом, встречную волну. Это было великолепное зрелище. Подобно испуганной птице, он на лету расправлял свои крылья. Растянув марсели и круто обрасопив фока-реи, мы поставили фор-стень-стаксель, сбросили якорные буи и приготовились отдавать кормовой конец.

— На баке все готово? — закричал капитан.

— Да, сэр, все, — подтвердил помощник.

— Отдавай!

— Отдано, сэр!

Якорная цепь заскрежетала на шпиле и в клюзе, нос судна резко увалился под ветер, надраив заведенный дуплинем кормовой трос.

— Отдать на корме! — И в одно мгновение мы уже забрали

ход. Как только бриг достаточно увалился, реи были круто обрасоплены, поставлены фок и трисель, и мы привели якорную стоянку на корму, оставляя мыс на достаточном удалении в стороне.

— Най тоже снялся, — заметил капитан старшему, и мы увидели за кормой маленькую бригантину, следовавшую за нами.

Ветер заметно свежел, дождь лил уже совсем всерьез, вокруг сгустилась чернота, но капитан не убавлял паруса, пока мы не прошли мыс. Как только он остался за кормой, мы снова полезли на мачты и взяли по два рифа на всех марселях и триселе и убрали фок. В подобных случаях, когда приходится спасаться от зюйд-оста, после отрыва от берега остается лишь идти под штормовыми парусами и дожидаться, пока стихнет ветер, который здесь редко удерживается более двух суток, а иногда все кончается за двенадцать часов.

— Подвахтенные, вниз! — скомандовал старший помощник, но тут возник спор, чья очередь оставаться на палубе. Впрочем, старший помощник быстро решил дело, сменив свою вахту, и сказал, что в следующий раз при такой съемке с якоря будет наш черед. Пока мы оставались на палубе, ветер дул с изрядной силой, а дождь низвергался потоками. Когда заступила другая вахта, мы сделали поворот через фордевинд и, переменив галс, направились теперь к берегу. В четыре часа утра нам пришлось заступать снова. Темнота еще не рассеялась, но ветер почти стих. Зато лило так, что я за всю жизнь не видывал ничего подобного. На нас были дождевики и зюйдвестки, и нам оставалось только стоять во весь рост под низвергающимися потоками — ведь в море нет ни навесов, ни зонтиков.

Мимо нас под зарифленным фор-марселем проскользнула, словно призрак, маленькая бригантина. Мы не обменялись ни единым звуком; ее палуба была совершенно пуста, и только фигура рулевого темнела за штурвалом. К утру капитан высунулся из люка и приказал второму помощнику, который командовал нашей вахтой, следить за ветром, потому что в этих местах после сильного дождя ветер обычно стихает, а потом меняет направление. Его предусмотрительность оказалась не лишней — буквально через несколько минут наступил мертвый штиль, и судно, потеряв ход, перестало слушаться руля. Дождь прекратился; мы поставили трисель, нижние паруса и обрасопили реи, после чего оставалось лишь ждать. И ветер задул, но теперь уже от норд-веста, совсем от противоположных румбов. Благодаря нашим приготовлениям, мы не были застигнуты врасплох и сразу пошли на фордевинд. Капитан вышел на палубу, мы чуть перебрасопили реи и двинулись обратно к своему якорному

месту. С изменением ветра переменилась и погода, а через два часа установился легкий, но устойчивый бриз, который почти круглый год дует у берега и по своей регулярности может считаться настоящим пассатом. Взошло яркое солнце, и мы, поставив бом-брамсели, трюмсели и лисели, понеслись к Санта-Барбаре. Маленькая «Лориотта» оставалась позади и почти исчезла из виду, но «Аякучо» словно пропал. Вскоре он появился со стороны острова Санта-Роса, за которым продрейфовал всю ночь. Нашему капитану очень хотелось войти в гавань первым, ибо выигрыш у «Аякучо», известного на протяжении лет шести на всем побережье в качестве прекрасного ходока, весьма поднял бы нашу репутацию. При слабых ветрах мы имели неоспоримое преимущество благодаря бом-брамселям и трюмселям, поскольку капитан Вильсон никогда не ставил ничего выше брамселей, а при плавании в прибрежных водах вообще снимал весь такелаж лиселей. Дул умеренный и попутный ветер, и мы некоторое время держались впереди, но, пройдя мыс, обоим судам пришлось обрасопить реи и лечь круто к ветру. Здесь «Аякучо» взял свое и обставил нас. Впоследствии капитан Вильсон говорил, что у нас был недурной ход, но на крутых курсах он все равно бы побил нас, будь у нас хоть паруса самого «Ройал-Джорджа».

«Аякучо» стал на якорь почти на полчаса раньше нас и, когда мы подошли, уже убирал паруса. Вообще подцепить свой якорный канат — задача довольно трудная, нужно кое-что смыслить в морском деле, чтобы не отдавать второй якорь. Капитан Вильсон был известен по всему побережью своим умением в этом деле, да и наш старик за все время, пока я плавал с ним, ни разу не воспользовался вторым якорем. Выйдя на ветер от нашего буя, мы взяли верхние паруса на гитовы, обстенили грот-марсель и спустили шлюпку, которая, отойдя от борта, зацепила проводник к бую на конце дуплиня. Другой конец проводника взяли на шпиль и выбирали его до тех пор, пока не пошел дуплинь. Мы взяли его на брашпиль и выхаживали, пока не показалась якорная цепь. Мы пропустили ее через клюз, вокруг шпиля и положили на битенг, а дуплинь обнесли по борту и провели в кормовой портик, после чего судно надежно стало на прежнем месте. Когда все закончилось, старший помощник сказал, что по этому небольшому делу можно судить, что такое Калифорния, и теперь нам придется работать всю зиму точно таким же манером.

Уже после того, как мы скатали паруса и пообедали, появилась «Лориотта» и до наступления вечера стала на якорь. К закату мы опять отправились на берег, где встретили ее шлюпку. Островитянин, говоривший по-английски, рассказал нам, что уже побывал в городе и что наш агент, м-р Робинсон, и еще несколько

пассажиров пойдут с нами в Монтерей, куда мы должны сняться этой же ночью. Через несколько минут появился капитан Томпсон вместе с какими-то двумя господами и дамой. У них было изрядное количество багажа, который мы погрузили на нос, после чего двое из нас взяли сеньору на руки и перенесли в шлюпку. Вся эта процедура весьма позабавила даму, и муж ее тоже остался доволен, потому что ему не пришлось замочить себе ноги. Я оказался загребным и поэтому слышал, о чем говорили пассажиры, из чего узнал, что один из них, а именно тот, в европейском платье и широком плаще, был агентом фирмы судовладельца; а другой — в испанском костюме — братом нашего капитана и уже много лет занимался торговлей на побережье. Его жена, та самая стройная, смуглая молодая женщина, которую мы перенесли в шлюпку, принадлежала к одному из почтеннейших калифорнийских семейств. Я также узнал, что мы снимаемся с якоря в тот же вечер.

Как только мы подошли к бригу, все шлюпки были подняты, сразу поставили паруса, люди пошли на шпиле, и через двадцать минут, пользуясь попутным ветром, мы уже выходили в море, взяв курс на Монтерей. Одновременно снялась и «Лориотта», следовавшая туда же, но она держалась ближе к берегу, а мы были мористее и поэтому вскоре потеряли ее из виду. Мы шли с попутным ветром, что случается весьма редко при плавании вдоль берега в северном направлении. Обычно ветер здесь дует с севера. По этой причине северные порты здесь принято называть наветренными, а южные — подветренными.

Глава XI
Вдоль побережья

Острова остались за кормой еще до наступления утра, а к двенадцати часам мы прошли и мыс Консепсьон, тот самый, увиденный нами впервые кусочек калифорнийской земли. Это самый большой необитаемый выступ земли на всем побережье, и вокруг него, как говорят, преобладают очень сильные ветры. Всякое судно, не встретившее здесь шторма, может почитать себя удачливым, особенно зимой. Мы подошли к мысу, неся лисели с обоих бортов, но, обогнув его, привелись к ветру и убрали подветренные лисели и почти сразу же и трюмсели. Ветер свежел, но капитан, по всей очевидности, решил все-таки «протащить посудину». Его брат и мистер Робинсон выглядели озабоченными и что-то говорили ему, но он ответил, что знает свой бриг и какую парусину надо нести. Капитану явно хотелось показать себя. Он подошел к наветренному борту и, держась за бакштаги, смотрел вверх на рангоут, чтобы определить, сколько можно оставить парусов, однако порыв ветра тут же разрешил все сомнения. Без промедления последовала команда: «Бом-брамсели, бом-кливер и лисели долой!» Случилось то самое положение, которое моряки называют «суматоха» — когда почти все снасти отданы, но еще не закреплены и буквально летают по воздуху. Несчастная, перепуганная насмерть мексиканка выглянула из люка, бледная, словно призрак. На баке старший помощник и несколько матросов пытались убрать нижний лисель, который зацепился за блинда-рей и бакштаги, в то время как лисель-спирт выгнулся и, спружинив, наподобие китового уса, переломился у нокового бугеля. Я бросился наверх, чтобы убрать грот-брам-лисель, но не успел добраться до марса, как вырвало галсовый угол, и с парусом было покончено — его занесло за брамсель и мгновенно разорвало на куски. Лишь с великими усилиями я сумел собрать то, что от него осталось, и в этот момент капитан закричал мне: «Дана, пошел выше, бом-брамсель долой!» Оставив лисель, я начал карабкаться на салинг, а там трепало уже порядочно. Брам-стеньга оказалась под таким углом, что было страшно смотреть. Все вокруг ходило ходуном и трещало, напрягаясь до предела.

Что ж, простому Джеку-матросу ведь ничего не остается, как исполнять команды, и я полез на рей. Там было еще хуже, хотя минуту назад казалось, что дело и так совсем плохо. Брасы отдались, и рей крутился, словно карусель. Весь парус сбился под

ветер, наветренная шкаторина зацепилась за нок, а над моей головой полоскал сорванный трисель. Я посмотрел вниз, но кричать было бесполезно — там все были заняты делом, а здесь наверху ревел ветер и оглушительно хлопали паруса. К счастью, дело было в полдень при ясном солнце, и матрос у штурвала, посматривавший на паруса, заметил мое затруднительное положение. После обмена бесконечными знаками и жестами он крикнул матросам, чтобы те выбрали слабину необходимых снастей. Я тем временем успел рассмотреть, что делается внизу. На палубе царил полнейший беспорядок. Бриг пробивался сквозь волны, словно обезумевший, огромные валы перекатывались через него, мачты зависали далеко за бортом. На другой бом-брам-стеньге сражался с парусом Стимсон; парус вырывался сразу же, едва ему удавалось подмять его под себя. Брамсель подо мной быстро взяли на гитовы, и мачте стало легче. Я убрал свой парус и спустился на палубу, но, к сожалению, моя новая шляпа полетела за борт, и это печалило меня больше всего. Мы работали вовсю, через час, спустив-таки все наши «воздушные змеи», остались только под штормовыми парусами с двумя взятыми рифами.

После шквала ветер зашел, и бриг нацелился теперь носом точно на мыс, так что пришлось поворачивать через фордевинд с приятной перспективой лавировать против сумасшедшего встречного ветра до самого Монтерея добрую сотню миль. К вечеру пошел дождь, и целых пять дней нам досаждала дождливая штормовая погода, вынудившая нас идти под зарифленными парусами, не говоря уже о том, что бриг отнесло на несколько сотен миль от берега. В довершение всего мы обнаружили, что треснула фор-стеньга (это случилось, без сомнений, во время шквала), и теперь пришлось спускать фор-стеньгу и оставить на фок-мачте как можно меньше парусов. Наши пассажиры сильно страдали от морской болезни, поэтому все пять дней мы их почти не видели. На шестой день прояснилось, показалось яркое солнце, но ветер был по-прежнему силен, а море оставалось все еще неспокойным. Мы снова очутились посреди океана — на сотни миль вокруг никакой земли, и капитан ежедневно брал полуденную высоту солнца. Наконец-то появились наши пассажиры, и я впервые увидел, сколь жалкое зрелище являет собой человек, страдающий морской болезнью. С тех пор как на третий день после выхода из Бостона мое собственное недомогание прошло, я видел вокруг себя лишь здоровых энергичных людей, крепко стоявших на «морских» ногах. И должен сознаться, когда сам можешь ходить по палубе, есть и забираться наверх, то испытываешь некое

приятное чувство собственного превосходства перед жалкими бледными созданиями, которые передвигаются, шатаясь и волоча ноги, и помутившимися глазами смотрят, как мы взбираемся на самый верх мачты или спокойно делаем свое дело, сидя на ноках реев. В море здоровый человек не сочувствует тому, кто страдает от качки; и его собственная мужественность только выигрывает от сравнения.

Через несколько дней мы вышли к мысу Пинос у входа в залив Монтерей. Когда мы приблизились и пошли вдоль берега, то смогли хорошо рассмотреть открывшуюся землю и прежде всего заметить, что лес занимает здесь куда больше пространства, чем к югу от мыса Консепсьон. Как мне удалось выяснить, этот мыс служит как бы границей двух ландшафтов Калифорнии. Северная часть побережья более лесиста и разнообразна во всех отношениях, и там же много пресной воды. Это относится и к Монтерею, а еще более к Сан-Франциско, в то время как южная часть берега у Санта-Барбары, Сан-Педро и особенно у Сан-Диего почти лишена леса и представляет собой обнаженную и совершенно плоскую равнину, которая, впрочем, не лишена плодородия.

Залив Монтерей широк при входе, и расстояние между мысами Аньо-Нуэво на севере и Пинос на юге около двадцати четырех миль; далее залив начинает постепенно сужаться по мере приближения к городу, расположенному на берегу бухты в юго-восточном изгибе просторной глубоководной бухты; от мысов до города почти восемнадцать миль, что и составляет длину залива. Берега поросли очень густым лесом, где изобилует сосна, и, поскольку был сезон дождей, все вокруг покрывала свежая зелень, отовсюду доносилось пение птиц, а дичь в великом множестве летала даже у нас над головой. Здесь можно было не опасаться зюйд-остов. Мы стали на якорь в двух кабельтовых от берега, так что город лежал прямо перед нами, радуя глаз своими белыми домиками, намного более привлекательными, чем в Санта-Барбаре, где все строения какого-то неприглядного бурого цвета. Красная черепица составляла превосходный контраст с белыми стенами и зеленью лужаек, на которых беспорядочно, но как-то уютно расположились сами дома. Здесь, как и во всех других городах, которые я повидал в Калифорнии, нет ни улиц, ни оград (исключая отдельные участки, огороженные кое-где под сады), и поэтому около сотни домов расставлено как попало. Все они имеют лишь один этаж и на небольшом удалении выглядят весьма живописно.

Мы подошли к городу в погожий субботний день, солнце стояло высоко, над маленьким квадратным пресидио развевался

мексиканский флаг, и по воде до нас доносились звуки барабана и трубы вышедших на парад солдат, и эти звуки словно наполняли жизнью все окружающее. Моряки радовались открывшейся картине — нам казалось, что мы попали в христианскую — что на языке матросов означает цивилизованную — страну. Первое наше впечатление от Калифорнии было весьма неблагоприятным: открытый рейд Санта-Барбары; стоянка на якоре в трех милях от берега; необходимость сниматься с якоря при каждом зюйд-осте; высадка на берег на высоком прибое. К тому же и сам мрачноватого вида городок стоял в миле от берега. Там не раздавалось ни звука, ласкающего слух, и не было ничего, что могло бы порадовать глаз, кроме канаков с Сандвичевых островов, шкур и мешков с салом. Прибавьте сюда шторм у мыса Консепсьон, и вам станет понятно, как мы были приятно удивлены в Монтерее. Кроме того, здесь почти нет прибоя, а это было для нас немаловажным обстоятельством. В этот день бухта была гладкая, как деревенский пруд.

Мы высадили на берег агента и пассажиров и увидели, что на берегу их встречали какие-то люди, которые, хотя и были одеты в местные костюмы, говорили по-английски. Потом мы узнали, что это были англичане и американцы, которые женились и поселились в здешних краях. С приходом в Монтерей связано одно событие, касающееся прежде всего моей персоны (первое серьезное достижение в морском ремесле), заключавшееся в спуске на палубу бом-брам-рея. Мне уже дважды приходилось видеть, как это делается в море, и старый матрос, чье расположение я завоевал не без труда, обучил меня всем тонкостям этой работы и посоветовал воспользоваться первой же возможностью на стоянке, чтобы испытать себя. Я сказал об этом второму помощнику, с которым был в дружеских отношениях еще тогда, когда тот служил матросом. Вскоре меня призвал старший помощник и велел приниматься за дело. Я полез наверх, повторяя в уме все, что предстояло сделать, и старался работать как можно тщательнее в должном порядке, ибо малейшая ошибка неизбежно испортила бы все дело. К счастью, я не получил никаких замечаний и даже заслужил «хорошо сделано» от старшего помощника, когда рей оказался на палубе. Это доставило мне не меньшее удовольствие, чем «bene» под латинским упражнением в Кембридже.

Глава XII
Монтерей

Назавтра предстояло воскресенье, а на торговых судах это свободный день, когда часть команды отпускают на берег. Матросы уже рассчитывали отдохнуть и даже спорили, кому проситься в город. Однако утром совершенно неожиданно выяснилось, что придется лезть наверх и спускать ту самую стеньгу, которая треснула во время шквала, а потом выстреливать новую и заводить такелаж. Тут уже нам стало не до шуток. Если и можно чем-нибудь вызвать сильное раздражение моряка, то самое подходящее — оставить его без воскресенья. Конечно, моряк не всегда проводит его с пользой, а вернее, почти никогда, но все-таки для него это единственный день отдыха. К тому же он и без того нередко лишается минуты покоя из-за штормов и всяческих неотложных дел, и потому воскресная работа, когда судно стоит недвижимо в порту, выводит из себя даже самых терпеливых. Единственной причиной в данном случае могло быть лишь то, что капитан решил пригласить в понедельник таможенных чиновников и хотел перед этим привести бриг в порядок. Ну, а Джек-матрос — это же раб на судне, хотя, впрочем, у него есть немало возможностей, чтобы «волынить» и уклоняться от исполнения капитанских приказов. В случае крайней опасности, если с матросом хорошо обращаются, никто не работает быстрее, чем он. Но стоит матросу почувствовать, что его заставляют гнуть спину по пустякам, то есть, как говорят на флоте, «надувают», ни один ленивец [15] не может быть медлительнее его. Матрос не может не подчиниться приказу и выказывать неповиновение, и все, что бы ни приказал помощник капитана, приходится исполнять. Однако каждый, кто был в море хотя бы три месяца, знает, как «крутить Тома Кокса» — «три раза обойти баркас, а потом навалиться на бачок с питьевой водой». В это утро все так и шло. Стоило послать человека вниз за блоком, как он переворачивал в подшкиперской все подряд и вылезал только после неоднократных напоминаний. Никто не мог найти свайки, все ножи вдруг затупились, и около точильных камней скапливалось по три-четыре матроса. Тому, кто забирался на мачту, сразу же надо было спускаться вниз, чтобы взять забытую вещь, и он делал это не торопясь. А когда закладывали тали, шестеро выбирали их с меньшей силой, чем обычно трое матросов, работавших «в охотку». Стоило старшему помощнику отвернуться, и работа сразу же прекращалась. В восемь часов,

когда мы завтракали, все оставалось почти в том же виде, как и вначале.

В течение короткой трапезы мы успели обсудить положение дел. Кто-то предложил отказаться от работы, но это пахло уже настоящим бунтом, и, конечно, такое сразу же было отвергнуто. Один из матросов вспомнил «отца Тэйлора» (матросского проповедника в Бостоне), который говаривал, что если заставляют работать в воскресенье, то не надо отказываться, а грех ляжет на капитана. После завтрака не без посредничества помощников просочился слух, что если мы быстро закончим работу, то после обеда нам дадут шлюпку и можно будет порыбачить. Приманка была метко заброшена, и несколько завзятых рыболовов попались на нее. В конце концов остальные также решили, что раз надо сделать одно дело, то, чем скорее мы его закончим, тем лучше. После этого картина совершенно переменилась, и к двум часам вся работа, которая в нормальных условиях могла бы продолжаться дня два, была окончена. Пятеро взяли шлюпку и отправились к мысу Пинос, однако разрешения съехать на берег не последовало. Там мы заметили «Лориотту», отплывшую вместе с нами из Санта-Барбары. Она медленно двигалась к берегу с легким попутным бризом, после полудня пришедшим на смену мертвому штилю. Мы наловили всякой рыбы, больше всего трески и окуня, а Фостер (бывший второй помощник) поддел на крючок большую раковину-жемчужницу. Уже потом мы узнали, что здешние места славятся раковинами. И одна небольшая шхуна даже совершила удачный рейс с этим грузом в Соединенные Штаты.

Возвратившись к заходу солнца, мы увидели, что «Лориотта» стоит на якоре в одном кабельтове от «Пилигрима». На следующий день нас подняли рано и приказали открывать люки, перебирать груз и готовить все для досмотра. В восемь часов на борт явились пятеро таможенных чиновников и начали осматривать содержимое трюмов и проверять коносаменты. Мексиканские таможенные правила весьма строги и требуют, чтобы весь груз был доставлен на берег, осмотрен и лишь после этого возвращен на судно. Однако нашему агенту удалось добиться поблажки для последних двух судов, и мы избежали всех затруднений, связанных с перевозкой груза на берег. Таможенники были одеты в костюмы, которые преобладают повсюду в Калифорнии: широкополая шляпа черного или темно-коричневого цвета с золоченой или узорчатой лентой; короткая шелковая куртка; рубашка с открытым воротом; богато расшитый жилет и брюки из вельветина или тонкого сукна с боковыми разрезами ниже колена или же короткие панталоны с белыми

чулками. Кроме того, здесь носят темно-коричневые башмаки из оленьей кожи: их шьют индейцы, и поэтому они тоже украшены орнаментом. Здесь не носят подтяжек, зато опоясываются шарфом, чаще всего красного цвета, качество которого зависит от средств владельца. Добавьте к этому неизменное пончо (иначе — серапе), вот вам и одеяние калифорнийца. По этому своеобразному плащу всегда можно судить о происхождении и достатке человека. У «gente de razón» [16] он непременно из черного или темно-синего сукна с богатой отделкой из бархата и прочими возможными украшениями. Противоположность такому наряду составляет одеяние индейца; люди среднего достатка носят нечто вроде большого квадратного куска материи с отверстием для головы посредине. Нередко такое пончо почти не отличается по убогости от одеяла индейца, но благодаря разноцветной вышивке выглядит весьма живописно. Среди мексиканцев нет трудового люда, ибо индейцы практически остаются рабами и делают всю тяжелую работу. Каждый богатый человек выглядит здесь грандом, а самый последний бродяга — разорившимся дворянином. Мне нередко встречались люди с благородной осанкой и изысканными манерами, разодетые в сукно и бархат, верхом на породистой лошади, накрытой расшитой попоной, но без единого реала в кармане и страдающие от голода.

Глава XIII
Торговые дела в Монтерее

На следующий день после того, как груз был зарегистрирован по установленной форме, у нас началась торговля. В кормовом кубрике еще раньше устроили особое помещение и сложили негромоздкие товары и образцы всех остальных. Меллус, молодой парень, работавший с нами от самого Бостона как простой матрос, был, так сказать, изъят из кубрика и поставлен помощником суперкарго. Он вполне соответствовал этому месту, так как раньше служил клерком в бостонской конторе. Последнее время его донимал ревматизм, и он не годился для тяжелой матросской работы, когда приходилось гнуть спину под проливным дождем и под палящим солнцем. Целую неделю или даже дней десять у нас царило необычайное оживление. Люди приезжали смотреть и покупать — мужчины, женщины и даже дети. Мы не вылезали из шлюпок, непрестанно перевозя товары и пассажиров, поскольку у здешних жителей нет своих лодок. Казалось, все жители почитали своим долгом принарядиться и ехать посмотреть новое судно даже ради того, чтобы приобрести пакетик булавок. Агент и его клерк занимались с покупателями, а мы тем временем работали на веслах или в трюме. «Пилигрим» привез генеральный груз, то есть все, что только можно вообразить: спиртные напитки всех сортов, пряности, изюм, черную патоку, скобяной товар, посуду (фаянсовую и оловянную), ножи, всевозможную одежду, сапоги и туфли от Линна, ситец и бумажную ткань Ловелла, крепы, шелка, а также шарфы, шали, ювелирные изделия, гребни и другие украшения для женщин, даже мебель, то есть буквально все — от китайских фонариков до английских колес к повозкам, коих у нас имелось двенадцать пар: на них даже были надеты железные шины.

Калифорнийцы — народ праздный и расточительный, и сами ничего не умеют делать. Страна изобилует виноградом, тем не менее они покупают плохое привозное вино, сделанное в Бостоне, и продают его у себя в розлив по реалу (двенадцать с половиной центов) за небольшой стакан. Выделанная на побережье шкура стоимостью два доллара нередко обменивается на какой-нибудь пустяк, стоящий в Бостоне каких-нибудь семьдесят пять центов. Они покупают обувь (вполне возможно, сшитую из тех же калифорнийских шкур и совершившую, таким образом, путешествие вокруг мыса Горн дважды) по три-четыре доллара, а «сапожки из тонкой кожи» — по пятнадцать долларов за пару. В

среднем товары продаются здесь в три раза дороже против бостонских цен. Отчасти это происходит из-за высоких таможенных пошлин, которые правительство по своей мудрости наложило на ввозимые товары с целью сохранить в стране серебро. Подобные пошлины и неимоверная стоимость столь дальних перевозок не позволяют коммерсантам, кроме тех, кто обладает крупным капиталом, заниматься этой торговлей. Почти две трети всех товаров, привезенных сюда за последние шесть лет вокруг мыса Горн, принадлежали фирме «Брайэнт, Стэджис и К°», собственностью которой было и наше судно.

Новая работа, внесшая такое разнообразие в нашу обыденную жизнь, нравилась нам, хотя и приходилось трудиться с рассвета до наступления темноты, а иногда до глубокой ночи.

Непрестанно занимаясь перевозкой пассажиров с товарами, мы получили хорошее представление о характере,; одежде и языке здешнего народа. Как одеваются мужчины, я уже описывал. Женщины носят платья из самых разных тканей — шелка, крепа, ситца и прочего; платья сшиты по европейской моде, но с короткими рукавами, оставляющими руки открытыми, и свободны в талии, корсетами никто не пользуется. Туфли — атласные или лайковые, шарфы и пояса — непременно яркого цвета. Почти на каждой женщине можно видеть ожерелье и серьги. Шляп здесь не носят, на всем побережье я видел только одну, да и та принадлежала жене обосновавшегося в Сан-Диего американского капитана, который приобрел это экзотическое сооружение из соломки и лент в качестве изысканного подарка своей невесте. Волосы калифорнийских женщин (без исключения черные или темно-каштановые) такой длины, что закрывают шею, иногда их носят распущенными или же заплетают в косы. Впрочем, замужние нередко укладывают волосы вокруг высокого гребня. Единственной защитой от солнца и других превратностей климата у женщин служит широкая мантилья, которую они набрасывают на голову во всех случаях, когда выходят из дома, что бывает чаще лишь в хорошую погоду. В комнатах или сидя перед домом они надевают небольшой шарф или платок с яркой вышивкой. Нередко голову обвязывают лентой с крестом, звездой или другим украшением. Цвет кожи у женщин самый разнообразный и зависит, равно как их платья и манеры, от того, являются ли они носительницами испанской крови, что одновременно определяет и их положение в обществе. Чистая испанская кровь (причем женщины чисто испанской крови никогда не выходят замуж за аборигенов) придает лицам смуглый оттенок, но иногда встречаются и молочно-белые лица, почти как у англичанок. Однако истинно испанских семейств в Калифорнии

немного, в основном они проживают в официальных резиденциях, и мужчины из подобных семейств обычно занимают соответствующие посты, а некоторые из них остаются тут на приобретенных землях. В высших слоях местного общества браки заключаются лишь в своей среде, а их члены составляют во всех отношениях замкнутую касту. Их отличают не только цвет кожи, платье и манеры, но также и речь, ибо, называя себя кастильцами, они весьма щепетильны в сохранении кастильского произношения; зато испанский язык низших слоев — это некий грубый диалект. Опускаясь по общественной лестнице, можно наблюдать, как постепенно меняются оттенки кожи, как она становится все более смуглой, пока не добираешься до обычного индейца, на котором ничего нет, кроме жалкого куска ткани, перехваченного в талии широкой полосой грубой кожи. Вообще, принадлежность к касте определяется по крови и проявляет себя столь ярко, что может быть определена с первого взгляда. Тем не менее даже несколько капель испанской крови, например у квартерона или октрона, достаточно для того, чтобы не опускаться до положения раба, и это дает право носить хоть и замаранный, но все же европейский костюм — сапоги, шляпу плащ, шпоры и кинжал; называть себя Español [17] и владеть, если повезет, хоть какой-нибудь собственностью.

Чрезмерная страсть к нарядам у местных женщин нередко губит их. Подарок, красивая мантилья или ожерелье, добудет вам расположение почти любой из них. И нет ничего необычного в том, когда женщина, живущая в доме всего лишь из двух комнат, да и то с земляным полом, одета в расшитое атласное платье, украшена высоким гребнем и позолоченным, если не золотым, ожерельем, не говоря уже про серьги. Если мужья одевают своих жен недостаточно хорошо, жены быстро приучаются к подаркам от других мужчин. У нас на бриге женщины проводили целые дни, разглядывая роскошные одежды и украшения, и нередко делали такие покупки, от которых бостонская швея или служанка лишились бы дара речи.

Помимо страсти к нарядам, в женщинах меня поразили изысканность речи и красота интонаций голоса, что, впрочем, присуще как женщинам, так и мужчинам. Любой бандитского вида малый в потрепанной шляпе, с одеялом вместо плаща и в грязном белье, казалось, говорит на самом изысканном испанском языке. Я испытывал наслаждение от самих звуков речи, еще не понимая смысла слов. В речи калифорнийцев сильно выражена креольская медлительность, хотя изредка она перемежается непривычной беглостью, когда говорящий перепрыгивает с одной согласной на другую до тех пор, пока не

остановится наконец на открытом гласном звуке, чтобы перевести дыхание. У женщин эта особенность развита значительно сильнее, чем у мужчин, отличающихся большей плавностью речи и достоинством в разговоре. Самый последний погонщик волов, прискакавший на лошади с запиской, выражается словно посол на королевской аудиенции. Временами мне казалось, что на этом народе лежит проклятие, лишившее его всего на свете, кроме гордости, изысканных манер и велеречивости.

Удивительным было и количество находящегося в обращении серебра. Во всю свою жизнь я никогда не видел такого обилия этого металла, как за одну неделю нашего пребывания в Монтерее. Дело в том, что в здешних краях нет ни кредитной системы, ни банков и никаких других способов вкладывать деньги, кроме как в скотоводство. Помимо серебра, единственное средство обращения составляют шкуры или, по выражению моряков, «калифорнийские банкноты». Все, что здесь покупается, оплачивается той или другой валютой. Шкуры привозят на волах или мулах уже высушенными и сложенными пополам, а деньги здесь завязывают в платок — так и носят по пятьдесят, сто долларов или полудолларов.

В колледже я не обучался испанскому языку и поэтому на Хуан-Фернандесе не знал по-испански ни слова. Однако, пока мы продолжали рейс, мне удалось позаимствовать в каюте грамматику и словарь, и благодаря прилежным занятиям, внимательно вслушиваясь в каждое услышанное слово, я вскоре настолько увеличил запас испанских фраз, что начал понемногу разговаривать. Поскольку за короткое время я узнал по-испански больше, чем кто-либо из команды (они, впрочем, совершенно не понимали этот язык), да еще изучал раньше латынь и французский, то заслужил репутацию великого лингвиста, и теперь меня стали посылать за провизией в город, а также поручали разносить письма. Часто случалось, что я не имел ни малейшего представления, куда и зачем меня отправили, как все это называется по-испански, но я никогда не сознавался в своем невежестве. Иногда можно было успеть сбегать в кубрик и заглянуть в словарь или же задать вопрос встреченному на берегу местному англичанину и таким образом узнать нужное слово. В крайнем же случае, прибегая к помощи жестов, латинских и французских слов, я все же умудрялся управиться с делом. Все это послужило для меня хорошей школой и, вне всякого сомнения, научило большему, чем я постиг бы за месяцы обучения в колледже. Кроме того, я получил возможность наблюдать обычаи, характеры и домашнюю жизнь калифорнийцев, не говоря уже о том, что разнообразие впечатлений скрасило монотонность

корабельной жизни.

Монтерей, по моим наблюдениям, самое приятное и цивилизованное место во всей Калифорнии. В самом центре города раскинулась площадь, окруженная с четырех сторон одноэтажными домами, а посредине расставлены полдюжины пушек, некоторые даже на колесах. Это пресидио, или форт, — принадлежность каждого городка. Вернее, город возникает вокруг форта, сооруженного правительством Мексики, а уже потом люди ищут возле него защиты. Здешнее пресидио совершенно открыто и не укреплено. В нем несколько офицеров с пространными титулами и около восьмидесяти солдат, но их плохо кормят, плохо одевают, платят нищенское жалованье, и никто не заботится об их дисциплине. Генерал-губернатор, или попросту генерал, тоже живет здесь, благодаря чему город является резиденцией местного правительства. Генерал назначается центральными властями Мексики и является верховным гражданским и военным начальником всей области. Кроме того, в каждом городке есть военный комендант, которому поручены все сношения с чужеземцами и экипажами иностранных кораблей, а два или три алькальда и коррехидора, избираемые обывателями, составляют гражданскую власть. Никакой системы правосудия и основанного на ней судопроизводства в Калифорнии нет. Мелкие вопросы городского самоуправления решаются алькальдами и коррехидорами, а все, относящееся к исполнению решений верховного правительства, все по военной части и иностранцам находится в ведении комендантов, действующих по указаниям генерал-губернатора. Этот последний лично разбирает важнейшие дела или выносит решения, полагаясь на присылаемые донесения, если происшествие случилось в отдаленном месте. Протестанты лишены здесь политических прав и не могут владеть собственностью, им даже запрещено оставаться на берегу долее нескольких недель, за исключением тех, кто служит на иностранных судах. По этой причине намеревающиеся переселиться сюда американцы и англичане становятся папистами, и среди них имеет хождение такая поговорка: «Совесть приходится оставлять по ту сторону Горна».

Возвратимся, однако, в Монтерей. Здешние дома, как и повсюду в Калифорнии, имеют только один этаж и сооружаются из adobes — больших глиняных кирпичей размером около фута на полтора при толщине в три-четыре дюйма, обожженных на солнце. Кирпичи скрепляют с помощью того же глиняного раствора, отчего стена приобретает грязно-серый оттенок. Полы строений в основном земляные, окна в них забраны решетками и лишены стекол, дверь ведет прямо в общую комнату и чаще

оставляется открытой настежь. Более состоятельные жители все же застекляют окна и настилают полы. Почти все дома в Монтерее выбелены снаружи, а люди побогаче кроют крыши красной черепицей. В самых простых домах всего две-три комнаты, в которых можно увидеть пару кроватей, несколько столов и стульев, зеркало, распятие и небольшую скверно намалеванную картину под стеклом, на которой изображены сотворение какого-нибудь чуда или мученичество святого. В домах не устраивают ни очага, ни дымохода, ибо здешний климат таков, что можно совсем не отапливаться, а пища приготовляется в кухоньке, отделенной от дома. Индейцы, как я уже говорил, исполняют всю тяжелую работу. В каждой состоятельной семье их двое или трое, и даже бедняки могут позволить себе держать хотя бы одного слугу, ведь индейцев надо только кормить и выдавать мужчинам лишь кусок грубой материи, а женщинам такое же грубое платье и ничего больше — ни башмаков, ни чулок.

В Монтерее проживают несколько англичан (англичанами, или Ingles, называют всех, кто говорит по-английски) и американцев, женившихся на калифорнийках и перешедших в римско-католическую веру. Все они сколотили значительное состояние, так как при большом трудолюбии, бережливости и смётке вскоре прибрали к рукам почти всю местную коммерцию. Обычно они содержат магазины, где торгуют в розницу скупленными на наших судах оптом товарами, которые в немалом количестве отправляют в глубь страны, взимая в виде платы шкуры, обмениваемые в свою очередь на товары на тех же судах. В каждом городе побережья есть иностранцы, занятые такой торговлей, но я могу припомнить лишь две или три лавчонки, принадлежащие местным жителям. Люди, естественно, с подозрением смотрят на чужеземцев, и им не разрешают поселяться здесь без перехода в католичество. Впрочем, женясь на калифорнийках и воспитывая своих детей в римской вере как природных мексиканцев, не обучая их ни слову по-английски, такие люди снимают с себя подозрения и недоверие, становятся известными, а иногда и влиятельными людьми. К примеру, главные алькальды в Монтерее и Санта-Барбаре от рождения чистокровные янки.

Мужчины в Монтерее, кажется, не слезают с седла. Лошадей здесь столько же, сколько собак и цыплят на Хуан-Фернандесе. Для них не строят конюшен, а позволяют бегать и пастись, где им заблагорассудится. Всех лошадей клеймят и надевают им на шею длинную кожаную веревку наподобие лассо, которую они всегда волочат за собой и при помощи которой их легко поймать. Обычно мужчины утром вылавливают какую-нибудь лошадь,

взнуздывают и седлают ее и ездят на ней в течение дня, отпуская к вечеру. А на следующее утро ловят уже другую. Во время дальних поездок они загоняют по нескольку лошадей, бросая одну и лишь перекладывая седло на другую, пока не добираются до места. Во всем свете, наверное, нет лучших наездников, чем мексиканцы. Уже в возрасте четырех-пяти лет мальчиков сажают на лошадь, хотя их ноги не доходят и до половины ее боков, так что можно сказать, что они вырастают в седле. Стремена здесь всегда закрыты спереди, чтобы не зацепиться во время езды по лесу, а седла большие и тяжелые с высокой передней лукой, вокруг которой обматывают лассо. Эти люди, кажется, не способны пройти пешком хотя бы до соседнего дома, и рядом с крыльцом каждого домика всегда привязано по нескольку лошадей. Желая показать свою удаль, они сначала стегают лошадь, затем, не касаясь стремян, прыгают на ходу в седло и, пришпорив ее, куда-то мчатся на всем скаку. Шпоры прямо-таки зверские орудия пытки с тупыми зубцами дюймовой длины, к тому же еще и ржавые, и поэтому лошадиные бока нередко сплошь покрыты кровоточащими ранами. Калифорнийцы любят демонстрировать свое искусство верховой езды во время скачек, травли быков с собаками и прочих увеселений, однако нам не приходилось бывать на берегу в праздники, и мы ничего этого не видели. Монтерей, кроме того, славится петушиными боями, азартными играми, фанданго [18] и другими подобного рода развлечениями и превеликим мошенничеством. Трапперы и охотники, порой забредающие сюда из-за Скалистых гор со своими ценными шкурами и мехами, часто предаются местным увеселениям и наслаждаются ими до тех пор, пока не прокутят все свои деньги и имущество, после чего исчезают из города обобранные до нитки.

Только характер самих жителей мешает Монтерею сделаться большим городом. Плодородие почвы здесь таково, что о лучшем не стоит и мечтать, климат не уступит никакому другому в мире, воды сколько угодно, ландшафт отличается неописуемой красотой. К тому же и гавань отменно хороша и открыта всего лишь одному неблагоприятному ветру, а именно с севера. И хотя грунт на якорной стоянке здесь не из лучших, тем не менее я слышал лишь об одном судне, которое было выброшено на берег. Это был мексиканский бриг, сорванный с якорей за несколько месяцев до нашего прихода. Он потерпел крушение, и вся команда, за исключением одного человека, погибла. Впрочем, это произошло из-за небрежения или невежества капитана, который полностью вытравил весь канат левого якоря, прежде чем отдать правый. «Лагода» из Бостона выдержала тот же шторм вполне

благополучно, даже не спуская брам-стеньг, ее якоря даже не поползли. Кроме нас, в порту было только одно судно — маленькая «Лориотта». Я часто посещал ее и хорошо узнал ее команду с Сандвичевых островов. Один из них говорил немного по-английски, и от него я услышал многое об их жизни. Сами островитяне прекрасно сложены и очень энергичны. У них черные глаза и умные лица с темно-оливковым и даже медноватым оттенком. Волосы тоже черные, но не вьются, как у негров. Они говорят без умолку, и в кубрике у них всегда стоит невообразимый гам. Язык этих людей до крайности гортанный и по первому впечатлению неблагозвучен, однако если привыкнуть к нему, то уже не режет слух. Говорят, что он обладает и немалой выразительностью. Островитяне часто прибегают к помощи жестов и весьма возбудимы, отчего и разговаривают самыми громкими голосами. В воде они чувствуют себя как рыбы и очень хороши в шлюпочном деле. Именно благодаря этому их так много на Калифорнийском побережье, где почти во всех портах приходится преодолевать прибой. Они также весьма проворны и сноровисты на мачтах и в теплых водах ничем не уступят самым лучшим матросам-европейцам. Но те, кто повидал их в деле у мыса Горн и в высоких широтах, говорят, что при холодной погоде от них мало толку. Одеваются они так же, как и наши моряки. Кроме этих островитян, на «Лориотте» было два англичанина, отправлявших обязанности боцманов и следивших за такелажем. Один из них навсегда сохранился в моей памяти как безупречный образец английского моряка. Он начал плавать чуть ли не с детства и прослужил, как принято у англичан, семь лет учеником. Ко времени нашего знакомства ему было года двадцать четыре или двадцать пять. Он был высокого роста, но это бросалось в глаза лишь тогда, когда он стоял рядом с кем-то другим, так как благодаря широким плечам и объемистой грудной клетке он казался только немногим выше среднего роста. Его мускулы заставляли вспомнить о Геркулесе, а его кулак — это был «кулак матроса, где каждый палец что свайка, а каждый волос — каболка троса». И при всем этом его улыбка была из приятнейших, какие мне только доводилось видеть. На его лице, покрытом красивым коричневым загаром, сверкали ослепительные зубы, а черные как вороново крыло, волнистые волосы легко и свободно спадали ему на плечи. Что касается глаз, то он мог бы продать их любой герцогине на вес бриллиантов благодаря особенному сиянию, которое они излучали при каждом повороте головы и малейшем изменении силы света, всякий раз получая новый оттенок, сохраняя, впрочем, свою черноту. В отлакированной дочерна парусиновой шляпе, сдвинутой на

самый затылок, из-под которой выбивались длинные локоны и падали ему почти на глаза, в белых полотняных брюках и такой же рубашке, в голубой куртке и с черным платком, небрежно повязанным вокруг шеи, он являл собой прекрасный образец мужской красоты. На его необъятной груди красовалась татуировка «Минуты прощания» — готовый к отплытию корабль, шлюпка у берега, и рядом матрос, прощающийся со своей девушкой. Ниже были его инициалы и еще две буквы, значение которых он, вероятно, знал лучше меня. Все это было великолепно исполнено профессиональным татуировщиком в Гавре. Кроме того, на одной руке красовалось изображение распятия, а на другой — «нечистого якоря» [19].

Он очень любил читать и перебрал почти все книги, водившиеся у нас в кубрике, так как менял их при каждой встрече с нами. Знал этот человек очень много, и его капитан говорил, что это идеальный моряк, а цена ему и в хлад, и в зной — никак не меньше собственного его веса золотом. Должно быть, он обладал недюжинной силой, а по остроте глаза мог бы поспорить с грифом. Кое-кому может показаться странным столь подробное описание неизвестного, забытого всеми матроса, тем не менее оно перед вами, даже если и лишено для вас всякого интереса. Нам случается встречать разных людей при вполне обыденных обстоятельствах, однако по какой-то причине некоторые из них навсегда остаются в нашей памяти. Его звали Билл Джексон; из числа всех моих случайных знакомых я никому не пожал бы руку с таким удовольствием, как ему. Кто бы вы ни были, если вам придется оказаться вместе с ним, можете не сомневаться, что вам посчастливилось встретить красивого, честного парня и превосходного соплавателя.

Мы все еще были в Монтерее, когда снова наступило воскресенье, однако, как и в прошлый раз, нам не позволили отдохнуть. С берега валом валили разнаряженные посетители, и весь день нам пришлось работать на веслах или подавать из трюма товары, так что мы едва могли найти время, чтобы поесть. Наш бывший второй помощник, решившийся любым способом побывать на берегу, облачился в парадный сюртук, черную шляпу и даже начистил свои башмаки, после чего отправился на ют просить разрешения. Он не мог бы придумать ничего более опрометчивого, ибо прекрасно знал, что все равно ничего не добьется. К тому же, согласно старому заведенному на судах обычаю, даже в тех случаях, когда матросам известно, что их не задержат, они отправляются на ют не иначе, как в рабочей одежде, будто ни на что и не рассчитывают, а моются и одеваются уже после того, как получено разрешение. Но бедняга всегда

хватался за горячее, и если уж за какое-нибудь дело можно было взяться не с того конца, будьте уверены, он не упускал такой возможности. Мы смотрели, как он идет на ют, заранее зная, что ждет его там. Капитан расхаживал по палубе, дымя своей утренней сигарой, и Фостер, остановившись у трапа, стал ждать, пока его заметят. Капитан сделал два или три круга, потом внезапно подошел к нему вплотную, смерил взглядом с головы до ног и, подняв указательный палец, что-то коротко произнес, но слишком тихо, чтобы мы могли это расслышать. На Фостера же это произвело магическое действие. Он возвратился на бак, нырнул в кубрик, и уже через минуту мы увидели его в рабочей одежде и за работой. Мы так и не могли от него добиться, что сказал капитан, хотя это происшествие вызвало в нем поразительную перемену.

Глава XIV
Недовольство

По прошествии еще нескольких дней торговля пошла на убыль, мы снялись с якоря, поставили марсели, подняли на гафеле «звезды и полосы», выстрелили из пушки, получив на это ответ из пресидио, и оставили городок за кормой, чтобы идти на юг вдоль побережья снова в Санта-Барбару. Бриг бежал в бакштаг по восемь, а то и по девять узлов, и мы надеялись покрыть за двадцать четыре часа то самое расстояние, которое во время рейса на север заняло у нас почти три недели. Ветер дул с такой силой, что, окажись он встречным, вполне мог бы сойти за шторм. Мы буквально пролетели мимо мыса Консепсьон, а когда подошли к островам Санта-Барбары, несколько поутихло, но все же мы отдали якорь на нашем прежнем месте менее чем через тридцать часов после выхода из Монтерея.

Здесь все оставалось почти без изменений — просторная, совершенно пустынная бухта, гремящий прибой, обрушивающийся на отлогий берег, белая миссия, темный городок и высокие безлесные горы. Мы опять приготовились к зюйд-остам: якорный канат с дуплинем, якорь с буйрепом, на парусах взяты рифы. Нам пришлось оставаться здесь около двух недель, занимаясь разгрузкой товаров и временами, когда прибой был не слишком высок, погрузкой шкур. Но дел здесь было вполовину меньше по сравнению с Монтереем. Что касается нашего брата матроса, то для нас сам город мог бы с таким же успехом располагаться в центре Кордильер. Бриг стоял в трех милях от берега, да еще добрая миля отделяла город от моря, и поэтому мы почти не бывали там. Время от времени мы доставляли на берег кое-какие товары, которые индейцы грузили на большие неуклюжие повозки на грубо сработанных из цельного куска дерева небольших колесах, запряженные волами, причем дуга ярма почему-то лежала сверху, на бычьих шеях, вместо того чтобы быть прикрепленной снизу. А привозимые этими же индейцами шкуры мы переправляли на судно «калифорнийским способом». К этому мы уже привыкли и немного осатанели, ибо подобное занятие даже у самых выносливых рано или поздно вызывает ожесточение.

Шкуры привозят уже высушенными; чтобы они не сморщивались, сразу после снятия по краям в них прорезают отверстия, затем растягивают на кольях и сушат на солнце. Потом их сгибают пополам обычно вдоль, шерстью внутрь, отвозят на

берег на мулах или в повозках и складывают в кучи выше уровня полной воды. Тут наступает наш черед — мы громоздим их себе на головы и тащим по одной, а то и по две, если они небольшие, бредя по воде к шлюпке, которая стоит на верпе за полосой прибоя. Все мы обзавелись плотными шотландскими шапочками для предохранения головы, ибо очень быстро убедились, что «работа головой» — единственный пригодный способ погрузки в Калифорнии. И не только из-за высокой волны, чтобы не замочить шкуру, но также и потому, что шкуры эти по тяжести и твердости не уступают доскам, и способ этот оказался приемлемым для нас. Некоторые пробовали приспособиться по-другому, утверждая, будто переноска груза на голове — это работа для негров, но в конце концов все равно возвращались к старому способу. Самое сложное в этом деле — положить шкуру на голову. Сначала ее надо поднять с земли, а поскольку она весит немало и по ширине достигает размаха рук, ее легко валит ветром, и нам постоянно приходилось воевать со своей ношей. Я нередко смеялся над своими товарищами, а те — надо мной, когда, бывало, пытаясь взгромоздить на голову большую шкуру, мы не удерживались на ногах и валились на песок. К тому же капитан утяжелил работу, ссылаясь на то обстоятельство, что, дескать, по-калифорнийски полагается таскать сразу по две штуки, и мы, не желая отставать от других, делали так в течение нескольких месяцев. Однако же, когда нам довелось встретиться с моряками других «шкурных посудин», мы узнали, что по две никто не носит, и «сбросили» лишнее, чем несколько облегчили себе жизнь.

Когда наши головы попривыкли к тяжестям и мы научились истинно по-калифорнийски «подбрасывать» шкуры, нам стало по силам перетаскивать в шлюпку по две-три сотни за короткое время. Но это «мокрая» работа, а если берег к тому же и каменистый, то ногам приходится совсем плохо, ведь мы, естественно, работали босиком, так как никакая обувь не выдерживает соленой воды. А после погрузки надо было грести еще целые три мили, что занимало около двух часов.

Теперь мы вовсю занимались береговыми делами, которые совсем не похожи на работу во время плавания. День начинается с того, что команду поднимают на рассвете, а чаще — если светлое время суток непродолжительно — еще затемно, едва забрезжит рассвет. Кок разводит огонь на камбузе; стюард суетится в кают-компании: матросы вооружают баковую помпу и скатывают палубу. Старший помощник всегда наверху, но ни во что не вмешивается, так как исполнение всех обязанностей в это время лежит на втором помощнике, которому приходится, закатав брюки, шлепать босиком по палубе вместе со всей

командой. Скатка водой, прошвабривание, пролопачивание и прочие работы на палубе продолжаются, а иногда даже специально затягиваются до восьми часов, когда на юте и баке начинают завтракать. После завтрака, который длится с полчаса, спускают шлюпки и швартуют их за кормой или ставят на выстрел, а команду приставляют к делу. Работа самая разнообразная, и ее выбирают по обстоятельствам. Почти всегда приходится ходить на шлюпках, и, если надо переправить на берег громоздкие товары или привезти шкуры, тогда посылают в баркасе всю команду под началом помощника. Кроме того, всегда много дел в трюме — поднимать товары наверх, перемещать груз, освобождать место для шкур или же ровнять крен судна. В дополнение ко всему продолжается обычная работа с такелажем. Здесь многое можно сделать только во время стоянки, не говоря уже о том, что все снасти должны быть обтянуты и содержаться в надлежащем порядке. Главное различие между работами в порту и в море относится к распределению времени. Вместо разделения матросов на вахту и подвахту, всех их заставляют работать вместе, исключая обеденное время, и так продолжается с рассвета до захода солнца. Ночью ставят якорную вахту — одновременно двух матросов, и так поочередно из числа всей команды. На обед полагается час, а после захода солнца все шлюпки поднимают на борт и раздают ужин. В восемь гасятся все огни, за исключением подсветки нактоуза, и заступает якорная вахта. Таким образом, на стоянках у команды есть немного досуга по вечерам (вахта занимает только два часа), зато днем матросы совершенно лишены свободного времени, и поэтому чтение, починку одежды и прочее приходится откладывать до воскресенья, которое обыкновенно оставляется свободным. Некоторые набожные капитаны отводят команде вторую половину субботы на стирку и починку одежды, чтобы не занимать этим воскресенье. Подобный распорядок, несомненно, хорош, и недаром моряки предпочитают суда с такими капитанами. А мы были довольны уже и тем, когда имели для себя воскресенье, ибо если в этот день привозили шкуры (а это случалось не так уж редко), то надо было переправлять их на судно, что занимало обычно половину дня. Кроме того, теперь мы питались свежим мясом и съедали за неделю бычка, которого почти всегда доставляли по воскресеньям, и надо было отправляться на берег, чтобы забить его там, разделать и доставить на борт. Да и в обычные дни наша работа нередко затягивалась из-за того, что шкуры привозили поздно, и поэтому иногда нам приходилось таскать их через прибой уже при свете звезд, а потом еще грести к судну, укладывать в трюм, и все это без ужина.

Однако о подобных неприятностях и заботах не стоило бы даже упоминать — в общем они воспринимались как обычные тяготы морской жизни, которые мужчина переносит без жалоб и выражения неудовольствия, — если бы не та неопределенность, чтобы не сказать хуже, относительно длительности нашего плавания. На этом маленьком судне с немногочисленной командой, находящемся у полудикого побережья на самом краю земли, нам предстояло находиться неопределенно долго, во всяком случае не меньше двух или трех лет. При выходе из Бостона мы считали, что плавание продлится восемнадцать месяцев, от силы два года, однако, оказавшись в Калифорнии и лучше узнав, как обстоят дела, выходило, что из-за малого поступления шкур, количество которых год от года сокращалось, нам потребуется не менее двенадцати месяцев, чтобы заполнить свои трюмы. К тому же мы должны были обеспечить грузом большое судно, принадлежащее нашей фирме (то есть действовать в качестве тендера) и ожидавшееся в скором времени на побережье. Слухи об этом судне просочились в команду от капитана и старшего помощника, однако до самого прибытия на побережье мы считали их «баснями», но они подтвердились — это явствовало из писем, доставленных нами же для агента. Другое судно, «Калифорния», плавало здесь уже около двух лет, собирая груз, и сейчас находилось в Сан-Диего, откуда и должно было выйти через несколько недель домой. Нам надлежало собрать все шкуры, какие только было возможно, и доставить их в Сан-Диего; там они и должны были дожидаться другого судна, которое вмещало до сорока тысяч штук, и на нем отправиться в Бостон; только после этого мы могли собирать собственный груз. Перспектива в самом деле была мрачная. «Лагода», судно меньшее по сравнению с «Калифорнией», набирала свои тридцать одну или тридцать две тысячи два года, а нам предстояло заготовить сорок тысяч, не считая собственного груза, то есть еще двенадцать — пятнадцать тысяч. К тому же поползли слухи, что шкур становится все меньше и меньше. Новое судно, ставшее для нас призраком пострашнее «Летучего Голландца», уже обрело реальность, стало известно даже его название — по слухам, это было судно «Элерт». Когда мы вышли из Бостона, там как раз ожидали его прихода в ближайшие месяцы. Теперь уже у нас не было никаких сомнений, и дела наши, судя по всему, были совсем плохи. Поговаривали о трех-, даже о четырехлетнем плавании. Старые матросы утверждали, что уже не увидят Бостона и сложат свои кости на Калифорнийском берегу. В довершение всего у нас было недостаточно запасов для столь длительного плавания, а одежда и все необходимое стоили матросу здесь в три-четыре

раза дороже, чем в Бостоне. Подобные обстоятельства, тяжелые для всей команды, были особенно плохи для меня, поскольку я не намеревался быть всю жизнь моряком, а хотел провести на судне лишь восемнадцать месяцев и уж, во всяком случае, не более двух лет. Три или четыре года сделают из меня законченного морского волка, как по воззрениям, так и по привычкам, душой и телом, как говорится, nolens volens — хочешь — не хочешь, а все мои сверстники в колледже настолько опередят меня, что о дипломе и профессии мне нечего будет и помышлять. Поэтому я уже приготовился к тому, что вопреки желаниям мне, вероятно, все же придется стать моряком, и тогда пределом моих стремлений будет место капитана на торговом судне.

Не говоря уже о длительности плавания и суровой жизни на лоне природы, нужно заметить, что мы были далеко от дома, одни на почти безлюдном берегу, в стране, где не правят ни закон, ни Евангелие, где матросы находятся в полной зависимости от капитана, где нельзя обратиться с жалобой даже к американскому консулу. Мы потеряли всякий интерес к нашему плаванию, а груз, который собирали для других, сделался нам совершенно безразличен. Мы основательно пообтрепались и латали свою одежду непрестанно и чувствовали себя так, словно наша судьба окончательно решена и нет никакой надежды изменить ее.

В довершение всего и, может быть, как следствие подобного состояния дел на судне назревали неприятности. Наш помощник (так, par excellence, называют старшего помощника) был достойный человек — я не встречал никого честнее и добрее его, — но слишком мягкосердечен для того, чтобы исполнять обязанности помощника на торговом судне. У него не поворачивался язык, чтобы обозвать матроса сукиным сыном, он просто не мог съездить подчиненного нагелем. Может быть, ему не хватало сил и энергии для такого длительного рейса и такого, как наш капитан, начальника. Капитан же, напротив, был слишком волевым и деятельным человеком. Как говорят матросы, «в нем не было ни одной ленивой кости». Он был крепок, как сталь, и гибок, как китовый ус. Такой человек «проводит самую верхнюю черту» и заставляет всех остальных тянуться к ней. За все время я ни разу не видел капитана Томпсона сидящим без дела. Он был всегда за работой и отличался строгостью по части дисциплины, чего требовал и от своих помощников. И раз уж наш старший помощник не оказался в его глазах «погонялой» команды, капитан становился все подозрительнее, придирчивее и в конце концов стал вмешиваться во все и подтягивать поводья. А поскольку при стычках между начальством матросы становятся на

сторону того, кто лучше с ними обращается, подозрения капитана обратились уже против всей команды. Ему казалось, что дела идут не так, как надо, что все делается без рвения, и в своих попытках исправить положение строгостью только усугублял его. Нам во всех отношениях не повезло — капитан, помощники и команда совершенно не подходили друг к другу, и поэтому любая неприятность разила в обе стороны, как обоюдоострая шпага. Длительность плавания, вызывавшая наше недовольство, заставляла капитана только строже поддерживать порядок и жесткую дисциплину. Изолированность же этой страны, где мы чувствовали себя совершенно беззащитными, лишь вынуждала его думать, что ему все дозволено. Строгость порождала недовольство, недовольство порождало строгость. Опять же, плохое обращение с командой и ее недовольство не являются «linimenta laborum» [20], и я не раз слышал, как матросы говорили, что не так страшно долгое плавание и его тяготы, как бесчеловечное обращение, и было бы хорошо, если бы хоть немного думали о том, как облегчить нашу участь. Мы считали, что наше положение обязывало начальников давать нам хоть какую-нибудь передышку и немного ослабить давившее нас ярмо. Однако в жизнь проводилась совсем иная политика. На стоянках нас целыми днями держали за работой, и если учитывать еще ночные вахты, то мы немедленно засыпали, едва добирались до коек. Нам не оставалось времени не только для чтения, но и для более важных дел, например для стирки и ремонта одежды. Когда же бриг выходил в море, нас не делили на две вахты, как это заведено на всех судах, плавающих вдоль побережья, а заставляли и в хлад, и в зной работать на палубе. Нас то и дело вызывали наверх, чтобы «полюбоваться дождем». Час за часом мы простаивали под пронизывающим ливнем, да еще на таком расстоянии друг от друга, чтобы нельзя было разговаривать, и расплетали старые снасти, щипали пеньку или же изготовляли сезни и реванты. То же самое было и в порту, даже когда мы стояли на двух якорях и на палубе вполне можно было обойтись одним только вахтенным матросом. Все это и называется у матросов «затемнением» команды и «скоблением старых железок».

В Санта-Барбаре нас снова настиг зюйд-ост. Он начался, как и в первый раз, ночью. С юга поползли огромные черные тучи, которые заслонили горы и, казалось, легли на крыши домов. Мы поставили паруса, снялись с якоря и четверо суток при непрерывном дожде, сильном волнении и ветре лавировали в открытом море под зарифленными парусами. Не удивительно, говорили матросы, что здесь в Калифорнии сухо во все остальные

времена года — только за эти четыре дня вылилось такое количество воды, какого хватит на все лето. К исходу четвертых суток, после того как дождь на несколько часов усилился до ливня, несколько прояснилось, и мы увидели, что нас уволокло почти на тридцать миль от якорной стоянки. Из-за несильного, но противного ветра мы возвратились только на шестой день и, найдя свой якорь, стали готовиться к рейсу на юг вдоль побережья. Мы рассчитывали идти прямо в Сан-Диего, чтобы встретиться там с «Калифорнией» до ее отплытия в Бостон; однако оказалось, что нам предстоит зайти в промежуточный порт Сан-Педро, а поскольку там следовало простоять неделю или две, то мы потеряли возможность застать «Калифорнию», которая уходила через несколько дней. Перед самым выходом из Санта-Барбары капитан взял на борт приземистого рыжеволосого человека весьма вульгарной наружности, имевшего лишь один, да и то косой глаз. Он был представлен нам как мистер Рассел, наш новый помощник. Радоваться тут было нечему. Мы и так потеряли в море одного из лучших матросов, другой был сделан клерком, а капитан вместо того, чтобы нанять еще одну не лишнюю пару рабочих рук, взял еще одного надсмотрщика, который будет только следить за всеми и подгонять нас. Теперь на бриге оказалось четыре командира и только шесть человек в кубрике, так что судно заметно осело на корму, и, естественно, нам от этого было мало удовольствия.

Покинув Санта-Барбару, «Пилигрим» шел вдоль берега, который оставался ровным или умеренно пересеченным с преобладанием безлесных песков, пока наконец мы не стали на якорь за высоким песчаным мысом в трех милях от берега. Все это весьма напоминало якорную стоянку на Больших Ньюфаундлендских банках, когда судно идет в Сент-Джонс, так как низкий берег казался дальше, чем был на самом деле, и матросы говорили, что мы вполне могли бы оставаться в Санта-Барбаре, а за шкурами можно было послать и баркас. Земля здесь оказалась глинистой, и, насколько достигал глаз, нам не было видно ни дерева, ни даже куста, равно как и ни малейших признаков поселения. Трудно было представить, зачем нас занесло сюда. Мы сразу произвели все приготовления на случай зюйд-оста, и к этому имелось достаточно причин, потому что стоянка оказалась открытой для всех ветров, кроме северных, которые нагоняют волну, заливающую берег на целую лигу. Как только на борту все было приведено в должный порядок, спустили шлюпку, и мы взялись за весла, а новый помощник, бывавший уже в этих местах, сел за руль. Стояла малая вода. Уже на расстоянии одной восьмой мили от берега обнажились камни,

покрытые водорослями, и мы, выйдя из шлюпки, осторожно ступая босыми ногами, добрались до обычного места высадки. Почва на берегу оказалась глинистой и вязкой, и на ней, кроме стеблей дикой горчицы, не пробивалось ни единой травки. Перед нами футов на тридцать или сорок возвышался небольшой холм, который из-за малой высоты был совсем незаметен с брига. Мы увидели, что с его вершины к нам спускаются трое, одетые то ли как моряки, то ли как калифорнийцы. На одном были штаны некрашеной кожи и красная байковая рубашка. Когда они приблизились, оказалось что это англичане — матросы с небольшого мексиканского брига, выброшенного на берег зюйд-остом. Теперь они жили в маленьком домике за холмом. Перевалив вместе с ними через холм, мы увидели низкое строение, в котором была только одна жилая комната с очагом. Все остальное помещение было запущено и использовалось для хранения шкур и товаров. Дом этот поставили торговцы из Пуэбло (городка в тридцати милях от берега, которому здешний берег служил портом), а этих троих оставили сторожами на складе. Они рассказали, что живут здесь почти год и большую часть времени ничем не заняты, а питаются сухарями, говядиной и калифорнийскими бобами. Самым близким отсюда жильем оказалась скотоводческая ферма, или, как здесь говорят, ранчо; она была в трех милях; один из англичан по просьбе нашего помощника отправился туда, чтобы пригнать для агента лошадь, на которой тот мог бы поехать в Пуэбло. От одного из обитателей домика, очень смышленого парня, я мигом узнал многое о здешнем крае, торговле и делах в южных портах. Он сказал, что Сан-Диего лежит на восемьдесят миль южнее Сан-Педро, что «Калифорния» ушла в Бостон, а «Лагода» стоит под погрузкой и пойдет туда же. Вместе с ней грузится «Аякучо», который должен выйти из Кальяо так же, как и «Лориотта», которая пришла туда из Монтерея, где мы видели ее в последний раз. Сан-Диего, по его рассказу, — уютное местечко со слаборазвитой торговлей, но зато это лучшая гавань на всем побережье, защищенная со всех сторон и тихая, как утиный пруд. Там находятся склады всех судов: каждому принадлежит большой дощатый сарай, где хранятся шкуры, собираемые во время рейсов по побережью. Когда шкур накапливается достаточно для полного груза, несколько недель уходит на то, чтобы обкурить судно, взять на борт дрова и воду и вообще подготовиться к обратному плаванию. Сейчас на «Лагоде» как раз этим и занимались. «Когда же, наконец, придет наш черед, — думалось мне, — через год, два?»

Я был поражен, когда узнал, что это пустынное место поставляет больше шкур, чем любой другой порт побережья; дело

в том, что на расстоянии тридцати миль от побережья лежит плодородная долина, изобилующая стадами. В центре долины расположен Пуэбло-де-лос-Анхелес [21], самый крупный в Калифорнии город, и несколько богатых миссий. Сан-Педро служит для всех них единственным морским портом.

Договорившись относительно лошади для нашего агента, мы вернулись на шлюпку по скользким зеленым камням и погребли обратно к бригу, который стоял так далеко, что мы едва различали его в наступающей темноте. По возвращении мы тут же получили ужин и, раскурив свои сигары и трубки, стали, как водится, рассказывать в кубрике об увиденном и услышанном на берегу. Все пришли к общему мнению, что это самое худшее из всех мест, которые мы посетили, особенно по части погрузки шкур и также, по всей видимости, и в отношении зюйд-остов. Немного поспорив, придется ли нам втаскивать наши товары на холм или нет, мы посудачили, увидим ли «Лагоду» или нет, поговорили о Сан-Диего и еще о многом другом.

Утром агент был доставлен на берег и поехал в Пуэбло и соседние миссии. Через несколько дней, как следствие его рвения, на равнине показались большие повозки и караван мулов со шкурами. Мы же загрузили баркас всяческими товарами и отправились на берег. Перекатив все это через камни, мы остановились, дожидаясь, пока повозки спустятся с холма и возьмут наш груз. Однако капитан решил по-другому и велел нам тащить все наверх, поскольку, как он выразился, «так принято в Калифорнии». И вот то, что не пришлось бы по вкусу даже волам, было предоставлено нашим рукам и спинам. Холм, хотя и невысокий, был достаточно крут, а глинистая и мокрая от недавних дождей земля была плохой опорой для наших ног. Несмотря на это, нам все-таки удалось вкатывать тяжелые бочки наверх, подпирая их своими плечами. Ноги при этом то и дело скользили, и каждый раз бочка грозила обрушиться на наши головы. Однако самые страшные мучения доставили нам огромные ящики с сахаром. Под них надо было подсовывать весла, потом поднимать на плечи и медленно карабкаться на холм со скоростью похоронной процессии. Часа через два изнурительной работы мы таки подняли все на вершину, где нас уже ждали доверху набитые шкурами повозки. Теперь нам предстояло сбросить с них шкуры и загрузить товаром.

После того как повозки были нагружены, индейцы поднялись с земли и, встав по двое у каждой пары волов, стали погонять их длинными палками, заостренными на конце. В Калифорнии так принято — двое индейцев на пару волов. Нам же предстояло спускать шкуры с холма, и мы, перегнав шлюпку к тому месту,

где холм был круче, начали сбрасывать их вниз по склону. Многие шкуры застревали по пути, и нам приходилось лезть вниз и снова толкать их, так что мы покрылись с ног до головы пылью и разодрали одежду. Когда все шкуры были наконец сброшены, оставалось переправить их в шлюпку, что мы и делали обычным способом — громоздили на голову и носили, ступая по камням. Вода и камни могут за один день привести в негодность пару башмаков, поэтому из-за дороговизны обуви мы предпочитали работать босиком. На бриг мы возвратились только к вечеру, измученные как никогда со времени выхода из Бостона. Вот так мы трудились несколько дней, пока не выгрузили на берег сорок или пятьдесят тонн товара, взяв при этом в трюм около двух тысяч шкур. Торговля пошла на убыль, и вторую половину недели мы работали на судне — с грузом или с такелажем. В четверг от норда ударил жесточайший шквал, но, поскольку он был со стороны берега, мы отдали второй якорь и стали держаться. Ночью нас подняли спускать бом-брам-реи. Было темно, как в мешке, и судно билось на якорях. Я полез на фок-, а Стимсон на грот-мачту, и мы быстро опустили реи «в лучшем бристольском виде». Теперь, когда мы привыкли работать наверху, на нашу долю, как самых младших, приходилось все, что было выше салингов.

Глава XV
Экзекуция

Уже несколько дней капитан был явно не в духе. Ему казалось, что все делается не так и слишком медленно. Он обругал кока и пригрозил выпороть его, если тот будет разбрасывать дрова по палубе, а со старшим помощником повздорил из-за того, как лучше основывать так называемые «испанские тали»; тот настаивал, что знает, как это делается, — ведь учил его человек, который был настоящим моряком! Это задело капитана за живое, и они стали чуть ли не на ножах. Но главное его неудовольствие обратилось против рослого тяжеловесного парня из средних штатов по имени Сэм. Этот последний говорил запинаясь и был довольно медлителен. Матрос он был посредственный, хотя и старался в меру своих сил. Капитан невзлюбил его, считал лентяем и придирался ко всему, что бы тот ни делал, а раз уж, как говорят моряки, «пса обозвали щенком, тому впору кидаться за борт». Когда Сэм, работая на грот-рее, уронил свайку, он по-настоящему «затемнил» его. В пятницу капитан не съезжал на берег, и все шло со скрипом и ко всеобщему неудовольствию. «Чем больше погоняешь человека, тем меньше он делает» — эта истина была для нас столь же очевидна, как и для всех прочих смертных. В тот день мы работали допоздна, а в субботу нас подняли ни свет ни заря. Около десяти часов капитан приказал нашему новому помощнику Расселу, которого мы все дружно невзлюбили, спустить для него капитанскую шлюпку, именуемую также гичкой. Швед Джон сидел в шлюпке, покачивавшейся у борта, а мистер Рассел и я стояли у грот-люка, дожидаясь капитана, который был в трюме, где работали матросы. Вдруг мы услышали громкий голос капитана, яростно оравшего на кого-то, а потом раздались звуки ударов. Я подбежал к борту и позвал Джона. Мы вместе наклонились над люком, и, хотя ничего не было видно, по голосу капитана мы заключили, что нападает именно он:

— Я покажу тебе твое место! Я тебе покажу его! Будешь еще распускать свой язык?

Вместо ответа послышался шум борьбы, кто-то сопротивлялся капитану.

— Можешь не дергаться, вот ты у меня где, — прокричал капитан. — Будешь еще распускать свой язык, я тебя спрашиваю?

— Я ничего не сказал вам, сэр, — ответил Сэм, потому что это был его голос, хотя и несколько приглушенный.

— Ты будешь еще дерзить мне? Отвечай!

— Но я не дерзил вам, сэр.

— Отвечай, или я распластаю тебя орлом и выдеру, черт побери!

— Я не черный раб, — возразил Сэм.

— Так я сделаю из тебя раба!

С этими словами капитан выскочил на палубу, сбросил с себя сюртук и, закатав рукава рубашки, крикнул старшему помощнику:

— Мистер Амерзин, взять этого человека и распластать орлом! Я вам всем покажу, кто здесь командует!

Матросы и помощники поднялись вслед за капитаном, но старший лишь после повторных приказов взял Сэма, впрочем совершенно не сопротивлявшегося, и отвел к трапу.

— За что вы хотите высечь этого человека, сэр? — спросил у капитана швед Джон.

Услышав такой вопрос, капитан хотел было броситься на Джона, но, зная его увертливость и решительный характер, велел стюарду принести наручники и, подозвав Рассела, подступил вместе с ним к Джону.

— Не трогайте меня! — крикнул Джон. — Я готов надеть наручники добровольно. Не надо силой.

Он протянул руки, и капитан защелкнул железки, после чего отослал матроса на шканцы. Сэм к этому времени был уже, как говорится, «прихвачен», то есть поставлен лицом к вантам и привязан к ним запястьями. Куртка с него была сорвана, спина обнажена. Капитан встал на срезе юта, то есть чуть выше матроса, в нескольких футах позади него, чтобы можно было пошире размахнуться. В руках он держал толстый конец. Вокруг него стояли помощники, матросы сгрудились на шкафуте. При виде всех этих приготовлений я ощутил приступ тошноты и едва не потерял сознание, несмотря на бушевавшие во мне гнев и возмущение. Человеческое существо, созданное по образу и подобию бога, привязывают и секут как животное! Того самого человека, с которым я жил вместе много месяцев, разделял хлеб, стоял вахту, которого узнал так хорошо! Но если даже у матросов и промелькнула мысль о сопротивлении, то что можно было сделать? Время было упущено: двое накрепко связаны, и, кроме меня и Стимсона, осталось лишь еще двое да мальчик-юнга десяти — двенадцати лет. К тому же матросы знали, что ни я, ни Стимсон не присоединимся к бунту. На другой стороне с капитаном было трое помощников, стюард, агент, клерк и оружие в каюте. Но если даже не говорить о перевесе сил, что могли предпринять матросы? Сопротивляться — это было бы открытым

бунтом, и если бы им даже удалось захватить судно, то запахло бы пиратством. Тогда в случае сдачи неизбежно последовало бы наказание, а если не сдаваться, что делать дальше со своими жизнями? Неподчинение начальству — нарушение закона, и поэтому остается выбирать между пиратством и повиновением. Как бы ни было тяжело, матрос обязан терпеть. Для этого и нанимаются на судно. Раскрутив конец над головой и изогнувшись для большего размаха, капитан хлестнул беднягу по спине. Один раз, второй... шестой...

— Ты будешь еще распускать свой язык?

Матрос корчился от боли, но не издавал ни звука. Последовало еще три удара. Это было уж слишком, и он пробормотал что-то чуть слышно. Это вызвало новую порцию ударов — матрос уже не мог вынести большего, и капитан велел отвязать его.

— А теперь ты, — сказал он, обращаясь к Джону, и снял с него наручники. Освободившись, Джон кинулся на бак.

— Приведите этого человека ко мне! — заорал капитан.

Второй помощник, который жил в кубрике с этим матросом в начале плавания, стоял, не шелохнувшись, на шкафуте. Старший медленно пошел на бак. Зато третий помощник, желая показать свое рвение, перемахнув через шпиль, схватил Джона, но тот одним движением отшвырнул его. Капитан с непокрытой головой стоял на юте, глаза его горели яростью, лицо налилось кровью. Он размахивал концом и вопил:

— Тащите его сюда! Хватайте, я сделаю его мягким, как воск!

Старший помощник поднялся на бак и тихо сказал Джону, чтобы тот спокойно шел на ют. Тот, видя бесполезность сопротивления, оттолкнул скотину третьего помощника и ответил, что пойдет сам и не нужно тащить его. Подойдя к трапу, Джон протянул руки, но, когда капитан стал привязывать его, возмущение снова взяло верх, и он начал вырываться. Однако старший помощник и Рассел уже висели на нем, и вскоре его утихомирили. Тогда, повернувшись лицом к капитану, который закатывал рукава, Джон спросил, за что его будут сечь.

— Разве я отказывался выполнять свои обязанности, сэр? Вы видели, чтобы я хоть раз отлынивал или позволил дерзость?

— Нет, я буду сечь тебя не за это, — отвечал капитан, — а за то, что вмешиваешься не в свое дело, за твои вопросы.

— Неужели на этом судне матрос не может задать вопрос без того, чтобы его не высекли?

— Нет! — заорал капитан. — Здесь никто, кроме меня, не смеет открывать рот.

И он принялся хлестать Джона по спине, разворачиваясь всем

телом, чтобы получалось сильнее. Ярость его возрастала, он пританцовывал на месте и, замахиваясь концом, выкрикивал:

— Если хочешь знать, за что тебя секу, то запомни — я так хочу, это мне нравится! Вот за что!

Матрос молча извивался под ударами, пока мог терпеть, и, не выдержав истязания, простонал, выдавливая из себя восклицание, скорее присущее местным жителям, чем нам:

— O Jesus Christ! O Jesus Christ!

— Не призывай Иисуса! — заорал капитан. — Он тебе не поможет! Зови Фрэнка Томпсона! Вот кто тебе нужен! Фрэнк Томпсон, а не Иисус!

При этих словах, которые я не забуду до самой смерти, казалось, кровь во мне остановилась. Я не мог больше видеть это и, почувствовав новый приступ тошноты, отвернулся и стал смотреть в воду. В голове молниеносно промелькнуло несколько мыслей — о нашем положении, решимость добиться наказания капитана, когда вернемся домой, — но крики истязаемого и капитана, звуки ударов не позволяли сосредоточиться. Наконец все смолкло и, обернувшись, я увидел, как старший помощник по знаку капитана отвязывает Джона. Тот, согнувшийся от боли почти пополам, поплелся на бак и спустился в кубрик. Остальные замерли на своих местах, а капитан, раздуваясь от злобы и преисполненный гордости от содеянного, расхаживал кругами по юту и после каждого поворота выкрикивал:

— Теперь будете знать свое место! Вы все у меня вот здесь и можете быть уверены, я вам не спущу! Теперь вы узнали меня! Я вас приведу в чувство! Каждого! Иначе всех засеку, и мальчишку тоже! Помните, у вас есть погоняла, как для черных рабов! Пусть еще кто-нибудь попробует заявить мне, что он не черный раб!

Подобными рассуждениями, предназначенными успокоить нас и предотвратить неприятности в будущем, он развлекался минут десять, после чего сошел вниз. Вскоре на юте появился Джон. Спина у него была исполосована во всех направлениях и сильно распухла. Он сказал стюарду, чтобы тот попросил для него у капитана немного мази или бальзама.

— Нет! — крикнул капитан, слышавший все. — Скажи ему, пусть наденет рубаху и отвезет меня на берег. Это лучшее лекарство. У меня на судне никому не позволено разлеживаться!

Он велел мистеру Расселу взять обоих наказанных и еще двух матросов в шлюпку. Мне тоже пришлось идти с ними. Оба с трудом сгибали спину, а капитан то и дело покрикивал: «Навались!», но, видя, что они стараются изо всех сил, оставил их в покое. За все время, пока мы шли эту лигу, ни он, ни агент, сидевший на корме, не произнесли ни слова. Когда шлюпка

пристала, агент и капитан с помощником направились к дому. Я с другим матросом остался возле лодки, а Джон и Сэм медленно отошли в сторону и устроились на камнях. Какое-то время они о чем-то говорили между собой, но потом разошлись и сели порознь. Я немного побаивался за Джона. Он был иностранцем, да к тому же очень вспыльчивым, и имел при себе нож, а капитан должен был возвращаться к шлюпке один. Но ничего не случилось, и мы спокойно вернулись на бриг. Капитан, возможно, имел при себе оружие, и, если бы они отважились напасть на него, им, скорее всего, пришлось бы спасаться бегством. Возможно, они обрекли бы себя на голодную смерть в калифорнийских лесах, если бы их не изловили солдаты, соблазненные наградой в двадцать долларов.

Когда вся дневная работа была закончена, мы спустились в кубрик и принялись за наш нехитрый ужин, но никто не произнес ни слова, и, несмотря на субботний вечер, никто не пел «о милашках и женах». Всех не покидало тягостное чувство. А двое наказанных лежали на своих койках и стонали от боли. Мы тоже улеглись, однако я никак не мог заснуть. Звуки, временами доносившиеся с коек пострадавших, свидетельствовали о том, что они не спят, да и как можно спать, если человек не находит себе места от боли? Тусклая раскачивающаяся лампа освещала наше убогое жилище, и мне приходили на ум разные мысли. Я не опасался, что капитан поднимет на меня руку, но не мог не думать о том, что мы находимся во власти разнузданного и самодовольного тирана; не мог не думать о той стране, куда мы попали; о продолжительности нашего плавания и полном неведении относительно сроков возвращения на родину. Как все-таки добиться правосудия для этих бедняков? Я поклялся, если только представится возможность, сделать все, дабы отомстить за обиды и облегчить страдания людей того сословия, с коими так надолго связала меня судьба.

Следующий день был воскресенье. Как обычно, с утра мы драили палубу и занимались прочими работами, а после завтрака отвезли капитана на берег, где уже скопились шкуры, привезенные накануне. Капитан велел мне оставаться на берегу около них. К вечеру, как он сказал, за ними придет шлюпка. Меня оставили одного, и я провел на холме спокойный день, обедал же вместе с тремя англичанами в их домике. К сожалению, там не оказалось книг и, поболтав с ними и побродив вокруг, я начал тяготиться бездельем. Маленький бриг, обитель столь многих наших тягот и страданий, стоял вдали, едва различимый для глаз, и, кроме него, пустынность водной глади бухты нарушал лишь небольшой безлюдный островок, совершенно лишенный

растительности, представлявший собой просто округлое глинистое возвышение. Однако он не был лишен романтической привлекательности, ибо на самой его вершине были захоронены останки некоего англичанина, капитана маленького купеческого брига, который скончался во время стоянки в этом порту. Здесь, среди запустения, покоился человек, умерший и похороненный вдали от друзей и близких, и, будь это место обыкновенным кладбищем, я не видел бы во всем этом ничего примечательного, но одинокая могила удивительно гармонировала с безжизненным обликом всего окружающего. Это было единственное место в Калифорнии, произведшее на меня впечатление, не лишенное поэтичности. К тому же поговаривали, что несчастный был отравлен (никто даже не удосужился произвести расследование) и предан земле без обряда и молитвы. Как мне рассказали, помощник, который был вне себя от радости, что человек убрался с его дороги, поспешно доставил тело покойного на вершину холма и предал его земле, не произнеся ни слова молитвы.

К концу дня я уже начал озабоченно поглядывать на море и наконец заметил на воде пятнышко, которое двигалось к берегу; вскоре я различил капитанскую шлюпку. Значит, шкуры грузить не будут. На берег сошел капитан и с ним матрос, державший в руках мой бушлат и одеяло. Капитан, хотя и был в весьма мрачном настроении, спросил, есть ли у меня еда, и велел мне соорудить из шкур укрытие — мне предстояло оставаться здесь на ночь за сторожа. Я сумел улучить минуту, чтобы расспросить матроса.

— Ну, как там на бриге?

— Ничего хорошего. Каторжная работа и ни единого человеческого слова.

— Как! Вы целый день работали?

— Вот именно! Теперь у нас нет воскресений. В трюме перевернули буквально все — от носа до кормы и от ватервейса до кильсона.

Ужинать я опять пошел в дом. Были все те же бобы (они употребляются калифорнийцами в пищу постоянно, и, умело приготовленные, это лучшие бобы в мире), кофе из прожаренных зерен пшеницы да сухари. После еды англичане достали колоду замусоленных испанских карт и при свете сальной свечи сели играть в излюбленное «тридцать одно». Я оставил их и соорудил себе из шкур бивуак. Уже совсем стемнело, бриг полностью исчез из виду, и, кроме тех троих, в доме на лигу вокруг не было ни одной живой души. Койоты [22] (дикие животные, нечто среднее между лисой и волком) подняли своеобразный громкий вой, а две совы — по одной на каждом из двух отдаленных мысов, что

выдавались в бухту по обе стороны холма, — по очереди подавали свой отвратительный голос. Я и раньше слышал по ночам эти гнетущие звуки, но не понимал, от кого они исходят, пока вышедший из дома человек не объяснил, что это кричит сова. Трудно представить себе среди ночного одиночества более меланхоличный и щемящий душу звук. Почти до самого утра они вели перекличку, нарушаемую лишь визгливым лаем койотов, которые подходили совсем близко к моему ночлегу, и я, естественно, не испытывал от этого большого удовольствия. Утром, еще до восхода солнца, к берегу подвалил баркас и забрал шкуры.

Мы простояли в Сан-Педро около недели, занимаясь погрузкой и другими делами, которые вошли теперь в круг наших постоянных обязанностей. Я провел на холме еще один день, но на сей раз мне посчастливилось отыскать в углу дома часть вальтер-скоттовского «Пирата», хотя, к великому огорчению, текст обрывался на самом интересном месте, и пришлось вернуться к моим береговым знакомцам, от которых я узнал много интересного про обычаи этой страны, расположение гаваней и т. п. Как мне рассказали, здешняя бухта весьма небезопасна при зюйд-остах. Шторм, заставший нас в Санта-Барбаре, бушевал здесь с такой силой, что буруны начинались за лигу от бухты, и она была сплошь покрыта пеной, а сами волны перекатывались через остров Мертвеца. Стоявшая здесь «Лагода» снялась при первых признаках опасности, и с такой поспешностью, что оставила в гавани свой баркас, стоявший на якоре. Это суденышко продержалось несколько часов, то и дело вставая на волне почти вертикально, но к вечеру лопнул якорный канат, и баркас вышвырнуло далеко на береговой песок.

На «Пилигриме» все шло по заведенному порядку, каждый старался держаться как можно незаметнее, однако нашему душевному равновесию, по всей очевидности, подошел конец. «У каждой собаки свой праздник, наступит и мой черед» — это и подобные изречения можно было услышать время от времени, но никто не заговаривал даже о приблизительном сроке возвращения, а если кто-нибудь из матросов и вспоминал Бостон, ему неизменно отвечали: «Бостон? Да если тебе вообще доведется увидеть его, можешь считать себя счастливчиком. Уж лучше зашейся в парусину, не забудь пару железяк в ноги — и становись-ка на мертвый якорь в этой Калифорнии!» Или еще что-нибудь в этом роде: «Пока доберешься до Бостона, шкуры протрут тебе плешь, все жалованье уйдет на одежду, и для парика не останется и цента».

О порке почти не вспоминали. Если же кто-нибудь ненароком

касался этой темы, остальные с деликатностью, которой я никак не ожидал от этих людей, неизменно прерывали его или же переводили разговор на другое. А отношение обоих наказанных друг к другу заслужило бы восхищение в высших сферах. Сэм знал, что Джон пострадал исключительно из-за него, и часто повторял, что если бы высекли только его, то и говорить было бы не о чем. Но Джон ни словом и ни делом никогда даже не намекнул товарищу по несчастью, что попал под плетку, пытаясь помочь ему. Оба они открыто говорили, что рассчитывали на помощь голландца Билла и Фостера, но ничего не ожидали от нас со Стимсоном. Хотя мы и выражали сочувствие, возмущаясь зверством капитана, но вовсе не были уверены, что все кончится только разговорами, и поэтому старались держаться от остальных подальше, когда заходили такие речи, лишь обещая свое содействие после возвращения на родину [23].

Заполнив все свободные помещения судна шкурами, мы вышли в Сан-Диего. Ни при каком другом маневре настроение команды не проявляется лучше, чем во время снятия с якоря. Там, где все делается «с желанием», матросы взбегают наверх, как кошки, паруса отдаются в одно мгновение; каждый наваливается изо всех сил на свою вымбовку, шпиль быстро крутится под громкие крики: «Навались! Навались сильней! А ну, ребята, веселей!» Теперь всякая работа шла со скрипом. Никто ни лез из кожи вон, а якорный канат еле-еле полз вокруг шпиля. Старший помощник истощил весь свой запас служебного красноречия, выкрикивая: «Навались дружно! А ну, ребята, пошевеливайся! Навались еще!», но понапрасну. Никто не хотел надрывать спину, следуя его призыву, и когда был заведен лопарь кат-талей и вся команда, включая кока и стюарда, навалилась, чтобы взять якорь на кат, то вместо того, чтобы затянуть бодрое шанти «Пошел, ребята, веселее!», которое обычно все подхватывают хором, мы долго, не издавая ни звука, тяжело выхаживали шпиль. А так как, по словам матросов, шанти стоит десяти человек, якорь выходил на кат-балку еле-еле. «Запевай „Веселых ребят“», — просил старший помощник, но нам было не до «Веселья», и мы работали без песен. Капитан молча вышагивал по юту. Он, конечно, заметил перемену, но с точки зрения службы придраться было не к чему.

Дул легкий попутный ветер, мы не спеша шли на юг, держась на достаточном удалении от берега. Вдали вырисовывались две сверкавшие белизной миссии. Одна из них, Сан-Хуан-Капистрано, возвышалась на вершине холма, под которым суда иногда становились на якорь, чтобы взять шкуры. На второй день при заходе солнца прямо перед нами открылся высокий лесистый

мыс, скрывавший маленькую гавань Сан-Диего. Здесь мы заштилели на всю ночь, однако следующим утром, в субботу 14 марта, когда задул легкий бриз, мы, обогнув мыс, вышли к самой гавани, представляющей собой скорее устье небольшой речки, чем залив. Всем хотелось получше рассмотреть это новое место. Цепь высоких холмов, поднимавшихся от самого мыса (мы оставили его слева), защищала порт с севера и запада и уходила в глубь материка, насколько охватывал глаз. С других сторон берег был низкий и зеленый, но без деревьев. Вход в гавань настолько узок, что двум судам тут и не разминуться. Течение очень быстрое, а фарватер проходит вблизи каменистого мыса, так что судно, следуя мимо, едва не касается его бортами. В пределах видимости не было никаких признаков города, зато на ровном песчаном берегу, в кабельтове от которого стояли на якорях сразу три судна, виднелись четыре больших строения, обшитых грубыми досками, наподобие тех амбаров, которые используются в Бостоне для хранения льда. Это были склады шкур. Вокруг них возвышались кипы шкур и сновали люди в красных рубахах и больших соломенных шляпах. Что касается судов, то в одном из них — короткой неуклюжей бригантине — мы распознали хорошо известную нам «Лориотту», а другое, с острыми обводами, наклонными мачтами и свежепокрашенное, сверкающее в лучах утреннего солнца, было «Аякучо», на гафеле у которого красовался кроваво-красный флаг с крестом св. Георгия. Третье же оказалось большим судном со спущенными брам-стеньгами и снятыми парусами. Все оно выглядело порыжевшим и запущенным после двухлетнего «таскания» шкур. Это была «Лагода». Мы приблизились к ней, подхваченные быстрым течением, дали слабину якорной цепи и взяли марсели на гитовы. Раздалась команда: «Отдать якорь!», однако то ли судно имело слишком большой ход, то ли не было вытравлено достаточно каната, но оно не остановилось. «Трави канат!» — зарычал капитан, но это тоже не помогло, и «Пилигрим» всем бортом навалился на «Лагоду». Там команда завтракала в кубрике, и кок «Лагоды», заметив, что нас несет на них, выскочил из камбуза и криками призвал матросов и помощников.

К счастью, все кончилось сравнительно благополучно. Утлегарь «Лагоды» прошел у нас между фок- и грот-мачтами, сорвал часть такелажа и сломал поручни. Сама она потеряла только мартин-штаг. Мы наконец остановились. На «Лагоде» потравили канат, мы отошли от них и отдали второй якорь, но столь же неудачно, как и первый, так как, прежде чем кто-либо осознал это, нас понесло теперь на «Лориотту». Капитан быстро и свирепо выкрикивал команды одну за другой: поставить марсели,

вынести их на ветер — в надежде сдвинуть или расчистить якоря, но все впустую. Тогда он спокойно уселся на поручни и крикнул капитану Наю, что идет к нему с визитом. Нас все-таки снесло на «Лориотту», и мы ударились правым кормовым подзором о ее левую скулу, при этом были снесены часть наших поручней правого борта, ее левый боканец и одна или две стойки на палубе. На баке «Лориотты» мы увидели нашего красавца Джексона, который вместе с островитянами старался освободиться от нас. Потравив наш канат, мы отошли, но наши якоря, без сомнения, уже перепутались с ее якорями. Мы налегли на шпиль, но безрезультатно — по всей видимости, что-то приключилось с якорным канатом. Нас опять понесло, теперь уже на «Аякучо», но в это время от него отвалила шлюпка, доставившая к нам капитана Вильсона. Это был низкорослый подвижный человек лет пятидесяти и на вид очень крепкого сложения. Опытнейший моряк, да еще лет на двадцать старше нашего капитана, он без колебаний отправился помочь нам советом, и постепенно от советов стал переходить к делу и уже распоряжался, когда ходить на шпиле, когда обстенивать паруса и когда выносить на ветер марсели, ставить или убирать кливер и трисель. Наш капитан еще пытался командовать, но поскольку Вильсон почти каждый раз поправлял его, говоря мягким отеческим голосом: «Да нет же, капитан Томпсон, ну зачем вам ставить кливер?» или «Еще не время выбирать канат», то он вскоре совсем смолк. Мы тоже не возражали, ибо Вильсон был добряком, а благодаря его мягкой манере обращения все делалось необычайно легко. Через два-три часа непрестанной работы на шпиле, когда приходилось напрягаться изо всех сил, был поднят один из якорей, сцепившийся с маленьким становым якорем «Лориотты». Очистив наш якорь, мы снова отдали его, а затем подняли второй якорь, проволочившийся по дну почти через половину бухты. «А теперь я найду для вас хорошее место», — сказал Вильсон, и, поставив оба марселя, он приспустился ближе к берегу, и в лучшем виде поставил нас на якорь прямо напротив склада шкур, где нам предстояло разгружаться. После этого он уехал. Теперь осталось только убрать паруса и начинать завтракать, что было весьма кстати, ибо с прошлого полудня мы ничего не ели, а работали до седьмого пота. К тому же и время уже подходило к двенадцати. После завтрака и до самой ночи мы готовили шлюпки и возились с постановкой судна на якорь.

Двое из нас после ужина повезли капитана на «Лагоду». При подходе к ней он назвал себя, и стоявший у входного порта старший помощник крикнул вниз капитану Брэдшоу:

— Капитан Томпсон на борту, сэр!

— Вместе со своим бригом? — прогремел старый и грубый морской волк таким голосом, который можно было услышать от носа до кормы.

Его возглас немало уязвил нашего капитана и до самого конца плавания оставался у нас, да, впрочем, и по всему побережью, постоянной шуткой. Капитан спустился в каюту, а мы пошли на бак и заглянули в кубрик, где застали матросов за ужином. «Спускайтесь, приятели!» — сразу пригласили те нас, и мы оказались в просторном, высоком и хорошо освещенном помещении, где двенадцать или четырнадцать матросов ели из своих бачков и кастрюль и пили чай. Они громко разговаривали и непринужденно смеялись. Это нам показалось чуть ли не праздником по сравнению с тесным и темным кубриком «Пилигрима», не говоря уже о нашей малочисленной и вечно недовольной команде. Дело было в субботу вечером, они кончили свои работы, стояли уютно на якоре и могли спокойно отдыхать до понедельника. За два года им пришлось хлебнуть в Калифорнии лиха, но зато теперь у них был почти полный груз, и через неделю-другую они собирались пойти в Бостон.

Мы провели с ними больше часа, беседуя о калифорнийских делах, пока не раздалась команда: «Пилигримы, пошли!», и мы возвратились к себе на бриг. На «Лагоде» подобрались крепкие и рассудительные парни, хотя и несколько огрубевшие. Их износившаяся одежда пестрела множеством заплат. Все это были опытные матросы в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет. Они порасспросили о нашем судне и о том, какие у нас порядки. Их немало удивила история с поркой. Хотя на здешних судах часто бывают неприятности, а иногда и рукоприкладство, но чтобы секли, об этом еще никто не слыхивал.

Воскресенья, по их словам, всегда соблюдаются в Сан-Диего и на судах, и на складах, причем большинство матросов обычно отпускают на берег. Мы многое узнали от них про окуривание и укладку шкур в трюме, а они в свою очередь хотели узнать «последние бостонские новости» (уже семимесячной давности). Один из первых вопросов был про отца Тэйлора, матросского проповедника, после чего последовал обычный поток рассказов, шуток и всяческих историй, которые всегда можно услышать в кубрике и которые, несмотря на свою грубоватость, может быть, и не хуже того, о чем говорят между собой, собравшись за столом, модно одетые джентльмены.

Глава XVI
Свободный день на берегу

На следующий день было воскресенье, и после скатывания палубы и завтрака на баке появился старший помощник, объявивший, что одна вахта будет отпущена на берег. Бросили жребий, и нам «повезло», то есть вахте левого борта. Вмиг закипели приготовления. Были пущены в ход ведра с пресной водой (в порту пользоваться ею разрешено) и мыло, были извлечены парадные куртки и брюки и подвергнуты чистке; придирчиво осмотрены башмаки, шляпы и шейные платки, которые кое-кому приходилось одалживать, но в конце концов каждый экипировался пристойно. Спустили шлюпку, чтобы свезти на берег «свободных людей», и мы с важностью расселись на кормовых боковых банках, словно платные пассажиры. Достигнув берега, мы выпрыгнули на песок и направились к городку, до которого было почти три мили.

Очень жаль, что на торговых судах не установлен какой-нибудь другой порядок схода на берег. При стоянке в порту команда целую неделю занята работой, а для отдыха и развлечений остается только воскресенье. И если матрос не съезжает в этот день на берег, то ему вообще нет никакой возможности побывать там. Мне рассказывали про одного набожного капитана, который освобождал свою команду по субботам после полудня. Было бы превосходно, если бы и другие пошли на подобное послабление. Это особенно полезно для молодых матросов, многие из которых воспитаны в духе соблюдения воскресенья, так как сильные искушения, которые одолевают их при нарушении этого правила, оказываются для них крайне пагубными. Во время долгого и тяжелого плавания трудно ожидать от матросов, чтобы по причине воскресного дня они пренебрегли возможностью провести несколько часов на берегу и посмотреть на других людей и на окружающее; я не говорю уже об их желании забыть хоть на время тяготы корабельной дисциплины. И они вовсе не возражают, когда их вытаскивают из преисподней хотя бы в воскресный день.

Никогда не забуду того восхитительного ощущения свободы, которое вызвали во мне свежий воздух и поющие вокруг птицы; к этому присоединялось чувство облегчения после тесноты, тяжелой работы и строгих порядков на судне. Я словно снова был сам себе хозяином. Матросская свобода непродолжительна — всего лишь один день в неделю, но зато и не ограничена. Никто

не следит за тобой, и можешь делать все, что угодно, идти, куда захочешь. Клянусь, что в тот день я впервые в жизни понял истинное значение такого выражения, как «сладость свободы». Мы были вместе со Стимсоном и, повернувшись спиной к бригу, неторопливо зашагали прочь от берега, рассуждая между собой о радости принадлежать самому себе, о том времени, когда мы пользовались неограниченной свободой и жили в Америке в кругу друзей, а также о возвращении на родину. Мы строили множество планов — чем, например, займемся и где станем бывать, когда опять окажемся дома. Просто удивительно, сколь светлыми красками обрисовалось будущее, сколь непродолжительным и сносным представилось наше плавание. Все выглядело иначе, чем тогда в темном и тесном кубрике после порки в Сан-Педро. Когда матросу хоть изредка предоставляют свободу, то отнюдь не последним благом этого является возрождение в нем бодрости и чувства собственного достоинства, которые пусть бессознательно, но все же направляют его мысли на светлые стороны жизни.

Мы со Стимсоном решили держаться по возможности вместе, хотя и понимали, что нельзя отгораживаться от своих товарищей; тем более что они, зная о нашем происхождении и образовании смотрели на нас с некоторым подозрением, опасаясь, как бы мы не стали изображать из себя на берегу джентльменов и стыдиться их общества. Джек-матрос не любит таких шуток. Когда плавание окончено, делайте что угодно, но пока вы вместе с ним на одном судне, то должны быть ему товарищем и на берегу, иначе он не захочет знаться с вами в кубрике. Предупрежденный обо всем этом еще до поступления на бриг, я не взял с собой в море никаких выходных костюмов, и поэтому облачился, как все остальные, в белые парусиновые брюки, голубую куртку и соломенную шляпу, оградив себя от всяких подозрений, ибо в подобном наряде невозможно появиться в «хорошем» обществе. Наша команда объединилась с матросами других судов, и, по морскому обычаю, все взяли курс на ближайшую винную лавочку. Это было низкое строение из необожженного кирпича с единственной комнатой, где торговали спиртными напитками, «сухим товаром», обувью, хлебом, фруктами и вообще всем, что продается здесь, в Калифорнии. Содержал лавочку одноглазый янки, который сбежал с китобойного судна на Сандвичевых островах, а потом перебрался в Калифорнию и открыл здесь «пульперию». Мы со Стимсоном шли в кильватер за нашими товарищами, понимая, что отказаться выпить с ними означало бы нанести им величайшее оскорбление; тем не менее мы решили сбежать от них при первой же возможности. Как заведено среди моряков, каждый в свою очередь должен поднести всей компании,

заказав по стакану на брата, включая самого хозяина. Едва мы вошли, как возник спор, кто первым пустит чашу по кругу — новички или старые калифорнийские волки. В конце концов дело решилось в пользу последних, и начались возлияния. Поскольку народа было немало (в том числе несколько «отирал», забежавших в кабак воспользоваться матросской щедростью), а вино было по реалу за стакан, то, естественно, это не могло не проделать изрядную дыру в карманах угощающих. Потом подошла очередь нашего брига, и мы со Стимсоном, торопясь вырваться на свободу, хотели было заказать угощение первыми, но не тут-то было. Как оказалось, и в этом соблюдается строгий порядок — сначала угощают старые матросы, которые не позволят, чтобы их обходили какие-то юнцы. Поневоле (bon gré mal gré) нам пришлось ждать своей очереди, хотя мы и испытывали опасения, во-первых, опоздать к своим лошадям, а во-вторых, набраться лишнего, ибо пить надо всякий раз, и, выпив с одним, нельзя отказать другому, не оскорбив его.

Наконец наступил и наш черед, и, исполнив все надлежащие формальности, мы все-таки сбежали и стали бродить между домов, надеясь нанять лошадей, чтобы осмотреть окрестности. Сначала наши поиски не имели успеха, все местные жители — эти бездельники — тянули лишь свое обычное «кто знает?»; так у них принято отвечать на все вопросы. Но наконец мы повстречали мальчугана-канаку с «Аякучо», который прислуживал капитану Вильсону; он знал, что нужно сделать, и вскоре для нас были готовы две оседланные лошади. Мы могли распоряжаться ими в течение дня всего за один доллар, а вечером даже добраться верхом до берега. В Калифорнии лошади — самый дешевый товар. Прекрасные животные стоят не дороже десяти долларов, а те, что похуже, идут за три или четыре. Беря лошадь напрокат, вы платите только за седло и за труд изловить ее. Главное — возвратить в целости и сохранности сбрую, о самой лошади мало кто беспокоится. Сначала мы направились в древнее обветшалое пресидио, стоявшее на возвышении неподалеку от селения. Как и все прочие форты, он имел форму открытого квадрата и находился в полуразрушенном состоянии, за исключением одного крыла, где помещался комендант со своим семейством. Пушек было всего две — одна заклепанная, другая без лафета. Весь гарнизон состоял из дюжины оборванных и полуголодных парней, и нам рассказали, что далеко не у каждого из них был мушкет. Ниже напротив форта раскинулось крошечное селение — около сорока потемневших хижин и три-четыре выбеленных дома, которые принадлежали gente de razón. Этот городок был вдвое меньше Монтерея или Санта-Барбары, и, кажется, в нем ничего не

производили и не продавали. От пресидио мы поскакали к миссии за три мили от города. Почвы здесь песчаные, и вокруг не было ничего похожего на деревья, зато повсюду обильно росла зеленая трава. Попадалось также множество кустарников и прочих зарослей. С удовольствием проехав мили две, мы увидели белые стены миссии и, переправившись через небольшой ручей, подъехали к ней. Миссия была построена из необожженного кирпича и оштукатурена. Ее облик, несомненно, производил впечатление: несколько уродливых построек, соединенных друг с другом и выстроенных прямоугольником, над ними возвышалась церковь с пятиглавой звонницей, с большими колоколами и огромными ржавыми крестами. Тут же прилепились два-три десятка хижин, сооруженных из соломы и веток. В хижинах жили индейцы, работавшие на миссию и пользовавшиеся ее покровительством.

Через ворота мы въехали на открытую площадь, где царила мертвая тишина. С одной стороны от нас была церковь, по другую — ряд высоких строений с зарешеченными окнами. Третью сторону занимали более мелкие постройки, или службы, четвертую составляла лишь высокая стена. Мы не могли обнаружить здесь ни единого живого существа. Дважды объехали мы вокруг площади в надежде разбудить хоть кого-нибудь и наконец приметили высокого бритоголового монаха в сандалиях и одеянии францисканца. Быстро пройдя через галерею, он исчез, не заметив нас. Вскоре, на наше счастье, из маленькой пристройки вышел какой-то человек. Подъехав к нему, мы увидели, что он одет в традиционный костюм калифорнийца, а на шее у него была серебряная цепочка, на которой висела связка ключей, из чего можно было заключить, что это, вероятно, эконом миссии. Мы обратились к нему как к «мажордому», и в ответ он отвесил нам низкий поклон и пригласил в комнаты. Привязав лошадей, мы вошли внутрь и оказались в очень просторном помещении, всю обстановку которого составляли стол, три-четыре стула, маленькая картина с изображением какого-то святого, а также несколько тарелок и стаканов.

— Hay alguna cosa de comer? («Не найдется ли у вас что-нибудь поесть?») — спросил я.

— Si señor, que gusta usted? («Да, сеньор, что вы желаете?»), — отвечал он.

Упомянув про бобы, которые у них наверняка были, я также назвал мясо и хлеб, намекнув попутно насчет какого-нибудь вина. Эконом пошел через двор в другое строение и скоро вернулся с двумя мальчиками-индейцами, которые несли тарелки и графин. На тарелках было жареное мясо, бобы с перцем и огурцами,

вареные яйца и нечто вроде макарон, приготовленных из калифорнийской муки. Все это вместе с вином составило для нас самый роскошный обед со времени отплытия из Бостона, а в сравнении с тем, что нам давали последние семь месяцев, это было королевское угощение. Расправившись с едой, мы достали деньги, чтобы расплатиться. Но эконом только покачал головой и перекрестился, сказав, что все это милость божья, которую господь ниспослал нам. Оценив приблизительно стоимость съеденного и догадавшись, что раз он не продает, то верно уж не откажется от подарка, мы вручили ему десять или двенадцать реалов, которые он с великолепной небрежностью положил себе в карман со словами: «Dios se lo pague» («Бог зачтет вам»). Простившись с ним, мы поехали к хижинам индейцев. Там бегали нагишом ребятишки, мужчины были одеты немногим лучше, а на женщинах болтались грубые платья. Мужчины пасут стада миссии или работают в большом саду площадью в несколько акров, изобилующем, как говорят, лучшими плодами местного климата. Язык этих людей чрезвычайно грубый; на нем говорят все индейцы Калифорнии. Он никак не мог быть языком Монтесумы или независимых мексиканцев.

Тут же у одной из хижин мы наткнулись на самого дряхлого старца, какого я когда-либо видел. Трудно было себе представить, чтобы в человеке могла сохраняться жизнь при столь выраженных признаках старости. Он сидел на самом солнцепеке, прислонившись к стене. Его обнаженные руки и ноги имели темно-красный оттенок, их кожа вся сморщилась; они были не толще, чем у пятилетнего ребенка. На голове оставалось еще несколько седых волосков, завязанных на затылке. Старик был настолько слаб, что, когда мы подошли, он медленно поднял руки к лицу и пальцами открыл себе веки; потом, удовлетворив свое любопытство, так же медленно опустил их. Когда я спросил, сколько ему лет, то получил все тот же ответ: «Кто знает?» Впрочем, он, может быть, действительно не имел об этом представления.

Мы возвратились в деревню и почти весь путь от миссии скакали полным галопом. Калифорнийские лошади не приучены к аллюру (нечто среднее между шагом и рысью), и всадники обычно гонят во весь опор, пока лошади не устанут, после чего позволяют им переходить на шаг. Чистый воздух и бешеный бег лошадей, которые, казалось, летели над землей, возбудили в нас столь непривычное от долгого пребывания на судне чувство быстрого движения, что мы с радостью согласились бы скакать весь день без передышки. Приехав в деревню, мы застали там большое оживление. Индейцы, которые обычно отдыхают по

воскресеньям, были заняты игрой, заключавшейся в беготне за мячом на ровном участке земли неподалеку от домов. Старики сидели кружком и наблюдали за игрой, а молодежь — мужчины, мальчики и девочки — гонялась за мячом и бросала его изо всех сил. Некоторые девчонки бегали не хуже гончих. При каждом удачном выпаде старики поднимали оглушительный визг и хлопали в ладоши. Между домами, шатаясь, бродили несколько матросов, что явно свидетельствовало о том, что пульперии не были забыты. Один или два матроса взобрались на лошадей, но, не владея искусством верховой езды, тут же оказались сброшенными на землю, к вящему удовольствию зрителей. Впрочем, мексиканцы подсунули им необъезженных животных. Зато с полдюжины обитателей Сандвичевых островов бесстрашно носились верхом вокруг толпы полным галопом с криками и хохотом.

Солнце склонялось к горизонту, и мы со Стимсоном зашли в один из домов и присели там отдохнуть перед возвращением на бриг. Немедленно собрались несколько местных жителей, чтобы посмотреть на «los marineros ingleses» [24], и одной молодой женщине приглянулся мой шелковый карманный платок, сохранившийся у меня еще со времен сухопутной жизни; она никогда не видела такого красивого платка, и я, конечно же, подарил его ей, чем сразу же снискал всеобщее расположение, взамен нам были поднесены груши и другие плоды, которые мы унесли с собой. Выйдя из дома, мы обнаружили, что привязанные у дверей лошади исчезли. Пришлось отыскать хозяина лошадей, однако тот лишь пожал плечами и на все вопросы отвечал односложно: «Кто знает?» Впрочем, по его невозмутимой физиономии мы догадались, что ему хорошо известно, где лошади. После некоторых пререканий мы наняли двух других лошадей, по четыре реала за каждую, и двух индейских мальчишек, которые должны были бежать за нами и привести их обратно. Нам хотелось взять свое за причиненный ущерб, и мы устроили бешеную скачку, так что оказались на берегу в считанные минуты, но, дабы продлить свою свободу как можно дольше, продолжали ездить по берегу и между складами, высматривая возвращавшихся либо верхом, либо пешком матросов. Потом на лошадях прискакали разгоряченные сандвичане. Мы расспросили о наших товарищах и узнали, что двое хотели ехать верхом, но были сброшены на землю, а может, свалились сами, и теперь бредут каким-то немыслимым курсом к берегу, и, судя по всему, вряд ли объявятся раньше полуночи.

Затем прибежали мальчишки-индейцы, мы отдали им лошадей, окликнули шлюпку и благополучно возвратились на

бриг. Так завершился наш первый свободный день на берегу. Мы изрядно устали, но все-таки хорошо провели время и теперь с меньшей неохотой возвращались к своим обязанностям. Около полуночи нас разбудили те двое опоздавших, которые о чем-то яростно спорили. Оказалось, что они поехали вдвоем на одной лошади, и теперь каждый указывал на другого, как на виновника падения. Но скоро и эти гуляки улеглись и заснули, забыв, вероятно, обо всем случившемся, так как на следующее утро спор не возобновлялся.

Глава XVII
Сан-Диего

Первое, что мы услышали, было: «Пошел все наверх!», и, взглянув в открытый люк, увидели, что еще едва-едва светает. Кончилось наше свободное время, башмаки, куртки, шейные платки и прочие принадлежности для схода на берег разошлись по рундучкам. Снова были надеты истрепанные штаны, красные рубахи и шотландские шапочки, и возобновилась нескончаемая выгрузка шкур. Три дня мы надрывались с раннего утра до звезд лишь с короткими перерывами на еду. Для погрузки и выгрузки Сан-Диего, несомненно, лучшее место во всей Калифорнии. Маленькая гавань закрыта со всех сторон, здесь нет прибоя, суда стоят в одном кабельтове от берега, представляющего собой ровную твердую полосу песка, лишенную скал и камней. По этим причинам порт используется торговыми судами как складское место, тем более что погрузка шкур перед выходом домой в любой открытой гавани невозможна без того, чтобы не замочить их в прибое. Мы приняли во владение один из складов, который принадлежал нашей фирме и использовался «Калифорнией». Он вмещал сорок тысяч шкур, и нам представлялась приятная возможность заполнить его, прежде чем покинуть побережье, и доставленные три с половиной тысячи были по сравнению с этим сущим пустяком. На бриге не было, пожалуй, человека, который, заходя в склад, не окидывал бы помещение взглядом, подсчитывая при этом в уме время, потребное для его заполнения.

Сначала необработанные шкуры, доставленные на судах, сваливают около складов, а затем их подвергают процессу вымачивания, сушки и чистки, и только тогда убирают в склад. Все эти операции необходимы, чтобы шкуры не пришли в негодность во время долгого плавания в теплых широтах. Для обработки и охраны шкур с каждого судна отправляют на берег одного из помощников капитана и часть команды, и, как оказалось, наш новый помощник был нанят именно с этой целью. Сразу же после выгрузки он принял заведование складом, и капитан намеревался предоставить в его распоряжение двух-трех матросов, а вместо них взять на бриг сандвичевых островитян. Однако никто из них так и не согласился на это, хотя им предлагали по пятнадцати долларов в месяц. Дело в том, что слухи о порке дошли и до них, и они прозвали нашего капитана «aole maikai» («нехороший»), отчего его план не осуществился.

Зато островитяне подрядились работать на берегу, и четверо из них оказались под началом мистера Рассела.

Выгрузив шкуры на берег, мы переправили вслед за ними весь запасный рангоут и такелаж и все запасы, в которых не было надобности во время одного рейса к наветренному побережью, дабы освободить возможно больше места под шкуры. Среди прочего оказался и наш свинарник вместе со старухой Бесс — свиньей, плывшей с нами от самого Бостона. Она пережила путешествие вокруг Горна, где все остальные свиньи передохли от холода и сырости. Говорили даже, что она ходила рейсом в Кантон. Эта свинья была любимицей кока, и он в продолжение всего плавания скармливал ей самые лакомые кусочки и научил узнавать свой голос, а также проделывать всякие забавные штуки. Том Кингл пишет, что никому не дано постигнуть всю глубину привязанности негра к свинье, и я полагаю, он совершенно прав, ибо, когда Бесс велели отвезти на берег, это едва не разбило сердце нашего кока. Она составляла для него единственное утешение во время продолжительных рейсов вдоль побережья, и теперь скрепя сердце ему оставалось только помочь как можно легче опустить ее через борт. Мы завели гордень за грота-рей и заложили гак за строп, охватывающий тушу свиньи, после чего, подмигнув друг другу, вздернули ее до самого нока. «Эй, там! Прекратите! — прикрикнул старший помощник. — Довольно шуточек! Трави тали!» Но сам был явно доволен нашей выходкой. Свинья визжала, будто ее резали, а у бедного негра выступили на глазах слезы, и он пробормотал что-то о зверском обращении с бессловесным животным. «Хороша бессловесная, — сказал ему Джек. — Или мои уши совсем уж ни на что не годятся?» Это рассмешило всех, исключая, конечно, кока, который лично проследил, чтобы Бесс осторожно опустили в шлюпку, и проводил ее до самого берега, где она встретилась с целым стадом сородичей, доставленных с других кораблей и составлявших многочисленное общество. Теперь кок взял себе за правило наблюдать из двери своего камбуза за всеми свиньями на берегу и поднимал страшный крик и хлопал в ладоши, если замечал, что Бесс выходила победительницей в схватках за куски сырых шкур и полуобглоданные кости, валявшиеся на берегу. В течение дня он припрятывал лакомые кусочки и заготовлял ведро пойла, а потом упрашивал нас отвезти это ведро на берег и очень сокрушался, если старший помощник грозил вылить пойло за борт, а заодно отправить туда же и его самого. Мы говорили, что он больше думает о свинье, чем о жене, оставшейся в Бостоне, на аллее Робинсона. Несколько раз с наступлением темноты кок, думая, что действует незаметно, сам отправлялся в шлюпке на

берег с ведром вкусного пойла и возвращался с победным видом Леандра, переплывшего Геллеспонт.

На следующее воскресенье в город отправилась другая половина команды, а мы остались на бриге, чтобы провести первый спокойный день со времени прибытия в Калифорнию. Можно было не опасаться ни подвоза шкур, ни зюйд-оста. С утра мы стирали и латали свою одежду, а остальное время читали или писали письма, так как хотели отправить их с «Лагодой». В полдень на «Аякучо» поставили фор-марсель, что было верным знаком отплытия. Он снялся с якорей и стал вытягиваться на верпе из бухты. Команда долго выхаживала шпиль с пением шанти, и я наслаждался мелодичным голосом одного из сандвичан по имени Маханна, который запевал. Среди матросов, когда они работают на шпиле, чтобы наваливаться на вымбовки всем вместе и дружно, всегда найдется один, кто умеет выводить высокие протяжные ноты сообразно вращению шпиля. Для этого нужен чистый голос, сильные легкие и солидный навык. Этому парню удавались немыслимо высокие звуки, хотя иногда он и срывался на фальцет. По мнению наших матросов, он забирал слишком высоко, ему недоставало боцманской хрипоты, однако меня этот голос просто очаровал. Бухта была идеально спокойной, звуки матросского пения разносились по окрестным холмам и, казалось, на многие мили вокруг. К заходу солнца потянул свежий бриз, и «Аякучо» стал удаляться к югу, элегантно разрезая волны своим длинным острым носом. Он вышел в Кальяо, а оттуда направлялся на Сандвичевы острова. Его ожидали обратно на побережье через восемь — десять месяцев.

К концу недели мы тоже были готовы к отплытию, однако нас задержало на несколько дней бегство Фостера, того самого, которого капитан отстранил от должности второго помощника. С тех пор как он «слетел», Фостер решил бежать при первой же возможности. Правда, и положение его на судне было самое что ни на есть собачье. Нанявшись помощником, хотя сам не стоил и половины обыкновенного матроса, он не нашел в команде сочувствия и в то же время не обладал достаточно твердым характером, чтобы постоять за себя. Капитан называл его теперь не иначе, как «солдатом» [25] и грозил «дотянуть до места». А когда начальство решило «дотянуть матроса до места», дела его совсем плохи. У Фостера уже было несколько неприятностей с капитаном, и он просил отпустить его домой на «Лагоде», но встретил отказ. Однажды вечером, находясь на берегу, он надерзил помощнику с какого-то судна и отказался возвращаться на судно со шлюпкой. Об этом доложили капитану, и когда провинившийся все-таки вернулся (позже установленного часа),

его призвали на ют и сказали, что высекут. С криками «Не секите меня, капитан Томпсон! Только не секите!» бедняга тут же повалился на палубу. Капитан, хотя и был зол на него, хлестнул несчастного несколько раз по спине концом и отослал в кубрик. Ему не очень досталось, но он сильно испугался и решил бежать той же ночью. Наверное, это было самое успешное предприятие, которое ему удалось за всю жизнь, он даже проявил некоторое мужество и завидную предусмотрительность. Фостер передал свой матрас и постель на сохранение одному матросу с «Лагоды», который пронес их к себе на судно под видом покупки. Потом Фостер разгрузил свой рундук, сложив все самое ценное в большой парусиновый мешок, и попросил вахтенного разбудить его в полночь. Когда наступило время, он вышел на палубу и, видя, что вахтенного помощника нет поблизости и на юте все тихо, осторожно опустил мешок в шлюпку, неслышно забрался туда и отдал фалинь. Выждав, когда шлюпку отнесет приливом подальше от борта, он спокойно догреб до берега.

На следующее утро поднялся страшный переполох, собрали всю команду и стали искать Фостера. Конечно, из нас никто не сказал ни слова, и начальству стало известно лишь то, что он сбежал в шлюпке, оставив пустой рундук. Шлюпка же была найдена позднее в полной сохранности на берегу. После завтрака капитан поехал в город и обещал за поимку Фостера двадцать долларов. Солдаты и все те, у кого не нашлось других занятий, два дня рыскали по округе, выслеживая беглеца. Однако, несмотря на то что они разъезжали верхом, их старания оказались тщетными, ибо все это время он прятался в двухстах пятидесяти ярдах от складов. Достигнув берега, Фостер сразу же направился к амбару «Лагоды», и матросы, которые жили там, согласились спрятать его со всеми пожитками до отхода «Пилигрима», а потом просить капитана Брэдшоу взять беглеца на свой корабль. Позади складов для шкур среди кустов и прочих зарослей была небольшая пещера, о которой знали только двое на всем берегу, со столь хорошо укрытым входом, что, когда я сам впоследствии жил на берегу неподалеку (мне показывали пещеру два или три раза), я никак не мог отыскать ее без посторонней помощи. Фостера отвели в эту пещеру еще до рассвета и снабдили хлебом и водой. Он просидел там до тех пор, пока не увидел, как мы огибаем мыс.

Пятница, 27 марта. Капитан потерял всякую надежду отыскать Фостера и, не желая задерживаться долее, приказал сниматься с якорей. Мы поставили паруса и начали медленно спускаться по течению, пользуясь легким ветром. Капитану Брэдшоу были переданы письма для доставки в Бостон, и он до

крайности огорчил нас, заявив, что еще успеет возвратиться, прежде чем мы покинем побережье. Вскоре после того, как «Пилигрим» обогнул мыс, ветер стих, и мы заштилели на целых два дня, не продвинувшись за все это время и на три мили, так что оставались в виду других судов. На третий день около полудня с моря подул прохладный бриз, от которого вода покрылась рябью и потемнела, и к заходу солнца мы миновали Сан-Хуан, который находится в сорока милях от Сан-Диего, то есть как раз на полпути до Сан-Педро, куда мы направлялись. Наша команда была теперь сильно ослаблена: один утонул, упав за борт, другого сделали клерком, а третий сбежал, так что, кроме нас со Стимсоном, оставалось лишь три полноценных матроса, да еще юнга двенадцати лет. С таким малочисленным и недовольным экипажем нам предстояло перебиваться от вахты до вахты в течение двух лет тяжелейшей службы. Тем не менее среди нас не было никого, кто бы не радовался за Фостера, потому что, несмотря на всю его никчемность, никто не желал, чтобы он продолжал влачить столь жалкое существование. Поэтому, возвратившись в Сан-Диего через два месяца, мы, к общему удовольствию, узнали, что его сразу же взяли на «Лагоду», и он отправился на ней домой с жалованьем полноправного члена команды.

После нудного пятидневного перехода в среду 1 апреля мы пришли, наконец, на нашу старую якорную стоянку в Сан-Педро. Бухта была столь же пустынна и имела такой же мрачный вид, как и прежде, являя собой полную противоположность уютному и безопасному Сан-Диего с его кипучей деятельностью и четырьмя судами, которые так скрашивали пейзаж. Через несколько дней начали мало-помалу подвозить шкуры, и мы принялись за прежнее занятие — вкатывать на холм товары, сбрасывать вниз шкуры и выгребать на шлюпке свою ежедневную длинную лигу до берега и обратно. Пока мы стояли здесь, не произошло ничего примечательного, кроме попытки починить маленький мексиканский бриг, выброшенный зюйд-остом на берег и лежавший высоко и сухо за одним каменистым рифом и двумя песчаными отмелями. Наш плотник осмотрел суденышко и объявил, что его можно отремонтировать. Через несколько дней из Пуэбло приехали владельцы и, дождавшись высокого прилива, с помощью наших канатов, верпов и всей команды после нескольких попыток стащили бриг на воду. Трое матросов, жившие в доме на берегу, возвратились на свое судно и были весьма рады предоставившейся возможности убраться с побережья.

У нас на судне все шло по давно заведенному порядку.

Возмущение, вызванное экзекуцией, прошло, однако впечатление, произведенное ею на команду и особенно на самих жертв, оставалось. Весьма примечательно, как по-разному они вели себя. Джон был иностранцем и к тому же очень вспыльчив, поэтому, несмотря на чувство подавленности, которое испытывал бы всякий на его месте после такого унижения, в нем возобладало озлобление. Он часто говорил, что добьется справедливости, как только попадет в Бостон. Совсем иначе вел себя Сэм. Он был американцем, получил кое-какое образование, и казалось, что происшедшее с ним подавило его волю. Раньше он любил пошутить и нередко развлекал нас забавными историями про негров (Сэм был из какого-то рабовладельческого штата). Но теперь он почти перестал улыбаться, и казалось, сама жизнь ушла из него. Единственное его желание заключалось в том, чтобы скорее пришел конец нашему плаванию. Я часто слышал, как, оставшись один, он тяжело вздыхает. Сэм не проявлял особого интереса даже к планам Джона восстановить справедливость и свершить возмездие.

После двухнедельной стоянки, когда нам пришлось однажды спешно уходить от шторма с зюйд-оста и провести в море двое суток, мы снялись на Санта-Барбару. Стояла уже середина апреля, и сезон зюйд-остов почти миновал. На побережье установились легкие северные ветры, дувшие во второй половине дня. Мы медленно шли против этих ветров до Санта-Барбары и покрыли расстояние в девяносто миль за трое суток. По приходе мы застали в гавани стоящее на якоре большое судно из Генуи, которое видели на этом месте в первый день нашего появления на побережье. Оно ходило в Сан-Франциско или, как здесь это называется, «выбралось на ветер», и на обратном рейсе, следуя «вниз», побывало в Монтерее, а теперь собиралось продолжать путь до Сан-Педро и Сан-Диего, откуда, взяв груз, должно было идти в Вальпараисо и Кадис. Это было большое неуклюжее судно, со своими наклоненными вперед стеньгами и высоким полуютом оно походило на сгорбленную старуху. Подходил к концу великий пост, и в страстную пятницу на ней отопили все реи, согласно обычаю, заведенному на католических судах. На некоторых даже делают чучело Иуды, с которым команда всячески забавляется — его протаскивают под килем и вешают на ноке рея.

Глава XVIII
Пасхальное воскресенье

На следующее воскресенье была Пасха, а поскольку в Сан-Педро на берег не отпускали, то теперь наступил наш черед прогуляться и так же безалаберно провести свободный день. Вскоре после завтрака большая шлюпка, наполненная матросами в голубых куртках, красных шапках и разноцветных рубахах, отвалила от борта итальянца и прошла у нас под кормой; моряки хором распевали прекрасные итальянские песни о море, и я узнал широко известную «O pescator dell'Onda» [26]. Это вызвало во мне воспоминания об игре на фортепьяно, гостиных, музицирующих леди и о многом другом, думать о чем в моем теперешнем положении было совершенно неуместно. Решив, что слоняться целый день по берегу, где некуда даже прокатиться верхом, слишком долгое и бессмысленное времяпровождение, мы остались на бриге до обеда. Потом нас отвезли на берег как пассажиров, на корме шлюпки, ибо таков уж обычай — съезжающих на берег матросов непременно отвозят туда и обратно их же товарищи. Получив наставление быть на судне к заходу солнца, мы направились в городок. Здесь все выглядело по-праздничному. Люди были нарядно одеты, мужчины разъезжали верхом между домами, женщины сидели на ковриках у дверей. Двое музыкантов, разукрашенные лентами и цветами, расположились на веранде перед пульперией и играли на скрипке и испанской гитаре. Кроме барабана и трубы, которые я видел в Монтерее, это единственные инструменты, которые употребляются в Калифорнии. Я подозреваю, что здесь не играют на чем-либо другом, так как впоследствии мне удалось побывать на большом празднике фанданго, где собрали какие только могли музыкальные инструменты, но играли лишь три скрипки и две гитары. Поскольку была середина дня и до начала танцев еще далеко, мы стали прогуливаться среди домов. Потом распространился слух, что скоро приведут быка и будут травить его собаками на площади перед пресидио. Расспросив про американца, который, женившись на местной женщине, содержал лавочку в городке, мы двинулись к низкому и длинному строению, над дверью которого была вывеска, написанная по-испански. Войдя в помещение, мы увидели, что там никого нет, и все имеет какой-то запущенный вид. Однако через несколько минут появился хозяин, он стал извиняться, что ему нечем нас угостить, так как накануне у него устраивалось фанданго, и

поэтому все было съедено и выпито.

— Понятно, — сказал я, — ведь теперь Пасха.

— О, вовсе не потому, — отвечал он с каким-то странным выражением лица, — на днях у меня умерла младшая дочь, и такой уж здесь обычай.

Я почувствовал себя неловко, не зная, что сказать и уместно ли выразить ему соболезнование, а потому попятился было назад, но он открыл боковую дверь и пригласил нас войти. Мне пришлось удивиться еще раз — мы увидели большую комнату, переполненную девочками от трех-четырех до пятнадцати-шестнадцати лет. Все они были наряжены в белое, с венками на голове, с букетиками цветов в руках. Следуя за нашим провожатым среди этих весело игравших детей, мы подошли к покрытому белой тканью столу, на котором стоял гроб длиной не более трех футов, убранный белым атласом и засыпанный цветами. Через открытую дверь можно было видеть другую комнату и там несколько взрослых в обычном платье. Скамейки и столы, составленные в угол, а также испачканные стены свидетельствовали о вчерашнем «веселье». Оказавшись, подобно Гаррику, между смешным и трагическим и не зная, как вести себя, я спросил хозяина, когда состоятся похороны. Он ответил, что приблизительно через час все двинутся к миссии, и я простился с ним.

Чтобы скоротать время, мы взяли лошадей и поехали в сторону берега, где уже скакали верхом бешеным галопом трое или четверо итальянских матросов. Мы присоединились к ним и нашли сие развлечение великолепным. Длина пляжа была не меньше мили, и лошади неслись вскачь по ровному и твердому песку, возбужденные соленым морским бризом и непрестанным гулом прибоя. С берега мы возвратились в город и, узнав, что похоронная процессия уже тронулась, поскакали вслед и догнали ее на полпути к миссии. Нам представилось зрелище, столь же похожее на похороны, как и то, что мы видели раньше в доме, — на траур. Маленький гроб несли восемь девочек, постоянно сменявшихся другими, которым приходилось забегать вперед. Девочки тянулись за гробом беспорядочной вереницей и все до одной были наряжены в белое и держали в руках цветы. Я полагаю, здесь собрались все местные особы женского пола от пяти до пятнадцати лет. Они развлекались по дороге играми, часто останавливались, собирались стайкой, чтобы поболтать или нарвать цветов, а потом бежали догонять гроб. Тут же шли несколько пожилых женщин в обычном платье, которых сопровождала толпа юношей и мальчиков, отчасти пешком, отчасти на лошадях. Они переговаривались с женщинами и

отпускали шуточки. Но самое поразительное зрелище являли двое мужчин, шедшие по обеим сторонам гроба с мушкетами в руках, которые они непрестанно перезаряжали, потому что то и дело палили в воздух. Не знаю, делалось ли это для того, чтобы отогнать злых духов, или с какой другой целью. Во всяком случае, я не мог придумать иного объяснения.

Приблизившись к миссии, мы увидели, что большие ворота открыты настежь, а на ступеньках с распятием в руках стоит падре. Сама миссия — это обширное пустынное место, и ее внешние строения совершенно развалились, а все в целом лишь напоминает о былом величии. Перед церковными вратами большой каменный фонтан извергал в бассейн четыре прозрачные струи. Мы уж собирались было подъехать к нему и напоить лошадей, но нам пришло в голову, что вода может быть освящена, и поэтому не решились исполнить свое намерение. В это время послышался резкий и нестройный звон колоколов, и процессия вступила во двор. Я хотел последовать за ней, чтобы наблюдать церемонию, но тут лошадь одного из моих товарищей чего-то испугалась и стала рваться обратно к городу. Она сбросила седока, и при этом запуталась копытом в стременах съехавшего набок седла, которое сразу же разодрала на куски. Зная, что мой товарищ не разумеет ни слова по-испански, и опасаясь, как бы с ним не случилось неприятности, я поехал вслед за ним. Он устало тащился по дороге, осыпая проклятиями лошадь и волоча за собой остатки седла. Мы пошли к хозяину, который проявил поразительное великодушие — поскольку все части седла были возвращены и годились для починки, он удовлетворился всего шестью реалами, хотя мы думали, что придется отдать несколько долларов. Когда ему указали на лошадь, забравшуюся чуть ли не на вершину горы, он, покачав головой, произнес: «No importa!» («Неважно!»), давая этим понять, что их у него достаточно.

Возвратившись в город, мы увидели толпу на площади у главной пульперии. Все эти мужчины, женщины и дети сгрудились вокруг пары боевых петухов, которые с разбегу наскакивали друг на друга, а народ веселился и кричал так, словно наблюдал за схваткой борцов. Зато бык, к общему разочарованию, не оправдал надежд, он сломал барьер и сбежал, а найти замену ему было уже поздно, так что зрителям пришлось довольствоваться петушиным боем. Один из бойцов получил удар в голову и, лишившись глаза, сдался. Тогда принесли двух других петухов прямо-таки гигантских размеров. Они-то и были гвоздем программы. Двое мужчин вступили в круг, держа соперников у себя на руках. Опустившись от возбуждения на четвереньки и поглаживая драчунов, они начали раззадоривать их. Тут же

заключались крупные пари, и, как часто бывает на любых состязаниях, исход боя некоторое время оставался неясен. Оба петуха выказывали немалый пыл и дрались, может быть, дольше и лучше, чем смогли бы их хозяева. Не помню уже, кто из них одержал верх, красный или белый, но победитель отошел с видом истинного триумфатора, который «veni — vidi — vici» («пришел — увидел — победил»), оставив хрипевшего противника лежащим на «борту».

Потом в толпе послышались слова «ćaballos» и «carréra» («лошади», «скачка»), и, увидев, что народ устремился в одном направлении, мы пошли следом и неподалеку на окраине города увидели ровную площадку, служившую скаковым кругом. Толпа стала еще гуще, дистанция была уже размечена, судьи стояли на местах, вывели лошадей. Два почтенных джентльмена — дон Карлос и дон Доминго, как их все называли, — заключили пари. Наконец, все было готово. Еще некоторое время чего-то ждали, наездники сдерживали приплясывающих лошадей. Но вот по рядам пронесся крик — и кони, вытянув шеи, понеслись вскачь, сверкая зрачками вылезающих из орбит глаз. Они пролетали мимо нас, словно цепные ядра [27], голова к голове, а через мгновение уже ничего не было видно, кроме крупов и задних копыт, взлетающих в воздух. Вслед за ними бросилась толпа. Когда мы добежали до конечной черты, лошади уже возвращались неторопливым шагом. Говорили, что первой пришла костлявая кобыла с вытянутым туловищем, вырвавшаяся вперед лишь на одну голову. Все наездники были хрупкого телосложения, их руки были оголены до плеч, ноги босые. Лошади хотя и не отличались таким лоском, как их коллеги в бостонских скаковых конюшнях, но их изящные ноги и выразительные глаза выдавали благородное происхождение. Когда возбуждение улеглось, и все было обсуждено до мельчайших подробностей, толпа рассеялась, направляясь обратно в город.

Мы возвратились в большую пульперию, где на веранде все еще взвизгивала скрипка и гнусавила гитара. Солнце садилось, начинались танцы. Танцевали итальянские матросы, и один из наших решился показать себя, к вящему развлечению зевак, выкрикивавших: «Bravo! Otra vez! Viva los marineros!» [28] Впрочем, танцевали пока немногие, так как еще не появились женщины и gente de razón. Нам очень хотелось остаться, чтобы посмотреть, как танцуют в здешних краях, однако хоть мы и наслаждались полной свободой в течение дня, но так и остались простыми матросами, и никто из нас не осмелился бы опоздать к шлюпке даже на час. Мы направились к берегу, и как раз вовремя — шлюпка уже подходила, ныряя среди бурунов. На море ложился

густой туман, который обычно предшествует шторму. Съезжающие на берег пользуются особыми привилегиями с того момента, как покидают судно и до самого возвращения. Посему мы расселись на кормовых боковых банках и уже поздравляли себя с тем, что вернемся сухими, как вдруг большой гребень волны обрушился на шлюпку и обдал нас с головы до ног. Шлюпку наполовину залило и, потеряв отчасти плавучесть, она стала тяжело зарываться в каждую волну. Когда мы выгребли через прибой на глубину, наше суденышко едва держалось на плаву, а вода доходила нам до колен. Небольшим ведерком и собственными шляпами мы вычерпали ее, потом поднялись на борт, сменили платье, съели ужин, рассказали, как принято, о всех наших приключениях и, покурив перед сном, завалились на койки. Так закончилось наше второе знакомство с берегом.

В понедельник, как возмещение за воскресные развлечения, нас всех поставили смолить такелаж. Одни устроились на горденях, чтобы спускаться по штагам и бакштагам, другие обрабатывали ванты, топенанты и прочее, начиная с реев и постепенно спускаясь на палубу. Мы вывернули свои мешки, достали старые просмолившиеся штаны и куртки, которые мы надевали при просмолке, и к восходу солнца уже работали. После завтрака мы имели удовольствие наблюдать, как от итальянца отвалила шлюпка, полная празднично одетых матросов, распевавших свои баркаролы. На берегу пасхальные праздники длятся три дня, и команды католических судов пользуются привилегией принимать в них участие. А мы, забравшись на рангоут в своей замызганной одежде, лишь наблюдали, как все эти дни они съезжали по утрам на берег и возвращались только к вечеру в самом веселом настроении. Вот что значит быть протестантом. Можно не опасаться распространения католичества в Новой Англии, ведь янки вечно заняты. Американские капитаны заставляют своих матросов работать чуть ли не на три недели больше в году, чем на католических судах. Янки почти никогда не соблюдают Рождества, а что касается Дня Благодарения, то в море о нем не вспомнит ни один капитан, и Джек-матрос остается вообще без праздников.

Около полудня с марса раздался крик: «Парус!» — и мы увидели передние паруса огибавшего мыс судна. Когда оно повернулось к нам бортом, то оказалось, что это бриг полной оснастки, несущий флаг янки. Мы подняли свои «звезды и полосы» и, так как знали, что на всем побережье нет ни одного американского брига, кроме нашего, обрадовались случаю получить новости с родины. Бриг обогнул мыс и стал на якорь, однако смуглые лица матросов, убиравших паруса на реях, и

совершенное столпотворение на палубе ясно показывали, что судно пришло с островов. К нашему борту сразу же подошла шлюпка, доставившая его капитана, и от гребцов мы узнали, что они пришли из Оаху и точно так же, как «Аякучо» и «Лориотта», возят грузы между Сандвичевыми островами и портами Перу и Чили. Капитан и помощники, а также часть команды на бриге были американцы, остальные — островитяне. Это судно называлось «Каталина» и, как другие суда, занятые подобными перевозками, за исключением «Аякучо», имело судовые документы и флаг от Дядюшки Сэма. Они, конечно, не сообщили ничего нового, чем немало разочаровали нас, ибо мы поначалу решили, что это и есть то судно, которое ожидалось из Бостона в ближайшее время.

Простояв почти две недели и взяв все шкуры, какие только были, мы подняли паруса и пошли в Сан-Педро. Там мы застали тот самый бриг, которому мы помогли сняться с мели. На нем уже собралась смешанная команда из американцев, англичан, сандвичевых островитян, испанцев и индейцев. Несмотря на свое малое водоизмещение, он имел в три раза больше матросов, чем у нас, и это было никак не лишним, ибо командовали им калифорнийцы. Никакие другие суда в мире не комплектуются людьми столь скупо, как американские и английские, и в то же время никто не может сравниться с ними в морском деле. У янки на таком бриге работало бы не больше четырех матросов. Итальянцы держали на своем судне тридцать человек, почти втрое больше против одинакового с ним по тоннажу бостонского «Элерта», и тем не менее «Элерт» ставил паруса и снимался с якоря в два раза быстрее, а пока они кричали все разом, как свифтовские дикари иеху, и бегали по всему судну, отыскивая кат-блок, янки успевали выбрать оба якоря.

Только в одном итальянцы имели преимущество перед нами — им было легче работать благодаря пению. Ведь янки думают лишь о том, чтобы выиграть время и деньги и как нация еще не научились понимать, что и музыка может быть «приобщена к делу». Мы целые мили выгребали на шлюпках к берегу и обратно, да еще с полным грузом, вообще не произнося ни слова, с недовольными лицами. Они же своим пением не только облегчали работу на веслах, но делали ее даже приятной и ободряющей. Воистину:

Усталому рабу грести песнь помогает,
И плеск весла звучит как дальний перезвон,
Что самый лучший брег стократно украшает,
И самый скудный край уже не так тяжел.

После недельной стоянки в Сан-Педро мы снялись на Сан-Диего, намереваясь зайти еще в Сан-Хуан, поскольку сезон зюйдостов уже заканчивался, и нам уже почти нечего было опасаться.

Дело было весной, и Сан-Педро, так же как и все остальные порты на побережье, наполнился китами, которые каждый год наносят подобные визиты на мелководье. Первые дни здесь и в Санта-Барбаре мы следили за ними с большим интересом, выкрикивая каждый раз при появлении кита: «Фонтан!» («There she blows!») [29] Но вскоре это зрелище сделалось совершенно обыденным, и мы перестали обращать на китов внимание. Часто фонтаны «взрывались» совсем близко от борта, а однажды в очень туманную ночь, когда я стоял якорную вахту, кит вынырнул у самого борта и, задев якорный канат, сразу ушел на глубину. По всей видимости, ему не понравилась эта встреча, так как он пустил свой фонтан на порядочном расстоянии от нас. В другой раз мы чуть не наскочили на кита, когда гребли в капитанской шлюпке, и, случись это, нас разнесло бы в щепки или забросило под самые небеса. Мы возвращались с испанского брига и усердно налегали на весла, так что шлюпка неслась словно ласточка. Как всегда во время гребли, наши лица были обращены назад, а капитан, сидевший на руле, зазевался. Вдруг мы услышали у себя за спиной шум фонтана. «Табань! Табань, если хотите жить!» — закричал капитан, лопасти весел заработали в обратную сторону, и мы остановились, окутанные брызгами пены. Повернув головы, мы увидели, как впереди, ярдах в трех или четырех от носа шлюпки, неторопливо проплыл огромный горбатый кит. Если бы мы не стабанили так быстро, то неизбежно врезались бы в него и наш штевень пришелся бы ему как раз по мидель-шпангоуту. Он не обратил на нас никакого внимания и через несколько ярдов нырнул, взметнув высоко в воздух свой хвост. На таком расстоянии мы хорошо разглядели его, но, как легко догадаться, не испытывали ни малейшего желания подходить еще ближе. Это было отвратительное существо с грубой кожей железно-серого цвета. Этот вид сильно отличается от кашалота и, как говорят, много свирепее. Кашалотов мы видели только изредка, ведь большинство подходящих к берегу китов — это финвалы и горбачи, добывать которых значительно труднее, и, кроме того, считается, что из-за малого количества жира с ними не стоит связываться. Вот почему китобойные суда не приходят к побережью. Наш капитан сговорился было с капитаном Наем с «Лориотты», который плавал раньше на китобойце, добыть одного кита экипажами двух шлюпок, но так как у нас было только два

гарпуна и не оказалось подходящего линя, они отказались от этой затеи.

В марте, апреле и мае киты в больших количествах появляются в открытых портах Санта-Барбары, Сан-Педро и других и плавают неподалеку от берега, а некоторые заходят даже в закрытые гавани Сан-Диего и Монтерея. К середине лета они отходят от берега и «пасутся» на прибрежных банках. Во время перехода в Сан-Хуан мы видели несколько великолепных стад кашалотов, которые легко распознаются по высоким фонтанам.

Пройдя вдоль спокойного тихоокеанского берега, мы отдали якорь почти в открытом море на двадцатисаженной глубине, напротив крутого холма, который был вдвое выше нашей бом-брам-стеньги. Мы много слышали об этом месте от матросов с «Лагоды», которые утверждали, что это самая последняя дыра во всей Калифорнии. Берег здесь каменистый и совершенно открыт зюйд-остам. Поэтому суда вынуждены при первых же признаках надвигающегося шторма спешно сниматься и искать спасения в океане. Мы свезли на берег агента и стали ждать, пока он взбирался по тропе, извивающейся по холму, которая вела к невидимой нам миссии. Нам было любопытно взглянуть на это необычное место, и, вытащив шлюпку повыше, хорошенько привязав ее, мы принялись расхаживать по берегу.

Сан-Хуан — единственное романтическое место на этом побережье. Ландшафт здесь на протяжении нескольких миль представляет собой высокое плоскогорье, отвесно обрывающееся к воде, и об этот крутой обрыв непрестанно разбиваются океанские волны, подмывая самое основание берега. Как раз там, где мы подошли к берегу, была небольшая бухточка, скорее, неглубокая излучина, где при полной воде между кромкой воды и основанием холма оставалось несколько квадратных футов песка, — единственное место, пригодное для высадки. Прямо перед нами на высоту четырехсот или пятисот футов вздымалась отвесная скала. Как спускать здесь шкуры и поднимать на плато товары для миссии, было выше нашего разумения. Хотя агент и отправился кружным путем, ему то и дело приходилось перепрыгивать через расселины и карабкаться на крутизну. Однако это нас не насторожило. Видя, что агент будет отсутствовать не меньше часа, мы разбрелись по берегу, собирая раковины вдоль полосы прибоя, где море с ревом обрушивалось потоками воды в расселины между большими скалами. «А каково-то здесь при зюйд-осте!» — подумалось мне. Утесы были не меньше, чем в Ньюпорте и, на мой взгляд, еще величественнее, благодаря своим причудливым изломам. Да и вокруг все поражало грандиозностью, а безмолвие и пустынность придавали

этому месту особенную торжественность. На многие мили вокруг ни единой человеческой души, кроме нас. И никаких других звуков, кроме шумного дыхания Великого океана. А рядом высокий и отвесный как стена холм, отрезающий нас напрочь от мира суши. Я отделился от товарищей и присел на камень в том месте, где набегавшая вода образовывала красивую струящуюся излучину. По сравнению с плоским и унылым берегом остальной Калифорнии подобное величие было столь же живительно, сколь высокий утес среди скучного ландшафта. С тех пор как я покинул дом, едва ли не впервые мне довелось остаться совершенно одному и не ощущать присутствия себе подобных. Все окружающее гармонировало с моими чувствами, и я испытывал истинное наслаждение от сознания того, что свойственные мне прежде романтичность и понимание поэтического не были до конца убиты тем тяжелым трудом и мелкими заботами, которыми была заполнена теперь моя жизнь. Так я просидел почти час, полностью отдавшись созерцанию, пока меня не вывели из этого состояния отдаленные голоса моих товарищей, которые собирались у шлюпки, завидев возвращающегося агента.

Мы пригребли обратно на судно и увидели, что баркас уже спущен и почти полностью нагружен товарами. После обеда все снова отправились на берег, буксируя баркас одной из шлюпок. Приблизившись, мы рассмотрели повозку с волами и две человеческие фигуры, стоявшие на бровке обрыва. Капитан полез кружным путем наверх, приказав мне и еще одному матросу следовать за ним. Нам пришлось прыгать и карабкаться на кручи, продираясь сквозь шиповник и заросли колючего грушевого дерева, пока мы не достигли вершины холма. Оттуда местность просматривалась насколько доставал глаз, она была совершенно ровной, и единственным человеческим обиталищем на многие мили вокруг была маленькая белая миссия Сан-Хуан-Капистрано, к которой прилепились несколько индейских хижин. Она стояла в небольшой лощине приблизительно в миле от нас. Подойдя к тому месту, где остановилась повозка, мы увидели груды шкур и сидевших рядом индейцев. Из миссии медленно двигались еще две повозки. Капитан велел нам начинать, то есть сбрасывать шкуры на берег с кручи. Вот так-то придется расправляться с ними — сбрасывать по одной с высоты целых четырехсот футов! Это обещало быть нешуточным делом. Стоя у самой кромки обрыва и заглядывая вниз, моряки,

> что вдоль берега ходили,
> казались крошечными, словно мыши; и высокий стройный наш корабль,

на якоре стоявший,
уменьшился и стал не более чем шлюпка,
а та вообще была едва приметна глазу.

Мы принялись кидать шкуры вниз, стараясь забрасывать их как можно дальше, но поскольку они были изрядно велики и тверды, да еще сложены пополам, наподобие книжного переплета, ветер подхватывал их, и они кружились в воздухе, то ныряя, то взмывая ввысь, словно воздушные змеи. Было время отлива, и мы могли не опасаться, что шкуры упадут в воду. Едва шкуры достигали земли, люди внизу тут же подхватывали их и, водрузив на голову, несли к шлюпке. Зрелище было действительно захватывающим: огромная высота, летящие вниз шкуры и непрестанное движение людей взад и вперед, а сами люди казались мышатами. Вот вам и вся романтика «шкурного» промысла!

Некоторые шкуры застревали в расщелинах над берегом, но мы бросали другие в том же направлении и сбивали их. Капитан сказал, что в противном случае послал бы на бриг за парой фалов подлинней, и кому-нибудь из нас пришлось бы спускаться по скале и освобождать застрявшие шкуры. Рассказывали, будто несколько лет назад это проделывал какой-то матрос с английского брига. Мы же, заглянув вниз, решили, что такое занятие далеко не из приятных, особенно если заниматься им ради нескольких жалких шкур. Впрочем, никто не уверен в том, на что он способен, пока не доходит до дела. Через каких-то полгода я сам спускался за шкурами в этом месте при помощи пары лисель-брам-фалов.

Перекидав все, мы спустились вниз и увидели, что шлюпка уже нагружена и готова к отходу. Мы взялись за весла, доставили шкуры на борт, выбрали якорь, подняли паруса и еще до захода солнца взяли курс на Сан-Диего.

Пятница, 8 мая 1835 г. Пришли в Сан-Диего, маленькая бухта оказалась совершенно пустой. «Лагода», «Аякучо» и «Лориотта» ушли с побережья, оставив нас в одиночестве. Сараи для шкур на берегу, за исключением нашего, были заперты, а сандвичане, числом от дюжины до двадцати, работавшие для других судов, получили при их отплытии плату, и остались жить на берегу, устроив себе сплошной праздник. Почти у самой воды стояла большая печь, сооруженная, по всей вероятности, для выпечки хлеба матросами какого-нибудь русского судна, посетившего здешние места. Сандвичане завладели ею, и никто не прогонял их оттуда. Она была достаточно просторна, чтобы вместить

восемь — десять человек, имела сбоку дверцу, а наверху дымовое отверстие. Сандвичане устроили себе здесь жилище. Они устлали пол матами, а дымоход в плохую погоду затыкали. Там, в этой печи, жили в великой тесноте чуть ли не двадцать человек, наслаждавшихся полным бездельем, пьянствуя, играя в карты и предаваясь прочим увеселениям. Раз в неделю они покупали быка на мясо, а ежедневно кто-нибудь из них ходил в селение за плодами, крепкими напитками и прочей провизией. Кроме того, на «Лагоде» они закупили бочку сухарей и баррель муки. Так что теперь они только и делали, что радовались жизни и ни о чем не заботились. Поскольку на судне нехватало матросов, капитан Томпсон хотел было взять трех или четырех островитян на «Пилигрим» и, явившись к печи, провел там два часа в безуспешных переговорах. Один из островитян — прекрасно сложенный и сообразительный парень, бывший у них кем-то вроде короля, — говорил от имени остальных. Его звали Маннини, а из уважения к тому влиянию, коим он пользовался, — даже *мистер* Маннини. Известен он был по всей Калифорнии. Капитан предложил пятнадцать долларов в месяц каждому и месячное жалованье вперед, но это было все равно что метать бисер перед свиньями или переливать из пустого в порожнее. Пока у них водились деньги, они не пошли бы работать и за все пятьдесят, зато потом, когда деньги иссякали, соглашались и за десять.

— Что это вы здесь поделываете, мистер Маннини? — спросил капитан.

— Развлекаемся картами, пьем, курим табак, вообще делаем все, что захочется.

— А не желаете ли поработать у меня на судне?

— Сейчас много денег, работать плохо. Кончится все, работать хорошо!

— Но так вы истратите все подчистую, — возразил капитан.

— Наша знает. Не будет денег, канака пойдет работать.

Случай был совершенно безнадежный, и капитан оставил их в покое до той поры, пока у них не выйдут все деньги.

Мы выгрузили шкуры и жир и через неделю были готовы поставить паруса и сняться в наветренную сторону побережья. Мы уже выбрали якоря и были в полной готовности, когда капитан решил сделать еще одну попытку договориться с обитателями печи. На сей раз он повел дело успешнее и уговорил мистера Маннини и трех других перебраться к нам на борт со своими пожитками, после чего спешно отправил меня и юнгу на берег, приказав взять наши вещи и присоединиться к компании, состоявшей при сарае для шкур. Для меня это было

неожиданностью, однако я радовался любой перемене. Мы мигом собрались, и нас отвезли на берег. Пока бриг отходил, я стоял у самой воды, дожидаясь того момента, когда он скроется за мысом. Потом я направился к сараю, где мне предстояло жить несколько месяцев.

Глава XIX
Сандвичевы островитяне

Происшедшая в моей жизни перемена была столь же полной, сколь и неожиданной. В одно мгновение меня превратили из матроса в бичкомбера [30], берегового заготовителя. И надо сказать, что новизна и относительная независимость этой жизни имели свою приятную сторону. Наш склад представлял собой большое строение из неотесанных досок и мог вместить сорок тысяч шкур. В одном углу была отгорожена тесная каморка с четырьмя койками, где нам предстояло жить; полом каморки служила сама мать-земля. Тут же помещался стол и ящик, где хранились котлы, ложки, тарелки и прочая утварь. Для освещения в стене была прорезана узкая щель. Нам оставалось только расставить свои сундуки, бросить на койки матрасы и одеяла — и переселение было закончено. Наверху, над нашими головами, была еще одна комнатка, в которой жил сам мистер Рассел (одно время помощник капитана на «Пилигриме»), заведовавший всем складом. Там он принимал пищу и почивал (что составляло основные его занятия) в величественном уединении. Юнгу Сэма сделали коком, а я вместе с великаном-французом Николя и четырьмя сандвичанами должен был заниматься шкурами. Сэм, Николя и я жили в комнатушке, островитяне же обычно спали в своей печи, хотя работали и ели вместе с нами. Николя был самым крупным из всех виденных мною людей. Судно, на котором он попал в эти места, потерпело крушение, и теперь Николя нанимался работать со шкурами. Он был многим выше шести футов и так широк в кости, что его вполне можно было показывать за деньги. Но самым примечательным в его фигуре были ноги: из-за их величины он не мог найти для себя в Калифорнии подходящих башмаков, и ему пришлось послать заказ в Оаху. Он рассказал мне, как однажды тонул на американском бриге у Гудвин-Сэндса, и когда их спасли, то его отправили в Лондон к американскому консулу полуодетого и без обуви, так что ему пришлось в январе щеголять по улицам в одних чулках, пока консул не позаботился, чтобы для него сшили башмаки по мерке. Физическая сила этого человека соответствовала его комплекции, впрочем, как и его невежество, «он был силен как бык и умен как бык». Николя не умел ни читать, ни писать. Он попал на море с детских лет и на каких только судах не служил: на военных кораблях, «купцах», каперах и даже невольничьих. Однажды, когда мы сошлись ближе, он

сообщил мне по секрету, что ему приходилось заниматься делами и похуже торговли живым товаром. Николя был в Чарльстоне (Южная Каролина) под судом, и его могли повесить. Хотя его и оправдали, но он до того перепугался, что никогда больше не рисковал сунуть свой нос в Штаты. Мне так и не удалось убедить его, что человека не судят дважды за одно дело. Он только твердил свое: если порядочного моряка раз пощадили буруны, то он не станет снова рисковать своими «шпангоутами» [31].

Хотя я и познакомился с историей его жизни, однако никогда не испытывал перед ним страха. Мы прекрасно ужились вместе, и, несмотря на то что француз был намного старше меня и сильнее, он выказывал мне явное уважение по причине моей образованности и происхождения, чего и следовало ожидать от европейца из низших слоев. «Будем с тобой приятелями, — обычно говаривал он, — ведь ты все равно дойдешь до капитана и будешь тогда гонять меня!» Так, держась друг друга, мы прекрасно управлялись и с нашим начальником, который, видимо, побаивался Николя и никогда ни в чем не мешал нам, если дело не касалось шкур. Остальные мои товарищи, сандвичевы островитяне, заслуживают, чтобы о них рассказали особо.

Уже на протяжении нескольких лет между Калифорнией и Сандвичевыми островами велась значительная торговля, и на большинстве судов команды набирались из островитян, которые чаще всего не подписывают никаких контрактов и поэтому в любое время уходят по своему желанию на береговую работу в Сан-Диего или же нанимаются на другие суда вместо американских матросов, которых оставляют на побережье. В Сан-Диего возникла даже небольшая колония сандвичан, избравших это место своей штаб-квартирой. Совсем недавно многие из них ушли на «Аякучо» и «Лориотте», а «Пилигрим» взял мистера Маннини и еще троих, так что теперь их осталось не более двадцати человек. Четверо работали поденщиками на складе «Аякучо», четверо других — с нами, а все остальные мирно жили в своей печи, поскольку деньги у них подходили к концу и надо было растянуть их остатки до подхода других судов, когда можно будет снова наняться на работу. За четыре месяца береговой жизни я хорошо познакомился с ними и старался, как только мог, изучить их язык, обычаи и нравы. Научиться разговаривать с ними можно было только по слуху, ибо у самих островитян нет никаких книг, хотя многие овладели у себя на родине с помощью миссионеров чтением и письмом. Они говорили немного по-английски, но здесь, на побережье, сложилась традиция изъясняться с ними на смешанном языке, что устраивало всех.

Длинное название «островитяне Сандвичевых островов» не привилось, и белые по всему Тихому океану называли их «канаками», что на языке самих сандвичан обозначает, как я полагаю, человеческое существо. Они называют так самих себя и прочих островитян Южных морей, но для обозначения европейцев у них есть особое слово — «хаоле». На обращение «канака» они откликаются как поодиночке, так и все вместе. Поскольку собственные имена этих людей трудно запоминаются и произносятся, их называют как угодно, любыми именами, какие только взбредут в голову капитану или команде. Некоторых кличут по названию судна, других, как и нас, Джеками, Томами или Биллами, а иногда им дают самые причудливые прозвища, вроде Бен-ян, Фор-марс, Каболка, Пеликан и прочее в том же духе. Из четверых островитян, работавших вместе с нами, одного звали мистер Бингэм, в честь миссионера с Оаху; другой, Надежда, был назван так по имени судна, на котором плавал; третьему, Тому Дэвису, дали имя его первого капитана; четвертый, Пеликан, получил такое прозвище якобы из-за сходства с этой птицей. Попадались также Джек-с-Лагоды, Калифорнийский Билл и прочие. Но какими бы именами или кличками их ни называли, они были одними из самых интересных, разумных и добрых людей, встречавшихся в моей жизни. У меня возникла искренняя привязанность почти к каждому из них. Это чувство сохранилось во мне по сей день, так что я многое бы дал за одно только удовольствие снова повидаться с ними, и во мне всегда будут возникать теплые чувства при простом упоминании об этих островитянах.

Том Дэвис умел читать, писать и знал все четыре действия арифметики. Он бывал в Соединенных Штатах и недурно говорил по-английски. Он был образован не хуже, чем три четверти обретающихся в Калифорнии янки, а что касается манер и принципов поведения, то он намного превосходил их. Он схватывал все с такой легкостью, что его нетрудно было бы обучить навигации и основам многих наук. Зато старина мистер Бингем говорил по-английски очень плохо и не умел ни читать, ни писать, однако это был добрейший человек на всем свете. Ему перевалило за пятьдесят, и у него не хватало двух передних зубов, некогда выбитых его же родителями в знак траура после смерти великого сандвичева короля Камехамехи. Мы всегда говорили ему, будто он лишился зубов, когда поедал капитана Кука. Только это могло рассердить его. Он приходил в сильное возбуждение и отвечал: «Аоле! (Нет!) Не ел капитан Кук. Я пиканини, маленький, такой вот! Отец видел, я не видел».

Мистер Бингэм был у них вроде патриарха, и к нему

относились с величайшим почтением, хотя он и не имел того образования и той энергии, кои отличали мистера Маннини. Я часами разговаривал со стариком о Камехамехе — Карле Великом Сандвичевых островов; его сыне и наследнике Рихо-Рихо, который умер в Англии, а тело его было доставлено на Оаху фрегатом «Блонд» под командой лорда Байрона и чьи похороны мистер Бингэм прекрасно помнил. Мы также беседовали про обычаи времен его детства и о переменах, произведенных миссионерами. Он никогда не хотел признать, что у них ели людей, да и в самом деле обвинить столь разумных и цивилизованных людей в таком варварстве значило бы нанести им тяжкое оскорбление. И в самом деле, пожалуй, ни один народ на земле, известный истории, не сумел за столь короткое время уйти так далеко вперед, вырвавшись из состояния варварства. Я мог бы доверить не только все свое состояние, но и саму жизнь любому из них, а уж если бы мне понадобилась какая помощь, если бы мне пришлось просить кого-либо о самопожертвовании, я, несомненно, обратился бы к сандвичанам Ведь наши янки в подобных случаях сначала долго соображают, какая им будет от этого выгода. Обычаи канаков и их манера обращения друг с другом обнаруживают их душевную простоту и первозданную щедрость, которые воистину поразительны и являются живым упреком всем европейцам. Что есть у одного, принадлежит всем. Они делятся деньгами, едой и одеждой, вплоть до последней щепотки табака. Однажды я слышал, как мистер Бингэм ответил с величайшим негодованием купцу-янки, который хотел убедить его, что денежки лучше попридержать для себя: «Нет! У нас не так. Одному деньги — всем деньги. А ты — один получил, сундук запер. Нехорошо! Все канака, как один!» Они придерживаются этого принципа настолько твердо, что никто из них не начнет есть, не предложив прежде пищу всем окружающим. Я видел, как сандвичанин разделил сухарь, по праву принадлежавший только ему, на пять частей, хотя сухарь составлял весь его скудный рацион из-за нехватки в то время съестных припасов на побережье.

Больше других нравился мне Надежда, которого любили и матросы, и помощники капитана, и вообще все, кто знал его. Это был смышленый и добрый парень. Я ни разу не видел, чтобы он рассердился, хотя белые нередко дурно обходились с ним, особенно это относится к грубым помощникам с разных судов. Он отличался неизменной вежливостью, был очень услужлив и всегда помнил добро. Однажды мне пришлось ухаживать за ним, когда он болел; я даже таскал для него с судна лекарства, в то время как ни капитан, ни его помощники не пожелали даже

слышать о нем, и он не забыл мне этого. У каждого канаки есть свой особенный друг — aikane, ради которого он готов пойти на все, даже на величайшие жертвы. Вот таким другом Надежда избрал меня. Полагаю, не существовало на свете такого, чего он не отдал бы мне. А я был его товарищем среди американцев и учил буквам и цифрам. Он очень интересовался Бостоном (как у них принято называть Соединенные Штаты), задавал множество вопросов о домах, людях и прочем и всегда просил объяснить смысл картинок, попадавшихся в книгах. Вообще канаки способны схватывать все на лету, и многое из того, что казалось мне совершенно недоступным для их понимания, они осваивали в одно мгновение. Однако железные дороги и пароходы, изображенные в некоторых из бывших у меня газет, вызывали величайшие трудности. Назначение шпал, рельсов, устройство вагонов они понимали без особого труда, однако сам принцип движения, проистекающего от действия пара, им никак не давался. Однажды для наглядности объяснения я даже прибегнул к помощи кастрюль на камбузе, но неудачно — скорее в этом было виноват мое собственное невежество, чем непонятливость учеников. Такие же трудности возникли и с пароходами, и здесь я ограничился только сведениями о скорости этих последних, ибо мог восполнить недостаточность знаний лишь пересказом фактов. В этом меня поддержал Том, который побывал в Нантакете и видел там пароходик, ходивший в Нью-Бредфорд. Мне было всегда странно слушать рассказы Тома об Америке, ведь бедняга, дважды обойдя Горн, так ничего и не увидел, кроме Нантакета.

Карта мира, которую я как-то показал им, завладела их вниманием на много часов. Те, кто умел читать, выискивали разные точки на карте и спрашивали о расстояниях между ними. Помню, как меня позабавил вопрос, заданный Надеждой. Указав на большие белые пятна около полюсов, которыми обозначают то, что еще не исследовано, он спросил: «Пау?» («Конец? Ничего нет?»)

Способ наименования улиц и нумерации домов был им вполне понятен. Все они очень хотели побывать в Америке, но боялись идти вокруг Горна, так как сильно страдают от холода и наслышались страшных рассказов от тех, кому пришлось испытать это.

Они часто курят, хотя и понемногу зараз, и пользуются трубками с очень большими чубуками и короткими мундштуками, а то и вовсе без них. Раскурив трубку, они глубоко затягиваются, набирают как можно больше дыма в легкие и, раздувая щеки, медленно выпускают его через рот и ноздри. Затем трубку передают соседу, так что одной порцией табака

могут наслаждаться с полдюжины курильщиков. Сандвичане никогда не делают коротких и быстрых затяжек, как европейцы; одной «затяжки Оаху», как называют такой способ курения моряки, хватает обычно на час-два, пока кто-нибудь еще не зажжет трубку, и тогда она опять идет по кругу. На калифорнийском берегу у каждого канаки всегда при себе трубка, кремень, огниво, трут, небольшой запас табака и матросский нож. Спички в то время еще не вошли в употребление, и, я думаю, их не было ни на одном калифорнийском судне.

Но что поражает в канаках больше всего, так это их манера петь. Они низко и гортанно выводят монотонную мелодию, причем губы и язык остаются почти неподвижными, и звуки, по всей видимости, модулируются только в гортани. Мотив весьма односложен, а слова песни, насколько я мог судить, чистая импровизация. Обычно поется о людях и предметах, которые вокруг них; канаки прибегают к такой манере пения, если не хотят, чтобы их поняли чужие. Это им удается очень хорошо, ибо, даже обратившись весь в слух, я не мог разобрать при этом ни единого слова. Я часто слушал, как мистер Маннини, который считался у них самым знаменитым импровизатором, тянул песню по целому часу, когда ему случалось работать среди англичан и американцев. По возгласам и смеху сандвичан, работавших поодаль, было очевидно, что он распевал про тех, кто находился рядом с ним. Канаки — большие насмешники и превосходные мимы. Часто они обнаруживали в нас и тут же воспроизводили такие особенности поведения, о которых мы даже не подозревали сами.

Таковы были люди, с которыми мне предстояло провести несколько месяцев на берегу и которые, если не считать помощника, француза Николя и юнги, составляли все здешнее население. Естественно, я исключил из этого числа собак, составлявших, однако, немаловажную часть нашей колонии. Они были завезены сюда на первых же судах, с тех пор сильно размножились и стали сильным народцем. Когда я жил на берегу, их насчитывалось около сорока и, вероятно, столько же, если не больше, каждый год тонуло, бывало убито и прочее. Эти собаки выполняют полезную работу сторожей — местные индейцы боятся появляться на берегу ночью, ибо невозможно приблизиться к складам даже на полмили, не вызвав всеобщего переполоха. Патриарх собачьей колонии, старик Сэйчем (так называлось судно, на котором его привезли), околел в преклонном возрасте как раз во время моего пребывания на побережье и был достойно похоронен. Из остальной живности можно отметить нескольких свиней и кур. Все они, подобно собакам, держались вместе, хотя и

кормились на тех складах, к которым принадлежали.

Не прошло и нескольких часов после того, как я сошел на берег, а «Пилигрим» скрылся из виду, как раздался крик: «Парус!», и из-за мыса показалась маленькая бригантина. Она обогнула его и стала на якорь. Это был мексиканец «Фазио», виденный нами в Сан-Педро. Теперь он собирался выгрузить на берег привезенное сало, проверить его, сшить новые мешки, погрузить все обратно в трюм и уйти из Калифорнии. Мексиканцы соорудили на берегу небольшую палатку и принялись за работу. Происшедшая перемена придала разнообразие нашему обществу, и мы провели много вечеров в их палатке среди вавилонского столпотворения английского, испанского, французского и канакского языков, и все же умудрялись понимать и подбирать нужные всем слова.

На второй день утром я приступил к своим новым обязанностям заготовителя шкур. Чтобы дать читателю ясное представление об этом, надо полностью описать все, что происходит со шкурой, начиная с того момента, когда ее содрали с вола, и вплоть до погрузки в трюм. После того как шкура отделена, в ней по краям делаются проколы, и ее растягивают кольями для просушки. Таким образом кожа не сморщивается. Когда шкуры высушены на солнце и сложены пополам шерстью наружу, их грузят на суда в разных портах побережья и доставляют на склады в Сан-Диего, а там складывают в кипы на открытом воздухе. Вот тут и наступает черед обработчиков.

Сначала производится вымачивание шкур. При наступлении малой воды их переносят на приливную полосу и связывают веревками в небольшие кипы, которые затем затопляются приливом. Каждый день мы вымачивали по сто пятьдесят штук — по двадцать пять на брата. Вымачивать надо не менее сорока восьми часов, после чего шкуры отвозят на тачках к чанам с очень крепким рассолом, который получают, засыпая большое количество соли в морскую воду. В рассоле шкуры отлеживаются еще сорок восемь часов. Здесь они по-настоящему пропитываются солью, ибо первое вымачивание в морской воде служит лишь для размягчения и очистки. Затем их выдерживают в течение суток на помосте, а потом тщательно растягивают кольями на земле шерстью наружу, чтобы они равномерно высохли и сделались гладкими. Пока шкуры мокрые и податливые, мы срезали ножами все оставшиеся на них куски мяса и сала, от которых может загнить весь груз во время многомесячной перевозки в трюме, а также уши и флипперы — неровности по краям, мешающие плотной укладке в трюме. Это самое трудное дело, так как срезать надо очень умело, чтобы не повредить кожу. На все

уходило немало времени, поскольку вшестером мы должны были ежедневно очищать полторы сотни шкур, и возиться с каждой приходилось немало, ибо испанцы обдирают волов очень неаккуратно. Во время очистки шкур приходится становиться на колени, и от этого с непривычки у меня сильно болела спина. В первый день я обработал всего восемь штук, но через несколько дней удвоил это число, а недели через три уже не отставал от других и осиливал все двадцать пять.

Обдирку шкур надо непременно заканчивать до полудня, иначе они пересохнут. Продержав шкуры несколько часов на солнце, по ним тщательно проходят скребком, чтобы снять выступивший от жары жир. После этого выдергиваются колышки, на которых растянута шкура, ее аккуратно складывают пополам шерстью наружу и оставляют досушиваться. В середине дня шкуры переворачивают на другую сторону, а к вечеру складывают в кипы. На следующий день их расстилают сызнова, и если к вечеру они окончательно высыхают, их перебрасывают через горизонтальную жердь по пять разом и колотят цепами, чтобы выбить всю пыль. Теперь, когда они просолены, выскоблены, вычищены и выбиты, их складывают в сарай. Этим завершается вся эпопея, и, прежде чем судно отправится в обратный рейс на родину, остается лишь вынести шкуры из склада, снова выбить, погрузить в трюм и доставить в Бостон. Там их окрасят и превратят в башмаки, туфли и другие предметы, многие из которых, вполне вероятно, попадут обратно в Калифорнию и будут куплены теми, кто занимается разведением волов и обдиркой шкур.

Итак, закладывая ежедневно в рассол по сто пятьдесят шкур, мы одновременно обрабатывали такое же количество, то есть сто пятьдесят находились в рассоле, сто пятьдесят на промывке и столько же приходилось сушить, чистить, выколачивать и складывать в сарай. И так ежедневно без перерыва, за исключением воскресений, ибо, согласно обычаю, не нарушавшемуся еще ни одним капитаном и ни одним агентом на этом берегу, воскресенье всегда соблюдалось как день отдыха. В субботу вечером все находящиеся в работе шкуры накрывают и оставляют так до понедельника. По воскресеньям у нас не было никаких дел, разве что забить бычка, которого каждую неделю, нередко по воскресеньям, пригоняли нам на пропитание. Немалое преимущество такой жизни состояло еще и в том, что с нас требовали строго определенную работу и не больше. Все остававшееся время принадлежало нам, и поэтому никого не надо было погонять. Мы поднимались с первыми лучами солнца, завтракали до восьми и обычно заканчивали «дневной урок»

между часом и двумя пополудни. В два часа все обедали, и время до вечера было в нашем распоряжении. Только перед самым закатом солнца мы выколачивали просохшие шкуры и складывали их в сарай. При таком распорядке днем мы выкраивали для себя по три часа свободного времени, а после захода солнца никогда вообще не работали. Здесь не надо было ни стоять вахту, ни брать рифы на марселях. По вечерам мы обычно ходили друг к другу в гости, и я нередко захаживал на часок проведать обитателей печи, которую все прозвали «Отель Канака», «Кофейня Оаху». Сразу после обеда мы устраивали непродолжительную сиесту в награду самим себе за ранний подъем, а остаток дня проводили по собственному усмотрению. Я чаще всего читал, писал, шил или чинил одежду. Нужда, мать изобретательности, обучила меня и этим двум ремеслам. Сандвичане же спали или курили за разговорами у своей печи, а мой напарник Николя, не умевший ни читать, ни писать, проводил время в непрерывной дрёме с трубкой в зубах или прогуливаясь к другим складам. На наше свободное время никто не покушался, ибо капитанам было хорошо известно, как оно нам достается, и если бы они стали вмешиваться в наши дела, то мы легко смогли бы растянуть обработку своих двадцати пяти шкур на целый день. Кроме того, мы пользовались определенной независимостью, поскольку управляющий не имел с нами никаких других дел, если они только не относились к шкурам, и хотя мы не могли уходить в город без его позволения, не было случая, чтобы он отказал нам в этом.

Тяжесть мокрых шкур, которые нужно было возить в тачках, непрестанная работа в согнутом положении над растянутыми шкурами, вонь от чанов, в которых нам приходилось стоять по колено в рассоле, чтобы утаптывать шкуры, — все это делало нашу работу неприятной и утомительной. Но мы скоро притерпелись ко всему, а относительная свобода примиряла нас с таким существованием. Здесь никто не «затемнял» нас и не изводил придирками, а когда дневной урок был выполнен, нам оставалось только постирать одежду, переодеться и наслаждаться покоем Впрочем, были и исключения: дважды в неделю нам приходилось ходить за дровами для кухни. В окрестностях Сан-Диего леса очень мало, а настоящих деревьев — ни единого на многие мили вокруг. В городке жители отапливают дома сучьями кустарника, за которыми посылают индейцев. К счастью, здешний климат столь мягок, что дома не нуждаются в обогреве, и огонь разводят только для приготовления пищи. Добывание топлива было великой обузой, ибо вся более или менее подходящая растительность вблизи складов была давно вырублена, и нам

приходилось ходить за сучьями за милю или две и тащить их на собственных спинах, так как в холмистой местности пользоваться ручной тележкой было невозможно. Два раза в неделю, обычно по понедельникам и четвергам, сразу же после обеда мы отправлялись на заготовку, и каждый вооружался топором и длинной веревкой. Сзади тащили тележку, вслед за которой бежала вся собачья колония, не упускавшая случая посетить заросли и всегда приходившая в возбуждение при виде наших приготовлений. Мы тянули за собой тележку, пока для этого была хоть малейшая возможность, после чего оставляли ее где-нибудь на открытом месте, а сами разбредались в разные стороны, каждый своим курсом. Нередко приходилось удаляться от тележки чуть ли не на целую милю. Отыскав подходящие заросли, нам прежде всего приходилось расчистить подлесок, чтобы подступиться к самим деревцам. Деревца эти редко превосходят по высоте пять или шесть футов, а самое высокое, виденное мною, было не больше двенадцати, так что после срезания множества мелких сучьев от самого дерева оставалось совсем немногое. Нарубив достаточное количество сучьев, для того чтобы можно было унести их на спине, оставалось связать их веревкой и, взвалив себе на плечи, брести с топором в руке вверх и вниз по холмам к тележке. Чтобы наполнить ее, каждому приходилось собрать по две добрых ноши, и только после этого можно было медленно возвращаться к берегу. Мы появлялись там только к закату, завершая день разгрузкой тележки, укрыванием на ночь шкур и ужином.

И все-таки эти экспедиции за дровами всегда доставляли нам удовольствие. Ходить по лесу в сопровождении своры собак, вспугивать по дороге птиц, змей, зайцев и лисиц, разглядывать диковинные деревья, цветы и птичьи гнезда было намного приятнее однообразной судовой работы, где всегда что-либо выбираешь или на что-либо наваливаешься. Нередко с нами случались всяческие приключения. Здесь, как и в остальной Калифорнии, водится множество койотов, о которых я уже упоминал. За ними неутомимо охотились наши собаки и зачастую устраивали настоящую погоню, хотя настигнуть этих «нахалов» им удавалось весьма редко. Койот не уступит собаке в поединке, но поскольку за нами увязывалась целая свора, почти никогда не случалось честной схватки один на один. Как-то раз одна из наших собак, правда не очень крупная, напала на койота, но ей пришлось так плохо, что, не приди мы на помощь, она могла бы поплатиться жизнью. Правда, у нас все же был пес, доставлявший койотам много неприятностей. Это было отличное крупное животное, превосходившее по силе и резвости многих своих

сородичей. Он родился в Англии от мастиффа и борзой. От матери он унаследовал вытянутую морду, длинные ноги, поджарое туловище и пружинящую походку, от отца — тяжелые челюсти и широкую грудь. Когда пса привезли в Сан-Диего, один английский матрос заметил, что мордой он похож на герцога Веллингтона, которого этот англичанин видел однажды в Тауэре. И действительно, в нем было что-то, напоминавшее черты герцога. С тех пор его звали не иначе, как Велли, и он сделался общим любимцем. Когда случалась погоня за койотами, этот пес всегда опережал других собак на несколько ярдов, и, кроме того, ему удалось задавить двух этих зверей в честных поединках. Наша свита нередко развлекала нас. Бывало, послышится отрывистый лай койота, и в то же мгновение собаки срывались в погоню со всех ног. Велли, как всегда, шел впереди, и казалось, будто он летел над кустами, а за ним Фанни, Фелисианы, Чайлдерсы и прочие спаниели и терьеры. Позади двигались тяжелые силы — бульдоги и прочие, у нас были собаки всех мастей и пород. Преследование чаще всего кончалось неудачей, и через каких-нибудь полчаса собаки, едва переводя дух, возвращались назад.

Иногда собаки ловили зайцев и кроликов, которые здесь встречаются в изобилии, и мы тоже часто стреляли себе этих зверьков на обед. Среди прочих животных только одно не доставляло мне никакого удовольствия, я говорю о гремучей змее. Особенно много этих рептилий бывает весной. Первые два месяца во время экспедиций за дровами не было такого случая, чтобы мы не вспугнули хотя бы одну из них. Прекрасно помню, как я увидел гремучую змею впервые. Я отделился от своих товарищей и начал было махать топором, когда из самой гущи зарослей, всего в нескольких ярдах от меня, послышалось шипение. Этот резкий непрерывный звук напоминает свист пара, выпускаемого из малой трубы парохода, хотя он и не столь громкий. Рядом стучал топором один из моих товарищей, и я окликнул его, но он не принял меня всерьез и смеялся над моими страхами. Устыдившись, я решил не оставлять свое место. Я уже знал, что пока слышно шипение, можно не опасаться нападения, так как эти змеи не издают звуков во время движения. Посему я продолжал работать и, судя по непрерывному шипению змеи, лишил ее покоя. Раза два змея умолкала на короткое время и я, ощущая некоторую робость, отступал на несколько шагов и бросал что-нибудь в заросли. Когда шипение возобновлялось, я успокаивался. Таким манером я нарубил «полный груз», увязал сучья и только тогда счел возможным без ущерба для своей репутации призвать остальных. Мы собрались все вместе и повели

атаку на кусты. Огромный француз, которого я призвал на помощь, сначала ничуть не меньше моего опасался приближаться к змее. Даже собаки были испуганы шипением и предпочитали лаять, держась от нее на почтительном расстоянии. Зато канаки не выказали ни малейшего страха и, вооружившись длинными палками, вошли в заросли. Несколько ударов палками и брошенные камни, по-видимому, прогнали змею, и мы потеряли ее след, однако новый залп камней снова вызвал шипение, и наше наступление продолжалось. Наконец, противник был выгнан на открытое место, и мы увидели, как он уползает, подняв голову и хвост. Метко брошенный камень сбросил гада футов на двадцать вниз по склону. Добив змею, мы спустились, чтобы рассмотреть ее, и один из канаков отрезал хвост с погремушкой [32] на конце. Говорят, что количество колец (сегментов) зависит от возраста змеи, хотя индейцы верят, будто они указывают на число ее жертв. Мы сохраняли эти хвосты в качестве трофеев и к концу лета собрали порядочную коллекцию. Никто из нас не пострадал от змей, но одна собака сдохла после укуса, а вторая едва выжила. Никакого лекарства на этот случай у нас не было, хотя, по слухам, Местным индейцам известно одно средство, а наши канаки говорили, будто у них есть какая-то целебная трава. К счастью, воспользоваться ею нам не представилось случая.

Как я уже говорил, кролики и зайцы здесь в изобилии, а зимой на воде появляется множество диких гусей и уток. Многочисленны и вороны, которые часто слетались к нашим шкурам выщипывать засохшие кусочки мяса и сала. Медведи и волки водятся больше в северной части берега, на некотором удалении от него (во время нашего пребывания там в нескольких милях от Сан-Педро медведь загрыз человека), но мы не встречали их. Кроме других животных, были еще лошади. Больше дюжины лошадей находилось в распоряжении нашей береговой команды. Мы отпускали их свободно пастись по соседним холмам с длинными кожаными веревками на шее. Они неизменно приходили раз в день, чтобы напиться у нашего колодца. Мы заплатили за каждую по шесть — восемь долларов и содержали как общую собственность. Одна из них всегда была привязана около дома, так что, оседлав ее, мы могли поймать всех остальных. Среди них попадались действительно отменные экземпляры, доставлявшие нам немало удовольствия во время поездок в пресидио и по окрестностям.

Глава XX
Новоприбывшие

После того как мы провели на берегу несколько недель и начали привыкать к своей новой жизни, ее однообразие было нарушено появлением с наветра двух других судов. Как-то мы сидели за обедом в нашей клетушке, когда раздался крик: «Парус!» Впрочем, это вовсе не обязательно обозначало прибытие судна, так как то же самое кричали и при виде бредущей из городка женщины или воловьей упряжки и вообще всего необычного, что только появлялось на дороге. Поэтому мы даже не подумали прерывать нашу трапезу. Но всеобщее волнение и шум на берегу настолько усилились, что пришлось все-таки подойти к дверям. Здесь нашим глазам предстало волнующее зрелище: два парусника, накренившись от сильного норд-веста, огибали мыс. У нас все пришло в движение, высказывались самые разные предположения. Некоторые говорили, что это «Пилигрим» вместе с ожидавшимся из Бостона судном. Вскоре, однако, не осталось никаких сомнений — бриг не был «Пилигримом», а судно со снятыми брам-стеньгами и грязными бортами никак не походило на щегольского бостонца. Когда они подошли ближе, мы рассмотрели высоко поднятый ют, возвышенный полубак и другие признаки итальянского судна «Роса». Бриг же оказался той самой «Каталиной», которую мы видели в Санта-Барбаре сразу после ее прихода из Вальпараисо. Новоприбывшие стали на якорь и начали разгружать шкуры и сало. «Роса» наняла сарай, принадлежавший «Лагоде», а «Каталине» досталось пустовавшее строение, расположенное рядом с нашим складом, так что теперь все сараи оказались заняты, и в течение нескольких дней на берегу царило необычайное оживление. В команде «Каталины» были канаки, и соотечественники на берегу немедленно завладели ими и увели всех к печи где они о чем-то таинственно переговаривались и непрестанно курили. Двое французов с «Росы» каждый вечер приходили в гости к Николя. От них мы узнали, что «Пилигрим» находится в Сан-Педро и теперь это единственное судно из «дома» в калифорнийских водах. Несколько итальянцев оставались ночевать на берегу в своем сарае, и почти каждый вечер мы наслаждались их пением. Они пели все что угодно — от баркарол до деревенских мотивов, и нередко я узнавал известные оперные арии и романсы. Нередко певцы объединялись в хор, причем каждый вел свою партию, это было очень красиво благодаря превосходным голосам и общему

воодушевлению.

Много матросов каждый вечер съезжали на берег, и мы коротали время, переходя от одного склада к другому и прислушиваясь к разговорам на самых разных языках. Но общим для всех оставался, конечно, испанский, потому что каждый хоть немного знал его. В числе сорока или пятидесяти человек у нас были представители почти всех наций, известных под солнцем, — два англичанина, трое янки, два шотландца, два валлийца, один ирландец, трое французов (двое из Нормандии, один из Гаскони), один голландец, один австриец, два-три испанца (из самой Испании), полдюжины испано-американцев и метисов, двое индейцев, негр, мулат, около двадцати итальянцев изо всех уголков Италии, почти вдвое больше сандвичан и даже таитянин и канака с Маркизских островов.

Накануне отплытия судов европейцы собрались в сарае «Росы» и развлекались пением на всех языках. Немец исполнил «Ach! Mein lieber Augustin» [33], трое французов во все горло прокричали «Марсельезу», англичане и шотландцы угостили нас своими «Правь, Британия!» и «Кто же будет королем, как не Чарли?». Итальянцы с испанцами «изобразили» какие-то народные песни, так что я ничего не понял, а наши янки пытались «преподнести» «Звездно-полосатое знамя». Когда все отдали дань своему национальному, австриец пропел очаровательную любовную песенку, а французы с жаром исполнили «Sentinelle! O prenez garde à vous!» [34], после чего последовал melange, то есть каждый ударился, кто во что горазд. Когда я уходил, «агуардиенте» [35] уже порядочно затуманила головы, все пели и говорили разом, перебивая друг друга; ругательства на всех языках раздавались столь же часто, как и обращения к соседям. На следующий день оба судна снялись с якорей и оставили нас единственными обитателями опустевшего побережья. Впрочем, наше число возросло благодаря открытию новых складов, а само «общество» несколько разнообразилось. Сараем «Каталины» стал заведовать пожилой шотландец Роберт. Подобно большинству своих соотечественников, он получил некоторое образование и любил вмешиваться в чужие дела, а кроме того, был слишком высокого мнения о своей персоне, что выглядело довольно нелепо. Все свободное время этот человек посвящал принадлежавшим ему свиньям, цыплятам, индюкам, собакам и прочей живности, а также своей длинной трубке. У него в сарае все сверкало чистотой, и распорядок дня он соблюдал с точностью хронометра. Держался шотландец большей частью обособленно, и его нельзя было считать ценным приобретением для нашего общества. За все время пребывания на берегу он не

истратил ни цента, благодаря чему заслужил репутацию никчемного товарища. Когда-то он служил унтер-офицером на британском фрегате «Дублин» под командованием лорда Джеймса Таунсэнда и по этой причине считал себя весьма важной птицей. Управлявший сараем «Росы» австриец Шмидт свободно говорил, читал и писал на четырех языках. Родным языком для него был немецкий, но поскольку он родился неподалеку от итальянской границы и плавал на судах из Генуи, то в совершенстве постиг итальянский. Шесть лет он прослужил в британском королевском флоте, где научился английскому. Затем он долго плавал с испанцами и приобрел такие познания в их языке, что даже мог читать по-испански книги. Ему было лет сорок, может быть, пятьдесят, и он являл собой странную смесь военного моряка и пуританина. Шмидт любил поговорить о благопристойности и праведной жизни, постоянно раздавал советы молодым матросам и канакам, но сам редко возвращался из города без «трех взятых рифов». Однажды в праздник они со стариком Робертом так разогрелись, перебирая все свои бесчисленные истории и потчуя друг друга добрыми советами, что возвратились вдвоем на одной лошади, но слезть с нее уже не могли и повалились прямо на песок. Сие событие положило конец их притворству, хотя никто из моряков так и не рассказал им, как завершилась их вылазка в город. В тот вечер, когда мы веселились в сарае «Росы», я видел, как старый Шмидт стоял у большой бочки, держась за нее руками, и внушал себе: «Держись Шмидт, держись, старина, иначе ты уже не поднимешься!» Тем не менее это был рассудительный добряк, у которого сундук распирало от книжек, и он охотно давал мне их для прочтения. В том же складе жили француз и англичанин, причем последний являл собой истинного «Джека с военного флота», то есть он был моряком до мозга костей, человеком благородным и открытым, но тем не менее то и дело опускавшимся до состояния свинского опьянения. Он положил себе за правило напиваться всякий раз, как попадал в пресидио, и тогда уже непременно ночевал в канаве, обобранный до последнего гроша. Эти люди, да еще с полдюжины канаков и пополнили наше общество.

Недель через шесть после отплытия «Пилигрима» мы обработали и уложили все оставленные им шкуры. Все вокруг было вычищено, чаны опорожнены, повсюду наведен порядок, и нам не оставалось никаких других дел, кроме как снабжать себя топливом. Вместо того, чтобы, как обычно, заниматься этим дважды в неделю, мы решили поработать в лесу шесть дней подряд и заготовить дров сразу на пол-лета. Посему каждое утро после раннего завтрака мы отправлялись с топорами в лес и

рубили дрова до тех пор, пока солнце не оказывалось над мысом, что означало наступление полудня, ведь ни у кого из складских не было часов. Тогда мы брели обедать, а потом возвращались в лес с тележкой и веревками и возились с ними до захода солнца. Так продолжалось целую неделю, пока мы не набрали столько вязанок дров, что их должно было хватить на шесть — девять недель, и лишь после этого, к моей великой радости, «отвалили вчистую», потому что, хоть мне и нравилось бродить по лесу, перенос дров на собственном горбу по неровной местности на большие расстояния был, без сомнения, самой тяжелой работой. Ведь приходилось то и дело становиться на колени, взваливать на себя ношу, а потом подниматься на ноги и брести по холмам, обдирая об острые сучья не только тело, но и одежду, так что к концу недели у меня едва ли оставалась хоть одна целая рубашка.

Наконец, мы выполнили всю работу и могли ничего не делать до возвращения «Пилигрима». Зато и провизия —чай, мука, сахар и патока — из-за непомерной расточительности нашего начальника тоже была на исходе. Мы подозревали, что он продавал припасы в городе. На это нас навела замеченная за ним привычка угощать приходивших к нам молодых индианок патокой. Перспектива пробавляться пшеничным кофе и сухарями вовсе не радовала нас. Мы устроили складчину, я взял большой мешок из-под соли и отправился верхом в город. Вернулся с «полным грузом» бобов, огурцов, груш, арбузов и прочих плодов, которыми меня снабдила молодая женщина — владелица богатого огорода. Узнав, что я с американского судна и что мы нуждаемся в провизии, она щедро одарила меня этими деликатесами, после чего мы жили недели две словно бойцовые петухи на откорме и вдобавок позволяли себе то, что моряки называют «коечной вахтой», а именно не поднимались с постелей до тех пор, пока не был готов завтрак. Несколько дней я перебирал содержимое моего сундучка и латал износившуюся одежду, так что навел в своем хозяйстве полный порядок. Потом занялся «Руководством по навигации» Боудича, которое всегда держал при себе. Большую часть этой книги я уже прочел раньше, а теперь тщательно изучил ее от начала до конца еще раз, выполнив и все упражнения. После этого я совершил набег на Шмидта и прочитал все его наличные книги. Недостаток в чтении был столь велик, что любая книжонка, даже сказка для самых маленьких детей или половина рваного морского альманаха, представляла собой настоящее сокровище. Например, за один день я прочел от корки до корки собрание анекдотов и получил удовольствие не меньшее, чем от хорошего романа. А когда уже казалось, что все запасы иссякли, я обнаружил у Шмидта на

самом дне его сундучка годвиновский роман «Мандевиль» в пяти томах. Мне никогда не приходилось читать это сочинение, но после всего переваренного мной хлама одного имени автора было достаточно, чтобы увидеть в найденной книге бесценную жемчужину. Я с жадностью ухватился за добычу и в течение двух суток вставал ни свет ни заря и читал до самого захода солнца, почти пьянея от наслаждения. Без преувеличения могу сравнить это с чувством путника, припавшего к источнику посреди пустыни.

Но от возвышенного до смешного, а в моем случае от чтения «Мандевиля» до обработки шкур, всего один шаг ибо

в среду, 18 июля с наветра появился «Пилигрим». Пока он входил в гавань, мы успели заметить, что его внешний вид значительно преобразился. Короткие брам-стеньги были подняты, булини сняты (за исключением нижних парусов), с нижних реев сняты четвертые бугели, а с фок-мачты — брам-салинг, многие блоки пустовали, и по-новому был проведен бегучий такелаж. Словом, все сильно переменилось. Какой-то новый голос отдавал команды, а на юте появилось новое лицо — низкорослый смуглый человек в зеленой куртке и высокой кожаной шляпе. Все эти перемены произвели на берегу величайшее возбуждение, и мы с нетерпением ожидали, когда спустят шлюпку, чтобы узнать обо всем в подробностях. Наконец якорь был отдан, паруса убраны, шлюпка подгребла к берегу, и мгновенно разнеслась новость, что ожидавшееся бостонское судно уже в Санта-Барбаре, и капитан Томпсон принял на нем команду, поменявшись с капитаном Фоконом, который перешел на «Пилигрим». Это и был тот самый человек в зеленой куртке. Шлюпка сразу же пошла обратно, не дав нам времени на дальнейшие расспросы, и пришлось дожидаться вечера, когда мы взяли ялик, лежавший на пляже, и отправились на «Пилигрим». А когда я наконец вступил на борт старого брига, меня подозвал второй помощник и вручил адресованный мне большой пакет с пометкой: «Судно „Элерт“». Его-то я и дожидался, но тем не менее сумел сдержать свои чувства и не открыл сразу, а сделал это только на берегу. Я нырнул в кубрик и увидел все ту же компанию, чему немало обрадовался. Тут же последовали многочисленные вопросы о новоприбывшем судне, о последних известиях из Бостона и многом другом. Стимсон тоже получил письма, но ничего примечательного в них не сообщалось. Все единогласно решили, что «Элерт» превосходное судно:

— Даже больше, чем «Роса».

— В нем хватит места для шкур со всей Калифорнии.

— Фальшборт в рост человека.

— Первоклассная посудина.

— Щеголь, каких поискать.

Капитан Томпсон принял на нем команду и вышел в Монтерей, откуда должен был идти в Сан-Франциско, и здесь, в Сан-Диего, мог объявиться не раньше, чем через два или три месяца. Кое-кто с «Пилигрима» встретил на «Элерте» старых соплавателей и провел у них в кубрике час-другой накануне отплытия. После этого рассказывали, что палуба там белая как снег — ее скребут песчаником каждое утро как на военных кораблях, и вообще все «в лучшем бристольском виде»: отличная команда, три помощника, парусный мастер, плотник, и вообще все в полном комплекте.

— Вот у них действительно старший помощник — человек! Да и на палубе не бараны!

— Да, этот знает свое дело и других заставит работать. Он не спустит ни капитану, ни матросам.

Получив все возможные сведения об этом судне, мы спросили про нового капитана. Однако он пробыл на борту совсем не так долго, чтобы о нем могло составиться определенное мнение. Говорили только, что он сразу принялся за дело — в первый же день поднял брам-стеньги и снял лисельный такелаж.

Разузнав все новости, мы погребли к берегу. Как легко догадаться, едва я добрался до дома, как набросился на свой пакет, в котором оказался порядочный запас полотна, фланелевых рубах, башмаков и прочего, но самую большую ценность представляли, конечно, одиннадцать писем. Я провел за их чтением почти всю ночь, после чего тщательно запрятал это сокровище, чтобы снова и снова перечитывать на досуге каждый листок. Кроме того, имелось еще полдюжины газет, и в последней из них сообщалось, что «судно „Элерт“, капитан Эдуард Фокон, вышло в Кальяо и Калифорнию». Только тот, кому приходилось бывать в дальних странствиях, поймет наслаждение, которое доставляют газеты из дома. Я читал все без исключения — объявления о сдаче домов в наем, о потерянных и украденных вещах, аукционах, словом, не пропускал ни единой строчки. Ничто так не способно заставить человека почувствовать себя в родных местах, как чтение газеты. Даже само название «Бостон дэйли эдвертайзер» звучало для меня сладкой музыкой.

«Пилигрим» разгрузил шкуры, и мы снова принялись за работу, так что уже через несколько дней жизнь вошла в старую колею: сухие шкуры сменялись вымоченными, очистка — выколачиванием, и так без конца. Однажды, когда, склонившись над растянутой шкурой, я срезал с нее ножом остатки мяса, ко мне подошел капитан Фокон и, спросив, как мне нравится

Калифорния, продекламировал: «Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi» [36]. «Весьма à propos [37], и к тому же доказывает, что ты учился латыни!» — подумал я. И все же это была любезность с его стороны, а вниманием капитана пренебрегать не следует. Его величество капитан Томпсон никогда не снизошел бы до этого на глазах у всей команды, но Фокон был человеком образованным и даже склонным к занятиям литературой, у него было хорошее положение в обществе, так что он знал истинную цену всему окружающему.

Суббота, 21 июля. «Пилигрим» поднял паруса и ушел к наветренному побережью, а мы остались со своими прежними заботами. Впрочем, благодаря большому запасу дров, равно как и тому, что дни стали длиннее и установилась прекрасная погода, у нас оставалось много свободного времени. Присланное из дома полотно я довольно быстро превратил в брюки и куртки, а из остатков материи соорудил себе шляпу, так что каждое воскресенье щеголял теперь во всем новом, да еще сшитом собственными руками. Обычно после выполнения «дневного урока» мы заполняли наш досуг чтением, починкой платья, а то и просто сном. Иногда мы брали собак и совершали прогулки в заросли, где выслеживали койотов, кроликов и зайцев, разыскивали гремучих змей или же время от времени отправлялись в пресидио. Было у нас и другое развлечение, называвшееся «жечь воду»; так мы называли ловлю лангустов. Соорудив факелы из просмоленной веревки, обмотанной вокруг палки, мы, выбрав ночь потемней, садились в ялик и отправлялись на ловлю. На носу сидел факельщик, а у бортов — матросы с гарпунами в руках. Держась ближе к берегу, там, где открытый песчаный грунт, мы выходили на глубину трех-четырех футов и так ярко освещали дно, что, казалось, нашли бы в песке даже булавку. Лангусты — легкая добыча, и мы обыкновенно загружали ими весь ялик. Труднее было добывать рыбу, но она, самая разнообразная, тоже попадалась часто и в изобилии. «Пилигрим» привез нам запас рыболовных крючков — вещь невиданная на этом побережье, — и несколько дней подряд мы ходили на мыс и наловили много трески и макрели. Во время одной из таких экспедиций мы стали свидетелями сражения между двумя сандвичанами и акулой. Джонни (акула) резвился вокруг нашего ялика, рвал зубами нашу наживку и распугивал рыбу, потом он отстал, но вдруг канаки, которые удили рыбу со скалы неподалеку от нас, подняли страшный шум. Мы увидели, что они тянут линь, на другом конце которого билась акула. Линь все-таки оборвался, но ловцы не хотели так просто упускать свою добычу и попрыгали в воду. Началась возня, напоминавшая

перетягивание каната. Акула не успела уйти на глубину, и один из канаков схватил ее за хвост и потащил к берегу. Тогда Джонни изловчился и нырнул под канака — тому пришлось выпустить хвост и отскочить в сторону. Акула ринулась к глубокой воде. Но тут подоспел другой канака и, вцепившись акуле в хвост, поволок ее к берегу. Его товарищ обрабатывал рыбину камнями и толстой палкой. Однако акула снова сумела вывернуться, но, отпустив ее, смельчак все же не позволил ей уйти далеко. Так продолжалось довольно долго: акула яростно отбивалась, извиваясь всем телом и вздымая фонтаны, а канаки вопили от возбуждения во всю мощь своих легких. Акула все-таки вырвалась на свободу и унесла с собой крюк, линь, но у нее на теле осталось немало ран.

Глава XXI
Калифорния и ее обитатели

Мы поддерживали постоянные связи с пресидио, и к концу лета я весьма основательно пополнил свой запас испанских слов, не говоря уже о том, что познакомился почти со всеми его обитателями, узнал их характеры, обычаи, равно как и законы, под сенью которых протекает их жизнь.

Калифорния была открыта не то в 1534 году Хименесом, не то в 1536 Кортесом [38], и впоследствии там побывало множество искателей приключений и путешественников, состоявших на службе у испанской короны. Страну эту населяли многочисленные индейские племена, она отличалась исключительным плодородием почвы, и, конечно, сразу же распространились слухи о ее золотых копях, изобилии жемчуга в ее водах и о прочих сокровищах. Как только все это стало известно, иезуиты немедленно добились для себя позволения обосноваться здесь, дабы облагодетельствовать светом христианства индейцев. К концу XVII столетия они учредили во всех частях страны миссии, собирая вокруг них местных жителей, получивших крещение и начавших приобщаться к цивилизованной жизни. Для защиты иезуитов и утверждения своей власти над новообращенными, испанцы соорудили два форта с гарнизонами — один в Сан-Диего, а другой в Монтерее, — называвшиеся «пресидио». Впоследствии пресидио возникли в Санта-Барбаре, Сан-Франциско и других местах, а вся страна была разделена по числу этих фортов на большие округа, каждым из которых управлял команданте. Солдаты обычно женились на приобщенных к цивилизации индианках, и постепенно пресидио обросли городками. Со временем в местные порты стали приходить суда, привозившие товары в обмен на шкуры. Так возникла великая калифорнийская торговля. Почти все стада принадлежали миссиям, которые в качестве пастухов использовали своих индейцев, превратив их по существу в настоящих крепостных. Когда в 1793 году Ванкувер посетил Сан-Диего, миссии уже разбогатели и обрели значительную власть над своими территориями, однако в Испании сочли, что они уж слишком принизили власть короля, для того чтобы позволить им и дальше сохранять за собой эти владения. После изгнания иезуитов здесь водворились францисканцы, что, впрочем, не привело к заметным переменам в способах правления. Однако с тех пор, как Мексика получила независимость, миссии неуклонно

приходили в упадок, и в конце концов особым законом их лишали всей собственности, а священникам было предписано отправлять только духовные обязанности. Индейцев же провозгласили свободными rancheros. Легко догадаться, что освобождение было провозглашено только на бумаге, а индейцы остаются такими же рабами, как прежде. Зато в миссиях все совершенно изменилось. Священники уже не пользуются никакой властью в делах, за исключением духовных, а их несметные богатства отданы на растерзание гарпиям из гражданского управления, которых сюда присылают на должности administradores [39] и которые обычно уже через несколько лет наживают целые состояния и покидают свое поприще, оставляя его еще в худшем положении. Священники обычно принадлежали к какой-нибудь одной миссии и поэтому поддерживали ее репутацию: долги вовремя выплачивались, с народом, как правило, обращались сносно, и люди привыкали к тем, кто проводил среди них всю свою жизнь. В противоположность этому administradores, присылаемые из Мехико, суть совершенные чужаки в этой стране, не заинтересованные в ее процветании и вообще не подходящие для своей должности. В основном это люди, оказавшиеся в трудных обстоятельствах, это либо прогоревшие политики, либо отставные военные, которые стремятся лишь к одному — как можно скорее поправить свое положение. Хотя эти перемены произошли всего несколько лет назад, торговля успела захиреть, кредиты сократились, а старые «добрые» миссии пришли почти в полный упадок.

Политическое устройство в стране остается до сих пор без изменений. Здесь существуют четыре, а может быть, и больше пресидио, к каждому из которых приписано по нескольку миссий. Кроме того, имеются еще «пуэблос» — городки с гражданским управлением, в которых нет ни миссии, ни пресидио. На самом севере расположено пресидио Сан-Франциско, потом идут Монтерей, Санта-Барбара, Сан-Луис-Обиспо и Санта-Буэнавентура, где самая лучшая миссия во всей Калифорнии благодаря плодородной почве и богатым виноградникам на ее территории. На юге находятся Сан-Диего, Сан-Хуан-Капистрано, Пуэбло-де-лос-Анхелес (самый большой город на полуострове) и соседняя с ним миссия Сан-Габриель. В духовных делах священники подчинены архиепископу мексиканскому, а в прочих — генерал-губернатору, который осуществляет верховную гражданскую и военную власть во всей стране.

Управление осуществляется по принципу деспотической демократии, ибо в стране отсутствует не только обычное право, но и вообще все то, что мы называем законностью. Законы

вводятся и отменяются по прихоти властей и столь же причудливы, сколь капризны сами власти. Формально полагается посылать представителей в конгресс, заседающий в Мехико, но, поскольку поездка в столицу и обратный путь занимают несколько месяцев и само сообщение крайне затруднено, депутат обычно сидит на месте в качестве постоянного члена конгресса, прекрасно сознавая, что у него дома скорее произойдет революция, прежде чем он получит ответ из столицы по какому-нибудь делу; а если кто-нибудь станет претендовать на его место, ему остается только вызвать соперника на дуэль и таким образом решить проблему переизбрания.

Политические перевороты случаются в Калифорнии довольно часто, и обычно их устраивают люди, стоящие на нижней ступени общественной лестницы и попавшие по разным причинам в отчаянное положение, подобно тому как политические организации могут создаваться подобными людьми и в нашей стране. Конечно, единственная цель таких людей — отхватить кусок пожирней. Но, вместо того чтобы жульничать на выборах, печатать пасквили в газетах, устраивать званые обеды и раздавать лживые обещания, как это делается у нас, они просто берут в руки мушкеты с примкнутыми штыками, захватывают пресидио и таможню, делят добычу и провозглашают новую власть. Что касается закона, то он им неизвестен, здесь его заменяют чувство страха или решительность. В Пуэбло-де-лос-Анхелес некий натурализовавшийся янки, перешедший в католичество и взявший себе жену из местных, в один прекрасный день был зарезан у себя дома на глазах у всего семейства мексиканцем, с которым недавно поссорился. Другие местные янки схватили убийцу, а само дело представили на рассмотрение генерал-губернатору. Однако тот отказался сделать что-нибудь, и соотечественники убитого, потеряв надежду найти справедливость, заявили, что сами свершат правосудие. По стечению обстоятельств в Пуэбло собрались тогда тридцать или сорок вооруженных трапперов из западных штатов, и они, объединившись с местными англичанами и американцами, которых также набралось человек тридцать, захватили город и, прождав некоторое время, приступили к суду над убийцей, руководствуясь законами своей страны, то есть избрали судью с присяжными, допросили свидетелей и самого преступника, затем признали его виновным, приговорили к смерти и расстреляли на глазах у всего города. Перед казнью имя каждого участника судилища было записано на отдельном листке бумаги, а все листки положены в шляпу, чтобы осуществить приговор по жребию, ибо все до единого рвались исполнить свой долг. Потом

вынули из нее двенадцать записок, люди взяли свои ружья и, выстрелив по команде, уложили несчастного на месте. Он был пристойно похоронен, а город был возвращен своим прежним властям. Тогда генерал, сидевший в Сан-Габриеле и носивший титул, от которого не отказался бы и кастильский идальго, выпустил воззвание длиной с фор-марса-булинь, в коем угрожал изничтожить всех бунтовщиков, однако не двинулся ни на шаг из своего форта, прекрасно сознавая, что сорок охотников из Кентукки вместе с дюжиной англичан и янки не уступят целому полку полуголодных метисов Это случилось, когда мы стояли в Сан-Педро (ближайший от Пуэбло порт) и узнали все подробности от очевидцев. Через несколько месяцев на большой дороге между Пуэбло и Сан-Луис-Реем был снова убит человек. Его убийцами оказались его жена и мужчина, с которым она сбежала из дома. Согласно одной версии, иностранцы преследовали их и застрелили обоих. Другие утверждали, что никто ни во что не вмешивался, поскольку дело касалось одних только аборигенов. Мне даже показывали в Сан-Диего человека, который будто бы и был убийцей. Может быть, в этих рассказах перепутались два разных случая.

Но когда преступление совершали индейцы, правосудие или, вернее, месть не были столь медлительными. Как-то в воскресенье, когда я был в Сан-Диего, к сидевшему на лошади индейцу подошел его соплеменник, с которым у него произошла размолвка, выхватил длинный нож и вонзил его прямо в сердце животного. Индеец спрыгнул с падающей лошади, тоже выхватил нож и ударом в грудь положил противника замертво. Парня схватили, заперли в «calabozo», то есть в каталажку, и продержали там, пока не пришло решение из Монтерея. Через несколько недель я увидел несчастного — он сидел на голой земле перед calabozo; его ноги были прикованы цепью к столбу, на руках надеты наручники. Для него не оставалось почти никакой надежды. Хоть он и действовал в запальчивости, а убитая лошадь была у него самой любимой, но он был индеец, и это решило дело. Еще через неделю я узнал, что его застрелили. Эти несколько примеров дают представление о том, как отправляется правосудие в Калифорнии.

У себя дома мексиканцы ведут себя ничуть не лучше, чем в общественных местах. Мужчины расточительны, заносчивы, сумасбродны и весьма склонны к азартным играм. Женщины почти не получают образования, отличаются красотой, но их нравственность от этого нисколько не выигрывает. Однако случаи супружеской неверности не столь часты, как можно было бы предположить с первого взгляда. Дело в том, что один порок

умеряет другой, и таким образом устанавливается нечто вроде равновесия. Хотя женщинам и недостает добродетели, ревнивость их мужей столь непомерна, что месть грозит почти неминуемой смертью. Несколько дюймов холодной стали нередко наказывают неосторожных повес всего лишь за небольшую шалость. Хотя возможности для обольщения женщины весьма скромны, последствия сего, как правило, фатальны. Девицы находятся под неусыпным надзором, ибо главная забота родителей — найти для дочерей достойную партию, а для этого нужна незапятнанная репутация. Зоркие глаза дуэньи и оружие отца или брата, которые держат его всегда наготове, служат надежной защитой, отнюдь не излишней, если принимать во внимание пылкость как женщин, так и мужчин. Потому что одни и те же люди, которые готовы пожертвовать жизнью, чтобы отомстить за позор своего семейства, не прочь рисковать ею, чтобы обесчестить других.

Таковы люди, которые населяют страну, простирающуюся на пятьсот миль вдоль океанского побережья, где есть несколько удобных гаваней, прекрасные леса, где реки кишат рыбой, а в долинах пасутся тысячи голов скота, страну с благословенным климатом, который не имеет себе равных во всем свете, страну, где неизвестны болезни и эпидемии, где сама земля — рог изобилия. Здесь есть где развернуться предприимчивой нации! Это нетрудно представить себе, главное в другом: сколь долго люди будут пребывать здесь в подобном состоянии?

Глава XXII
«Элерт»

Суббота, 18 июля. В этот день мексиканская бригантина «Фазио» снялась на Сан-Блас и Мазатлан. Это было то самое судно, которое выбросило на берег во время зюйд-оста и которое потом стояло в Сан-Диего для ремонта и погрузки. У ее владельца было много неприятностей с властями из-за пошлин, поэтому отплытие задержалось на несколько недель. Бригантина снялась при легком ветре и уже выходила из гавани, когда на берегу появились два всадника, скакавшие во весь опор. Они пытались найти шлюпку, чтобы настичь судно, но из этого ничего не вышло, и тогда предложили пригоршню серебряных монет любому канаке, который взялся бы вплавь доставить на борт письмо. Один прекрасно сложенный юноша тут же сбросил с себя всю одежду, кроме полотняных брюк, и, положив письмо в шляпу, поплыл вдогонку. На его счастье, ветер был очень слабый, и бригантина едва двигалась, так что, хотя она удалилась от берега почти на милю, пловец быстро нагонял ее, оставляя позади след, словно небольшой пароход. Мне никогда не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так плыл. Его заметили на «Фазио», но не стали ложиться в дрейф, подозревая, в чем дело, однако ветер оставался таким слабым, что канака сумел подплыть к борту, подняться на палубу и передать письмо. Капитан прочел его, сказал, что ответа не будет, и велел поднести пловцу стакан бренди, после чего тому оставалось прыгнуть за борт и устремиться к берегу. Канака добрался до ближайшего мыса и уже через час появился на складе. Не было заметно, чтобы он устал. Он заработал три или четыре доллара и стакан бренди и чувствовал себя героем дня. Бригантина же продолжала идти своим курсом, а чиновники, явившиеся, чтобы задержать ее, сочли за лучшее удалиться с видом побитых собак, ибо твердо рассчитывали вытянуть из владельца судна хотя бы немного денег.

Прошло уже почти три месяца с тех пор, как «Элерт» прибыл в Санта-Барбару, и мы ожидали его со дня на день. За складом, примерно в полумиле от него, поднимался высокий холм, и, когда после полудня мы заканчивали работу, кто-нибудь из нас непременно взбирался на вершину, чтобы посмотреть, не видно ли паруса. Так продолжалось довольно долго, и каждый раз нас ожидало разочарование. Я с особым нетерпением ждал прихода этого судна, так как в письме мне сообщили, что бостонские владельцы по просьбе моих друзей написали капитану Томпсону,

чтобы он взял меня на борт «Элерта» в случае, если последний будет возвращаться в Соединенные Штаты раньше «Пилигрима». Для других задержка на год-другой, может быть, и не имела большого значения, но для меня это решало все. Прошел ровно год, как мы покинули Бостон, и при самом благоприятном стечении обстоятельств ни одно судно не могло выйти в обратный рейс раньше, чем через восемь или девять месяцев, так что в лучшем случае мое плавание затягивалось уже на два года. Это, конечно, было уже слишком, но не фатально и не могло окончательно разрушить мои планы в жизни. Однако еще один год решил бы все бесповоротно — мне пришлось бы навсегда сделаться моряком. Хоть до получения писем я смирился с этим, но теперь, когда открылась возможность с первой же оказией возвратиться домой и самому решить свою судьбу, мое беспокойство превосходило всякую меру. Кроме того, я хотел получить «равные шансы» и добиться права на место помощника капитана, а сарай для шкур не очень-то подходящее место для постижения искусства навигации. Правда, здесь на берегу я научился обрабатывать шкуры и мне представлялось много возможностей для знакомства с людьми и достаточно свободного времени для чтения и занятий той же навигацией. Но все-таки по-настоящему изучить морское дело можно только в море, поэтому я решил, как только придет судно, сразу проситься обратно на борт. К первому августа мы покончили со шкурами, вычистили чаны (на что ушло целых два дня, проведенных по колено в грязи и в таком зловонии, которое вынудило бы отказаться от завтрака даже осла). Когда все было готово к приходу судна, у нас осталось еще три-четыре недели свободного времени. Я занимался, по своему обыкновению, чтением, написанием писем, изучением навигации, а также починкой одежды, чтобы мой гардероб был в совершенном порядке, когда надо будет перебираться на судно. Были еще и рыбная ловля, прогулки по лесу с собаками и время от времени — визиты в пресидио и миссию. Немало времени занимали у меня заботы о щенке, которого я выбрал себе из тридцати шести, родившихся на нашем складе. Лапы у него были совсем белые, а все остальное — сплошь бурое. Я соорудил небольшую конуру и держал его там отдельно от других собак, ежедневно занимаясь дрессировкой, так что через несколько недель я сумел выработать в нем полное послушание. Он заметно подрос и сильно привязался ко мне, обещая в будущем превратиться в одного из вожаков всей своры. Я назвал своего воспитанника Браво и сожалел лишь о том, что при расставании с этим берегом мне также придется расстаться с моим любимцем и канаками.

Каждый день мы исправно взбирались на холм, но судно не появлялось, и мы начали уже строить всяческие догадки, куда бы оно могло запропаститься. Вечерами, да и во время дневных прогулок мы говорили только об одном — где сейчас может быть судно, заходило ли оно в Сан-Франциско, сколько взяло шкур, и так далее, и так далее.

Вторник, 25 августа. Этим утром начальник нашего склада вместе с двумя канаками отправился на небольшом каноэ за мыс на рыбную ловлю. Мы же спокойно сидели у себя на складе, как вдруг незадолго до полудня на берегу послышались громкие крики: «Парус!», «Парус!»; они доносились со всех сторон, от печи сандвичан и до склада «Росы». В тот же миг все выскочили наружу и увидели величавый корабль под бом-брамселями и трюмселями, быстро выходивший из-за мыса при свежем послеполуденном бризе. Реи у него были круто обрасоплены и несли все паруса, а на гафеле развевались «звезды и полосы»; он приближался к нам со скоростью скаковой лошади, используя попутный прилив. Прошло почти полгода с тех пор, как в Сан-Диего последний раз видели новое судно, и, конечно, каждый смотрел во все глаза. Судно выглядело великолепно. Когда оно миновало низкую песчаную косу на нем были убраны верхние паруса, затем взяты на гитовы передние и, после лихого приведения к ветру, был отдан якорь в кабельтове от берега. Матросы тотчас же разбежались по марса-реям и в мгновение скатали все три марселя. Потом они съехали с фор-брам-рея по стень-штагу на палубу, чтобы убрать кливера. Те, кто были на марса-реях, по топенантам опустились на реи нижних парусов. Все паруса были аккуратно скатаны, а кливера вдобавок и зачехлены. Тут же были спущены бом-брам-реи, за ноки и штаг были заведены тали, спущен баркас, большой якорь завезен и отдан с кормы, и судно таким образом поставлено на якорное место. Это и был «Элерт».

С кормы спустили шлюпку, и бравые молодцы четырнадцати — восемнадцати лет отвезли капитана на берег. Сама шлюпка оказалась красиво покрашенным легким вельботом с подушками на кормовых боковых банках и даже с румпель-штертами. Мы сразу набросились на ее команду и уже через несколько минут болтали с ними, как со старыми знакомыми. Нам не терпелось разузнать все бостонские новости, а также подробности об их плавании. Они же, разумеется, интересовались жизнью на калифорнийском берегу. Один из гребцов предложил поменяться со мной — это было как раз то, к чему я стремился, — и нам оставалось только заручиться согласием капитана.

После обеда команда «Элерта» начала разгружать шкуры, а

поскольку мы в сарае сидели без дела, нам тоже приказали идти на судно и помогать матросам. Я впервые имел возможность осмотреть судно, которое, как я надеялся, будет теперь моим домом на целый год. Все на нем подтверждало то прекрасное впечатление, которое оно произвело, когда мы смотрели на него с берега. Палуба оказалась широкой и просторной — там не было ни полуюта, ни рубки, уродующих кормовую часть большинства наших судов, ни даже полубака. Палубный настил сверкал белизной льна, происходившей, по словам самих матросов, от постоянного скобления песчаником. Там не было дурацкой мишуры и позолоты, которые так ласкают взор пассажиров и прочих дилетантов. Я не заметил ни малейших следов ржавчины или грязи, ни одного размочаленного конца или «ирландского вымпела», весь такелаж был выбран втугую, а реи выровнены топенантами и брасами под идеальное «Т». Старшим помощником был энергичный малый с громовым голосом и зорким глазом — мужчина «в каждом его дюйме», как говорят матросы. Несмотря на «лошадиные замашки» и репутацию «тяжелого клиента», он тем не менее пользовался уважением команды. Кроме него и капитана, на «Элерте» были еще два помощника, плотник, парусный мастер, стюард, кок и двенадцать матросов. «Элерт» привез семь тысяч шкур, не считая рогов и сала. Мы начали разгружать все это через оба люка сразу в две шлюпки — баркас под командой второго помощника и восьмерку под командой третьего помощника. Мы занимались этим несколько дней, пока все не было свезено на берег. Потом команда стала грузить балласт, а мы вернулись к своим шкурам.

Суббота, 29 августа. С наветренной стороны побережья пришел бриг «Каталина».

Воскресенье, 30 августа. Для людей с «Элерта» это был первый свободный день в Сан-Диего, и, само собой разумеется, им хотелось осмотреть город. С раннего утра появились индейцы, приведшие лошадей, которых они отдавали внаем, и те, кто получил позволение съехать на берег, отправились в пресидио и миссию, где пробыли до самого вечера. Что касается меня, то, достаточно насмотревшись на Сан-Диего, я предпочел провести день на судне вместе с матросами, мирно занимавшимися в кубрике своими делами: стиркой, починкой одежды и чтением. Они рассказали мне, что «Элерт» заходил в Кальяо и простоял там три недели. Весь переход из Бостона до этого порта занял у них немногим более восьмидесяти дней — один из наиболее коротких по времени рейсов, отмеченных на этой линии. В Кальяо они встретили фрегат «Брэндивайн» и несколько других американских военных кораблей поменьше, а также английский

фрегат «Блонд» и французский семидесятичетырехпушечный корабль. Оттуда «Элерт» пошел в Калифорнию и заходил во все порты побережья, включая Сан-Франциско. Кубрик на «Элерте» был просторный и хорошо освещался световым люком. Внутри поддерживалась безукоризненная чистота, а для моего глаза, привыкшего к тесной и грязной дыре, которая служила мне обиталищем в течение долгих месяцев, он казался вполне комфортабельным помещением. По заведенным на судне правилам кубрик убирался каждое утро, и, кроме того, сама команда установила еще свои порядки: под трапом между битенгами всегда стоял большой ящик для мусора, и каждый матрос был обязан сушить свою мокрую одежду. Ко всему этому по субботам палубу кубрика выскабливали песчаником. В кормовой части судна располагались красиво отделанные каюта, кают-компания и торговое помещение, где на полках были разложены образцы всех товаров. Между кормой и кубриком находились твиндеки, не уступавшие по высоте батарейной палубе фрегата (не менее шести с половиной футов под бимсами). Твиндеки тоже скребли песчаником и содержали в идеальном порядке. Там помещались: верстак плотника, рабочее место парусного мастера и подшкиперская с запасным такелажем. Тут же спала часть команды в подвесных койках, которые каждое утро аккуратно скатывались. Борта твиндеков изнутри были обшиты досками вгладь, а кницы и пиллерсы для облегчения судна были сделаны из железа. Матросы говорили, что «Элерт» непроницаем, как бутылка, и вообще прекрасно ведет себя в море. Его единственный недостаток — присущий, впрочем, всем хорошим ходокам — слишком «мокрая» носовая часть. Когда он шел круто к ветру по восемь-девять узлов, на баке не оставалось ни единого сухого пятнышка. Про его ход слагались легенды, и матросы непоколебимо верили, что это «везучее судно». «Элерт» был построен семь лет назад и до сих пор использовался для рейсов на Кантон. С ним не случалось ни одной серьезной неприятности, и ни один его рейс не был продолжительнее рейсов других судов. Третий помощник, молодой человек лет восемнадцати, племянник одного из владельцев, плавал на нем чуть ли не с пеленок, а старший помощник почитал судно своим родным домом.

«Элерт» простоял еще неделю, ушедшую на выгрузку шкур и принятие балласта. Я обратился к капитану с просьбой взять меня и получил разрешение идти обратным рейсом домой. Узнав о моем желании перебраться на судно немедленно, он поставил мне единственное условие — найти себе замену для работы на берегу. Я легко уладил это дело, поскольку многие были только

рады провести несколько месяцев на суше, да еще зимой, когда в море вдоль побережья свирепствуют зюйд-осты. На следующее утро я перевез на борт свою койку и сундучок и таким образом снова оказался на плаву.

Глава XXIII
Новое судно и новые люди

Вторник, 8 сентября. Первый день моей новой службы. Матросская жизнь — это везде матросская жизнь, но все-таки я увидел многое, что отличалось от обычаев брига «Пилигрим». После того как команду поднимают на рассвете, дается три с половиной минуты, чтобы люди могли одеться и выбежать на палубу, а если кто-нибудь замешкается, старший помощник, чей зычный голос уже раздается по всему судну, тут же подгоняет его. Затем вооружают баковую помпу и под надзором второго и третьего помощников скатывают палубу. Старший помощник в это время расхаживает по юту и следит за общим порядком, хотя сам не притрагивается ни к ведру, ни к швабре. Повсюду, внутри и снаружи, от носа до кормы, на верхней палубе и между палубами все моется и драется, включая фальшборт и ватервейсы. Палубу скатывают забортной водой, посыпают песком и скоблят песчаником — большим куском мягкого камня с гладким низом, с обеих сторон к которому прикреплены длинные концы, чтобы матросы могли волочить его взад-вперед по мокрой палубе. Камни меньшего размера, так называемые «молитвенники», предназначаются для выскребания вручную в закоулках и узких местах, где большой камень не протащить. Нас держали на этой работе час или два, после чего ставили людей к помпе, чтобы скатить палубу и борта. После этого наступает черед швабрить и лопатить палубу. Осушив палубу, мы все расходимся по своим обычным утренним работам. На судне было пять гребных судов: баркас, восьмерка, четырехвесельный ял, кормовая шлюпка и капитанский вельбот, и у каждого имелся свой старшина, который заботился о нем и был ответственным за исправность и чистоту. Все остальные работы по чистке распределялись между матросами: бронзовые и латунные части шпиля, судовой колокол, который тоже был из бронзы, полагалось начищать, как золотую пуговицу, расходный бачок, леерные стойки и прочее. Все эти работы надо было закончить до завтрака, а те, кто ими не занимался, наполняли пресной водой бачок. Кок чистил деревянные бадейки, из которых едят матросы, надраивая их медные обручи, после чего ставил их около камбуза в ожидании осмотра. Когда палуба протерта досуха, на юте появляется само верховное божество, и сразу же бьют восемь склянок, что служит сигналом к завтраку. На еду отводится полчаса, и вслед за тем вся команда продолжает работы. Котлы, кружки, хлебные мешки

и прочее убираются на место. Этим утром начались приготовления к выходу в море. Мы потравили один якорный канат, выбрали другой и снова выбрали первый канат почти до панера. Это было проделано быстрее, чем у нас на бриге, хотя все здесь было почти вдвое больше и тяжелее, так что кат-блок, например, с трудом мог поднять один человек, а якорный канат был втрое толще, зато, благодаря просторной палубе, работать было легче, особенно при хорошо налаженной дисциплине и порядке, большем количестве матросов. К тому же каждый здесь стремился исправно выполнять свое дело. Как только канат выбрали до панера, стоявший на полубаке старший помощник подал команду ставить паруса, и в мгновение ока все были на вантах и уже расходились по реям, стараясь перегнать друг друга. Самые ловкие отдают ноковые и крестовые сезни, и после этого на реях остается только по одному человеку, а остальные спускаются вниз и разбирают шкоты и фалы.

— На фоке все готово? На бизани? — кричит старший помощник, опрашивая всех по порядку.

— Готово, сэр! — несется в ответ, и тотчас следует команда ставить паруса.

В единое мгновение судно, на котором торчали только голые мачты и реи, все оделось парусами от топов бом-брам-стеньг до самой палубы. Теперь все спускаются вниз, и лишь на каждом марсе остается по человеку, чтобы раздергивать снасти. Сразу же ставят марсели и выбирают шкоты; все три рея одновременно поднимаются к топам, вахта левого борта работает на фоке, правого — на гроте, а пятеро из той и другой (я был в их числе) — на бизани. Затем брасопят реи, закладывают кат-блок, вся команда включая и кока, наваливается на шпиль, и с хоровым пением шанти «Пошел, ребята, веселее!» поднимают якорь до места. Судно уже взяло ход, и один за другим ставятся верхние паруса. Мы еще не прошли песчаный мыс, а несем уже всю парусину. Фор-бом-брамсель, который пришелся на мою долю, по размерам был вдвое больше, чем на «Пилигриме», и, хотя на бриге я легко управлялся с ним, здесь моих рук едва хватало, тем более что леера на реях отсутствовали, дабы не портить вида, и бедному матросу оставалось держаться только за воздух «собственными бровями».

Как только мы оставили позади мыс, скомандовали: «Подвахта вниз!» Мне объяснили, что после прихода в калифорнийские воды у них всегда работали в две вахты, да и вообще все свидетельствовало о том, что строжайшая дисциплина и требовательность отнюдь не помеха для хорошего обращения с матросами. Каждый понимал, что должен вести себя как подобает

мужчине и исполнять свой долг. Все это было совсем не похоже на тот непосильный труд, которым занималась малочисленная и вечно недовольная, ропщущая команда «Пилигрима».

Была наша очередь идти вниз, и матросы принялись за свои обычные занятия — починку одежды и прочие мелочи. Зато я, благодаря приведенному еще в Сан-Диего в полный порядок гардеробу, мог наслаждаться чтением. Я буквально перерыл все матросские сундучки, но не нашел ничего подходящего, когда один из матросов заявил, будто у него есть книга, в которой «описано про знаменитого разбойника». Он полез на самое дно своего сундука и, к моему удивлению и радости, вытащил не что иное, как бульверовского «Пола Клиффорда». Я тут же схватил книгу, забрался в свою койку-гамак и, мерно раскачиваясь, читал до конца подвахты. Чистота в твиндеке, открытые люки, через которые вливается прохладный бриз, плавный бег судна — все располагало к покою. Я едва углубился в повествование, как пробило восемь склянок, и нас вызвали обедать. После обеда надо было стоять вахту, а в четыре я снова спустился вниз и читал до наступления «собаки» (полувахты). Так как после восьми не разрешалось зажигать огня, читать по ночам не удавалось. Из-за слабых ветров переход занял у нас целых три дня, и в светлое время суток все свободное время между вахтами я проводил тем же образом, пока не закончил книгу Никогда не забуду того удовольствия, которое она доставила мне. Наткнуться на что-нибудь стоящее, хоть в какой-то степени обладающее литературными достоинствами было для меня настоящим праздником. Отменный стиль автора, сменяющие друг друга блестяще написанные сцены, живость и характерность зарисовок — все приводило меня в восторг. Это было даже слишком хорошо для простого матроса. Я не мог надеяться, чтобы столь приятное времяпровождение могло продолжаться и в будущем.

Поднимаясь на палубу, я видел вокруг обычную судовую жизнь. В твиндеках работали плотник и парусный мастер, матросы выполняли такелажные работы, свивали шкимушгар и занимались всеми прочими делами, как на любом другом торговом судне. Ночные вахты были много приятнее, чем на «Пилигриме». Там, из-за малочисленности команды, один стоял на руле, а другой был впередсмотрящим, и это не оставляло возможности для разговоров. Зато здесь на вахту заступали сразу семь человек, и у нас не утихала матросская «травля». После двух-трех таких ночных вахт я близко познакомился со своими товарищами. Старшим по нашей вахте был парусный мастер, считавшийся самым опытным моряком на судне. Он являл собой

законченный тип военного моряка и провел в море двадцать два года. Плавал он буквально на всем: на военных кораблях и каперах, «купцах» и невольничьих судах, исключая разве что китобои, к которым истинные моряки относятся свысока, стараясь держаться от них подальше. Конечно же, он побывал почти во всех частях света, и никто не мог «травить» лучше и дольше его. Его рассказ частенько продолжался всю вахту, и тогда уже никто не клевал носом. Порой его повествование отличалось совершенной фантастичностью сюжета, но рассказчик никогда и не рассчитывал на то, чтобы ему поверили, и сочинял свои истории просто ради собственного и нашего развлечения. Изрядное чувство юмора и неисчерпаемый запас военно-морского жаргона, обильно сдобренного прочими крепкими флотскими словечками, делали свое дело. Вслед за ним по летам, опытности и, конечно, своему положению среди матросов вахты шел один англичанин по имени Гаррис, о котором есть что рассказать, но я сделаю это в дальнейшем. После него — двое или трое американцев, плававших на европейских и южноамериканских линиях, и один «фонтанщик». Этот, как полагается, держал монополию по части всяких историй и случаев, связанных с китами. Последним в этом списке был широкоплечий туповатый парень родом с Кейп-Кода, плававший раньше только на рыболовных шхунах и впервые попавший на большое судно с прямым парусным вооружением. Разумеется, все звали его «черпальщиком». В другой вахте было почти столько же людей, сколько и в нашей. Старшим у них считался высокий красавец француз с угольно-черными бакенбардами и вьющимися волосами. Звали его Джон (ведь для матроса достаточно одного имени). Были еще два американца (один — беспутный отпрыск почтенного и состоятельного семейства, докатившийся до парусиновых брюк и месячного жалованья); немец, юноша-англичанин Бен, работавший вместе со мной на крюйс-марса-рее и для своих лет хорошо знавший матросское ремесло, и, наконец, двое мальчишек из Бостона, только что вышедших из паблик-скул. Иногда вахте правого борта помогал плотник, старый морской волк, швед от рождения; он считался лучшим рулевым на судне. Такова была, кроме темнокожих кока и стюарда, а также капитана и трех его помощников, наша команда.

На второй день после выхода ветер зашел по носу, и нам пришлось лавировать, продвигаясь вдоль побережья, а я имел случай познакомиться, как все организовано на судне. Вместо того чтобы всем вместе бегать по палубе с места на место, туда, где надо было работать со снастями, каждый имел свой постоянный пост. Тут действовали настоящие законы при

выполнении поворотов. Старший помощник командовал на баке и отвечал за передние паруса и вообще за носовую часть судна. Там же в числе других работали двое лучших матросов — парусный мастер и француз Джон. Третий помощник командовал грот-мачтой и вместе с плотником и еще одним матросом управлялся с грота-галсами и булинями. Кок стоял на фока-шкотах, а стюард — на грота-шкотах. Второй помощник ведал бизань-мачтой, а также отдавал подветренные фока- и грота-брасы. Я стоял у наветренных крюйсель-брасов, три других матроса — у подветренных, юнга — на бизань-шкоте и оттяжке, а еще один матрос и юнга — на грот-марса-брасах, брам- и бом-брам-брасах. Все остальные выбирали грота-брасы. Каждый человек знал свое место и должен был находиться там, когда командовали «к повороту». Любая снасть отдавалась и выбиралась строго по команде, а после выполнения поворота все концы тщательно крепились и аккуратно койлались.

Как только матросы занимали свои места, капитан, стоявший на юте с наветренного борта, бывало, делает знак рулевому и кричит:

— Руль на ветер!

— Руль на ветер! — повторяет старший помощник с полубака, и в этот момент раздергиваются шкоты передних парусов.

— Галсы и шкоты раздернуть! — командует капитан.

— Галсы и шкоты! — передается вперед, и сразу же отдают фока-галс и грота-шкот.

Теперь надо обтянуть все втугую для поворота. Наветренные крюйсель-брасы и подветренные грота-брасы «кладутся» на кофель-нагели и готовы к отдаче, а брасы противоположного борта обтянуты втугую.

— Пошел грота-брасы! — командует капитан.

Отдаются брасы, и если момент выбран правильно, реи разворачиваются со скоростью волчка. Но стоит капитану опоздать или, наоборот, поторопиться, происходит такое... это все равно что выдирать зуб...

Последние сутки мы непрестанно лавировали, то приближаясь к берегу, то удаляясь от него, оставаясь на каждом галсе по четыре часа, и я до мельчайших подробностей изучил, как работают с парусами на этом судне. Для того чтобы перебрасопить нижние реи, превосходившие по длине пятьдесят футов, здесь требовалось столько же людей, сколько и на «Пилигриме», где реи чуть ли не вдвое короче. Дело в том, что все зависит от того, как проведены брасы, а также от состояния блоков. Недаром капитан «Аякучо» Вильсон, который

впоследствии был у нас в одном рейсе пассажиром, говорил, что для управления нашим судном нужно на два матроса меньше, чем на его бриге. Эта легкость в управлении судном явилась следствием рачительности и искусства капитана Фокона. Он заново сделал проводку почти всего бегучего такелажа, снял ненужные блоки, заменив везде, где только можно, двушкивные одношкивными, использовав блоки лопарей, а тали основал в соответствии с законами механики.

Пятница, 11 сентября. Спустился вниз в четыре часа утра. Судно несло лисели, мыс Сан-Педро был уже в двух лигах по носу. Не прошло и часа, как нас разбудил грохот якорного каната о палубу, и через несколько минут раздалась команда: «Все наверх!» Мы принялись за работу: выбирали снасти, убирали лисели, осматривали носовой якорный канат, разложили его на палубе и готовили якорь к отдаче. «А ведь здесь „Пилигрим“», — сказал кто-то, и я взглянув в указанную сторону, увидел своего старого приятеля, глубоко сидевшего в воде в полном грузу. При постановке на якорь, так же как и во время лавировки, все люди у нас стояли по местам и исполняли свои обязанности. Верхние паруса были взяты на гордени и гитовы и скатаны, нижние тоже взяты на гитовы, кливера убраны. Потом марсели взяли на бык-гордени и отдали якорь. Как только якорь забрал, вся команда бросилась на реи убирать марсели, а убрать паруса в лучшем виде на этом судне, как я вскоре заметил, почиталось первейшим делом. Ведь каждому моряку известно, что о судне во многом судят по тому, как там справляются с парусами. Третий помощник, парусный мастер и вся вахта левого борта работали на фор-марса-рее; второй помощник, плотник и вахта правого борта — на гроте. Я же вместе с англичанином и обоими бостонскими парнями убирал крюйсель. Этот парус предоставлен в наше полное распоряжение, и никому не позволялось подниматься на наш рей. Старший помощник удостоил нас особенной чести — он заставлял нас убирать крюйсель по три-четыре раза кряду, пока мы не научились скатывать пузо паруса в идеальный конус без единой морщинки. После того как все паруса взяты на бык-гордени, закладываются хват-тали и окончательно выбирается слабина снастей. Старший помощник успевает повсюду: заняв позицию на самом носу между недгедсами, он смотрит, как «доводят до места» фок, потом вскакивает на шпиль и наблюдает за гротом; затем бежит к грот-мачте и оттуда следит за бизанью. И если что-нибудь идет не так — то ли слишком неаккуратно закатали парус с одного нока, то ли не добрали до места углы или, наоборот, выбрали гитовы чрезмерно туго, — все повторяется сначала.

С того момента, когда отдан якорь, капитан уже не следит за работой матросов — главным лицом на судне становится старший помощник. Голосом, подобным рыку молодого льва, он выкрикивает команды, заставляя людей чуть ли не летать по воздуху. На «Элерте» старший помощник являл собой полную противоположность флегматичному коллеге с «Пилигрима» и хотя как человек, пожалуй, не мог претендовать на большее уважение матросов, но как распорядитель работ был несравненно выше его. И полная перемена в поведении капитана Томпсона после того, как он принял судно, несомненно, объяснялась именно этим обстоятельством. Если у старшего помощника недостает характера, дисциплина в команде расшатывается, все делается не так, и капитан начинает вмешиваться в его дела. Тогда отношения между ними портятся, команда старается воспользоваться этим, и в результате все недовольны. Однако мистер Браун (старший помощник на «Элерте») не нуждался в советах, успевал всюду и его, скорее, надо было удерживать от актов превышения власти, чем побуждать к более энергичным действиям. Теперь капитан Томпсон давал указания своему старшему помощнику, оставшись с ним с глазу на глаз, и его персона редко появлялась на палубе, за исключением тех случаев, когда приходилось становиться на якорь или сниматься с якоря, ложиться на другой галс, брать рифы на марселях и вообще выполнять авральные работы. Так оно и должно быть на любом судне, и пока этот порядок не нарушается и на юте доброе согласие, все идет хорошо.

После уборки парусов положено спускать бом-брам-реи. Англичанин и я опускали грот-бом-брам-рей, который был больше грот-брам-рея на «Пилигриме». Два других матроса работали на фоке, а на бизани — один юнга. В калифорнийских водах мы неизменно придерживались такого порядка и при входе и выходе из порта всегда спускали и поднимали бом-брам-реи. Как только эти реи сняты и опущены, грот-бом-брам-рей укладывается по правому, а фор- и крюйс-бом-брам-реи — по левому борту. После того как все приведено в должное состояние, сразу закладывают тали и спускают на воду баркас и восьмерку. Затем вываливают за борт выстрелы и под ними ставят на бакштовах шлюпки, как это положено делать в гавани. После завтрака с люков сняли крышки, и мы приготовились принимать шкуры с «Пилигрима». Шлюпки сновали между судами весь день, пока шкуры не были полностью перевезены. В нашем трюме они не производили сколько-нибудь внушительного впечатления, хотя «Пилигрим» под их тяжестью сидел в воде чрезмерно глубоко. Перегрузка шкур решала вопрос о дальнейшей судьбе обоих

судов, что было у нас в продолжение некоторого времени предметом всяческих домыслов. На следующее утро «Пилигрим» должен был сняться на Сан-Франциско. После того как мы кончили работу и до наступления ночи очистили палубу, ко мне пришел мой приятель Стимсон и провел со мной час в нашем твиндеке. На «Пилигриме» все завидовали тому, что я попал на это судно, и, по всей видимости, считали, что я сумел раньше них «выйти на ветер» и теперь первым вернусь домой. Стимсон также твердо решил перейти на «Элерт», он был готов умолять капитана и даже заплатить за место, поменявшись с каким-нибудь матросом. Оставаться на побережье еще на год означало бы оказаться совершенным ослом. Около семи часов к нам в кубрик спустился старший помощник в «шутливом» расположении духа, поднял парней с коек, велел плотнику вытащить скрипку, а стюарду зажечь в твиндеках огни и заставил всех танцевать. Твиндеки были у нас высокие и светлые от постоянного скобления их палубы песчаником, так что могли служить превосходным залом для танцев. Парень с Кейп-Кода отплясывал настоящую рыбацкую джигу, громко шлепая босыми ногами в такт музыке. Это было любимое развлечение старшего помощника, он упивался зрелищем, а если кто-нибудь отказывался танцевать, то грозил лентяям линьком, к вящему удовольствию остальных матросов.

На следующее утро, в соответствии с распоряжением нашего агента, «Пилигрим» поставил паруса и ушел к наветренному побережью на три или четыре месяца. Он снялся без всякой суматохи и проходил настолько близко от нас, что с него даже сумели перебросить к нам письмо. Капитан Фокон сам стоял у штурвала и вел бриг с такой легкостью, словно это был какой-нибудь «рыбачишко». Когда «Пилигримом» командовал капитан Томпсон, всякий раз перед выходом было столько приготовлений, будто снимался семидесятичетырехпушечный корабль. Зато капитан Фокон был настоящим моряком, до последней косточки. Он чувствовал судно и распоряжался на нем с уверенностью сапожника в своей будке. Это подтверждала команда, которая, проплавав с ним полгода, досконально узнала своего капитана. А уж если сами матросы считают человека настоящим моряком, можете быть уверены, что так оно и есть, потому что обычно они признают это с неохотой. Ловить капитана на ошибках — любимое развлечение команды, к тому же оно поставляет ей необходимый запас поводов для недовольства.

После ухода «Пилигрима» мы три недели простояли в Сан-Педро (с 11 сентября по 2 октября), занимаясь обычными портовыми делами, то есть выгружали товар, брали шкуры и

прочее. Все эти работы были много легче, и выполнять их было куда приятнее, чем на «Пилигриме». «Больше людей, дело веселей» — гласит матросская поговорка, и команда двенадцативесельного баркаса без особого труда управляется со всеми шкурами, которые надо перевезти за день. Помощник капитана обычно командовавший нами (чаще всего третий), был приятным молодым человеком и никогда не доставлял нам лишних хлопот. Дело у нас спорилось, и мы, довольно приятно проводя время, были рады хоть ненадолго освободиться от бремени судовой дисциплины. Я то и дело вспоминал те черные дни, которые провел в этом тоскливом уголке побережья: когда с нами дурно обращались на бриге, наше недовольство, когда нас было только четверо для выполнения всех береговых работ. Нет уж, теперь я предпочитаю большое судно. Здесь больше пространства, лучше оснащение, лучше порядки, да и вся жизнь более компанейская. Взять хотя бы то, что на капитанскую шлюпку была назначена постоянная команда. Легкий вельбот, красиво покрашенный, имевший кормовые банки и поперечный румпель, размещался на корме по правому борту и использовался для разъездов. Старшиной на нем был самый молодой из нас — тринадцатилетний парень из Бостона. Вельбот находился в полном его ведении, и он содержал его в чистоте и постоянной готовности. Гребцами были четверо молодых матросов приблизительно того же роста и возраста, что и старшина. Я был в их числе. Место каждого и его весло имели свой номер, и мы должны были являться на свои места с выскобленными добела веслами. Баковый заведовал отпорным крюком и фалинем, а рулевой — румпелем и кормовыми банками. В наши обязанности входило возить капитана, агента и пассажиров, причем это последнее было делом не из самых легких, так как береговые жители не имеют своих лодок, и нам приходилось отвозить на судно, а затем обратно на берег всех покупателей — от мальчишки, явившегося за парой башмаков, до лавочника, купившего дюжину бочонков или тюков. В некоторые дни, когда народу было особенно много, мы не вылезали из шлюпки с утра до вечера, едва выкраивая время на еду. А так как судно стояло почти в трех милях от берега, за день приходилось грести по тридцать — сорок миль. Тем не менее мы считали, что еще очень хорошо устроились, поскольку не надо было работать с грузом или шкурами, а те небольшие узлы и пакеты, которые брали с собой пассажиры, конечно, не шли в счет. Кроме того, нам представлялась возможность всех видеть, завязывать знакомства и узнавать новости. Если в шлюпке не было капитана или агента, мы вообще оставались без начальства и зачастую приятно

проводили время с пассажирами, которые всегда охотно вступали в разговор и веселили нас своими шутками. Нередко нам приходилось по нескольку часов ждать на берегу, и тогда мы вытаскивали вельбот на песок, оставляли кого-нибудь за сторожа и шли в ближайший склад или прогуливались по пляжу, подбирая раковины и забавляясь простыми детскими играми. А ведь остальная команда вообще не сходила на берег, за исключением тех случаев, когда надо было доставить тяжелый товар на берег или шкуры на судно. И хотя мы постоянно мокли в воде, так как прибой, разбивавшийся о берег с утра до вечера, не оставлял на нас сухой нитки, мы упивались своей молодостью, радовались отличной погоде и считали, что это лучше, чем тянуть лямку на борту судна. Мы перезнакомились почти с половиной Калифорнии, ибо, кроме того, что перевозили в своей шлюпке всех местных мужчин, женщин и детей, также доставляли письма, посылки и пакеты, а благодаря тому, что к нам привыкли и легко узнавали по одежде, везде встречали радушный прием.

В Сан-Педро у нас не было такого досуга, ибо там стоял всего один склад. Моим единственным развлечением была верховая прогулка до ближайшего ранчо [40], куда я отправлялся раз в неделю, чтобы заказать для судна очередного быка.

Из Сан-Диего пришел бриг «Каталина», а поскольку мы также должны были идти к наветренному берегу, оба судна снялись одновременно, намереваясь испытать свои ходовые качества на восьмидесятимильном переходе до Санта-Барбары. Мы вышли около одиннадцати часов вечера, используя легкий береговой бриз, который к утру совершенно стих, так что мы заштилели всего в нескольких милях от своего якорного места. «Каталина», которая была меньше нас почти вдвое, отчего ее сильно дрейфовало, спустила баркас и всю ночь буксировалась в море, благодаря чему она раньше нас захватила морской бриз, и мы как побитые собаки смотрели, как она уходит от нас, в то время как наш «Элерт» все еще не мог двинуться с места. Когда морской бриз стих, «Каталина» уже почти исчезла из виду, но во второй половине дня задул сильный и ровный норд-вест, и мы, круто обрасопившись, выбрали все шкоты втугую и резво бросились вдогонку, используя преимущество в скорости на крутых курсах. Пять часов мы шли отменным ходом, закладывая длинные галсы, и стали уже заметно нагонять «Каталину». Нам удалось подойти к ней так близко, что можно было пересчитать все накрашенные у нее на борту порты, но тут ветер снова упал. К счастью, это случилось, когда мы шли галсом к берегу, а наш соперник — от берега, и мы сумели первыми поймать береговой бриз, который задул нам в бакштаг в середине первой вахты. Команда была

вызвана наверх, мы поставили все паруса вплоть до трюмселей и бом-брам-лиселей и благодаря этому плавно заскользили по воде, оставляя позади «Каталину», которая не могла поставить столько парусов, сколько мы. К утру мы вышли на видимость Санта-Буэнавентуры и уже почти не различали нашего конкурента. Тем не менее морской бриз опять дал «Каталине» преимущество, в то время как мы заштилели у мыса и еле ползли, так что к полудню она догнала нас. Так оно и продолжалось — сначала один выходил вперед, а другой отставал, но потом опять нагонял соперника, и роли снова менялись. На третье утро мы вошли в просторную бухту Санта-Барбары двумя часами позже «Каталины» и, таким образом, проиграли гонку. Но если бы она продолжалась только до мыса, то все получилось бы иначе, и мы опередили бы ее не меньше, чем на пять-шесть часов. Это и решило спор об относительной ходкости обоих судов, ибо хотя бриг, как более легкое судно, имел преимущество при слабых ветрах, то при усилении ветра, когда наше судно могло набрать ход, оно неизменно оставляло «Каталину» позади. А вот при лавировке, что всегда является серьезным испытанием для судна, наше превосходство было неоспоримо.

Воскресенье, 4 октября. День нашего прихода. Каким-то образом капитан ухитрился не только выйти в море, но и войти в порт в воскресенье. Главная причина здесь совсем не в том, что это счастливый день, как думают многие. Просто воскресенье — это день отдыха. Шесть дней команда занята перевалкой груза и другими работами, и если в воскресенье ее можно занять еще чем-то, тем выгоднее для судовладельцев. Именно по этой причине наши каботажники и пакетботы выходят в море почти всегда по воскресеньям. То же самое было и у нас, и мы потеряли не один свободный день, пока оставались в калифорнийских водах. Католики на берегу, как правило, не занимаются по воскресным дням ни торговлей, ни поездками, но американец, у которого нет национальной религии, радуется возможности показать свою независимость, располагая свободным днем по собственному усмотрению.

Санта-Барбара выглядела все такой же, как и пять месяцев назад, когда я оставил ее: песчаный берег, о который неустанно с грохотом разбивались тяжелые валы, маленький городок, опоясанный амфитеатром гор. День за днем яркое солнце заливало светом широкую бухту и красные крыши домов. Все вокруг словно оцепенело, и здешние люди, казалось, даже не пытались отработать за этот солнечный свет. У нас было всего несколько посетителей, да и шкур было собрано не больше сотни. Каждый день к заходу солнца вельбот отправлялся за капитаном,

проводившим все вечера в городе. Мы всегда брали с собой куртки, а также кремень и огниво и, разведя на берегу огонь из плавника и сучьев, которые рубили в ближайшем кустарнике, ложились около костра на песок. Иногда мы забредали в город (если капитан возвращался позднее) и коротали время в каком-нибудь доме, благо местные жители радушно принимали нас. Однако рано или поздно капитан возвращался, и мы, как следует вымокнув в прибрежном прибое, добирались до судна, меняли одежду и расходились по койкам, но, к сожалению, не на всю ночь, поскольку надо было еще стоять якорную вахту.

Это подводит меня к рассказу о Томе Гаррисе, моем товарище по вахтам на протяжении девяти месяцев и, если взглянуть на него в общем и целом, несомненно, самой замечательной личности из всех, с кем я только встречался. Во время стоянок в порту мы с Гаррисом каждую ночь по целому часу проводили вдвоем на палубе и во время непрестанных хождений от носа до кормы и обратно я узнал не только его самого и многое о его жизни, но также наслушался рассказов о разных народах, их обычаях и, что было для меня особенно интересно, о всяких тонкостях матросского бытия и морского ремесла, чему не мог бы научиться ни у кого другого. Он обладал безупречной памятью и, по всей видимости, сохранял в своей голове все события своей жизни от самого раннего детства до времени нашего знакомства, и все звенья этой цепи были на месте. Не менее поразительной была его способность считать в уме. Я полагал себя достаточно поднаторевшим в цифири, поскольку изучал математику, но, когда дело доходило до любых расчетов, ни в коей мере не мог состязаться с этим человеком, который не пошел дальше простой арифметики. Его память хранила не только точную копию судового журнала, но и полный перечень всего груза на борту, с указанием места каждого предмета в трюме, равно как и количество шкур, взятых нами в каждом порту.

Однажды он произвел приблизительный подсчет грузовместимости трюма между фок- и грот-мачтами, учитывая его глубину и длину бимсов (он помнил размеры каждой части судна), а также его площадь и среднюю толщину шкуры. Результат оказался удивительно близким к истинному числу, которое мы узнали впоследствии. С ним часто советовался старший помощник относительно емкости разных помещений на судне, а парусному мастеру он мог сказать, сколько потребуется парусины на любой парус, ибо знал размеры каждого в футах и дюймах. Когда мы находились в море, он вел в уме счисление пути судна, учитывая изменения хода и курса, и, если за двадцать четыре часа курс не слишком менялся, он успевал произвести

расчеты еще до того, как капитан брал полуденную высоту солнца, и нередко очень близко угадывал истинное место. У него в сундуке хранилось несколько книг с описанием разных механических изобретений, которые он перечитывал с неизменным удовольствием и, можно сказать, досконально изучил их. Вряд ли он забывал хоть что-нибудь из прочитанного. Из поэзии он был знаком лишь с «Кораблекрушением» Фальконера и с удовольствием декламировал его страницы. Он говорил, что помнит имена всех матросов, а также капитанов и помощников, с которыми когда-либо плавал, и конечно же, названия всех судов, равно как и все важные даты каждого рейса. Как-то мы встретили одного матроса, служившего вместе с Гаррисом двенадцать лет назад, и Том рассказал ему про него самого такое, что тот уже давно забыл. Никому не приходило в голову усомниться в приводимых им фактах, и лишь немногие решались спорить с ним, ибо независимо от того, был ли он прав или нет, Гаррис всегда приводил самые веские аргументы. Его умение рассуждать на любую тему было просто поразительно, и возражать ему, даже если я не сомневался в собственной правоте, оказывалось очень непросто, и отнюдь не из-за его упрямства, а единственно по причине крайне развитой в нем сообразительности. Стоило ему получить хоть ничтожные сведения о предмете разговора, и я скорее согласился бы спорить с любым из моих коллег по колледжу, чем с этим парнем. Я никогда не рисковал отвечать на его вопросы или высказывать свое мнение, прежде не подумав дважды. Благодаря цепкости своей памяти, он неизменно имел в запасе все сказанное вами в прошлом, и если вы в чем-нибудь противоречили самому себе впоследствии, то моментально клал вас на лопатки. Я понимал всю незаурядность этого человека и испытывал к нему истинное уважение. Если бы на его образование пошла хотя бы часть тех усилий, которые ежегодно затрачивают вхолостую на наших студентов в колледжах, он, несомненно, добился бы достойного положения. Как и большинство талантливых самоучек, он сильно завышал истинную цену систематического образования. Я старался разубедить его, хотя сам получал выгоду от подобного заблуждения — он неизменно выказывал мне полное уважение и часто без особых оснований отступал перед моими будто бы глубокими познаниями. Что касается умственных способностей остальной команды (включая и капитана), то он относился к ним с величайшим презрением. Как моряк он намного превосходил нашего капитана, включая его познания в навигации. Матросы говорили про Гарриса: «У Тома мысли длиной с бушприт», и если кто-нибудь начинал спорить с ним, то тому, бывало, советовали:

«Брось, Джек, не хватай горячую картошку голыми руками. Ты и моргнуть не успеешь, как Том вывернет тебя наизнанку!»

Помню, как он озадачил меня рассуждениями о Хлебных законах. Когда я поднялся наверх, чтобы стоять вахту, он был уже на палубе, и мы, как обычно, стали расхаживать по шкафуту. Он поинтересовался моим мнением о Хлебных законах, и я выложил свои небогатые познания, стараясь представить их в лучшем свете, полагая, что его сведения по этому вопросу уступают моим. Когда я закончил говорить, он позволил себе не согласиться со мной и выставил совершенно неожиданные аргументы и факты, на которые у меня не нашлось вразумительного ответа. Я признался, что почти ничего не знаю об этом предмете, и выразил удивление его осведомленностью. Тогда он рассказал, как несколько лет назад ему довелось жить в некоем бординг-хаузе [41] в Ливерпуле, где он случайно нашел брошюру о Хлебных законах. Поскольку там содержались вычисления, он прочел ее очень внимательно и с тех пор искал кого-нибудь, кто мог бы пополнить полученные им сведения. Несмотря на давность знакомства с сим предметом, совершенно необычным для моряка, он тем не менее сохранил в памяти всю цепь рассуждений, основанных на принципах политической экономии. Ему было известно даже устройство паровой машины, поскольку он провел несколько месяцев на пароходе. Он знал каждую звезду на небесной сфере и умел пользоваться квадрантом и секстаном. Матросы говаривали, что Гаррису достаточно ведра со смолой, чтобы взять меридиональную высоту солнца. Таков был этот человек, отправлявший в свои сорок лет все ту же собачью должность матроса за двенадцать долларов в месяц. Причина этого крылась в его прошлом, о котором я узнал от него самого.

Он был англичанином, уроженцем Ильфракомба в Девоншире. Родитель его плавал шкипером на небольшом бристольском каботажнике. После его смерти Гаррис еще совсем ребенком остался на попечении матери, благодаря заботам которой смог получить начальное образование. Зимой он ходил в школу, а лето проводил в море, работая на каботажных судах, и так до семнадцати лет, когда он покинул дом и отправился в дальнее плавание. О своей матери он всегда отзывался с глубочайшим почтением, как о женщине большого ума, которая следовала превосходной системе воспитания, благодаря чему все три его брата вышли в люди, и лишь один он из-за своего невероятного упрямства остался неудачником. В одном, по его словам, ее метод воспитания сильно отличался от метода других матерей, пестующих своих детей: когда он, бывало, оказывался не в духе и отказывался есть, его мать, вместо того чтобы отобрать у

него тарелку и назидательно сказать, что, дескать, голод все равно возьмет свое, вставала рядом и заставляла проглотить пищу, всю до последней ложки. Его чувство признательности к ней за все ее старания, хотя и безуспешные, было столь велико, что после окончания плавания он намеревался отправиться домой со всем своим заработком, чтобы поддержать ее в старости, если найдет старушку в живых.

Он провел почти двадцать лет в море, совершая самые разные рейсы, но чаще всего из Нью-Йорка или Бостона. Двадцать лет порочной жизни! Все грехи, каким только предаются матросы, были изведаны им до самого дна. Несколько раз судьба бросала его на больничную койку, но благодаря необыкновенной крепости организма он поднимался с нее живым и здоровым. Неоднократно, благодаря его всеми признанным познаниям в морском деле, его продвигали на место старшего помощника, однако его поведение в порту, и прежде всего ничем неодолимая склонность к пьянству, неизменно сбрасывали его вниз, в матросский кубрик. Однажды ночью, с горечью вспоминая свою прошлую жизнь и лучшие годы, растраченные понапрасну, он сказал мне: «Там, внизу, в кубрике, стоит мой сундук со всякой рухлядью — вот итог двадцати двух лет каторжного труда, когда работаешь как лошадь, а с тобой обращаются как с собакой». С годами он стал понимать, что необходимо хоть как-то обеспечить собственную старость, и постепенно пришел к убеждению, что злейший его враг — это ром. Однажды в Гаване на судно привезли напившегося до потери сознания молодого матроса с глубокой раной в голове, обобранного до нитки. Гаррис сотни раз сам бывал в таких переделках, но при тогдашнем его состоянии этот случай укрепил в нем решимость никогда больше не прикасаться к спиртному. Он не подписывал обязательств и не давал зарока, а надеялся только на свою силу воли. Самым главным для него было обсудить все с самим собой, потом созревало решение, и дело было сделано. С тех пор, а это случилось три года назад и до начала нашего знакомства, он не брал в рот ничего крепче сидра или кофе. Матросам даже в голову не приходило соблазнять Тома стаканчиком — это было равносильно обхаживанию судового компаса. Он сделался трезвенником на всю жизнь и мог бы занимать теперь на судне любую должность, при том что на берегу многие люди высокого звания гораздо ниже его по своим достоинствам.

Он умел управлять судном по всем правилам мореходной науки, мог объяснить, как и для чего применяется каждая снасть. Долгий опыт и острая наблюдательность позволили ему досконально узнать все средства и способы борьбы с опасностью в

море, и я неизмеримо обязан ему тем, что он с величайшей охотой открывал для меня свои неистощимые запасы сведений. Его рассказам о тиранстве и невзгодах, заставлявших людей становиться пиратами, о невероятном невежестве капитанов и помощников, об ужасающе жестоком обращении с больными, неуважении к покойникам и умирающим, равно как о тайном и явном мошенничестве судовладельцев, капитанов и их помощников, обмане матросов, я не мог не поверить, поскольку это исходило из уст человека, для которого любое преувеличение фактов было равносильно лжи. Вспоминаю, например, рассказ об одном капитане, слышанный мной и раньше, который, когда ему нужно было передать какой-нибудь предмет из рук в руки матросу, швырял этот предмет на палубу и пинал ногой, а также о другом капитане с большими связями в Бостоне, который буквально загнал в гроб молодого матроса во время рейса на Суматру. Он заставил его, заболевшего лихорадкой, выполнять все самые тяжелые работы и спать в закрытом наглухо кормовом кубрике. (Впоследствии этот капитан умер в тех же краях от той же лихорадки.)

Если сложить вместе все то, что я узнал от Гарриса о морском деле и матросском бытии, о мудрости человека и его природе, как они проявляются в незнакомых для меня обстоятельствах, что также совершенно неизвестно большинству людей, то смело могу утверждать, что не променял бы те часы, проведенные на вахте с этим человеком, на целые сутки ученых бесед и умственных упражнений в самом лучшем обществе.

Глава XXIV
Снова Сан-Диего

Воскресенье, 11 октября. Снялись с якоря и прошли в виду Сан-Педро, но, к нашей великой радости, не заходили туда, а направились прямо в Сан-Диего, куда прибыли в

четверг, 15 октября. Застали здесь итальянское судно «Роса», которое видело «Пилигрим» в Сан-Франциско. Как всегда, в Сан-Диего все было спокойно. Мы выгрузили шкуры, копыта и жир и приготовились снова сняться в следующее воскресенье. Я съездил на берег в свою прежнюю резиденцию и нашел, что складская команда продолжает работать с той же размеренностью. Уже после захода солнца я провел час или два около печи и покурил со своими старыми приятелями-канаками, которые от души обрадовались моему появлению. Я был немало опечален, узнав о гибели моего бедного пса Браво. Он совершенно внезапно заболел и издох на другой день после того, как я ушел в море на «Элерте».

Наш выход в море и на этот раз был приурочен к воскресенью, и мы снялись при крепком ветре, который напомнил нам, что сейчас уже конец осени и надо готовиться к норд-остам. Мы шли в лавировку под зарифленными марселями против сильного ветра и так до самого Сан-Хуана, где стали на якорь в трех милях от берега, заведя якорные канаты дуплинем, как и в прошлом году. Во время рейса до Сан-Диего у нас на борту был один старый капитан, который, женившись на местной женщине, обосновался в Калифорнии и не плавал уже лет пятнадцать. Его поразили перемены и усовершенствования на судах, но еще больше то, как мы несли паруса. Он был немного испуган и сказал, что непременно взял бы рифы на марселях, тогда как мы шли под всеми брамселями. Лавировка судна привела его в восхищение и он заявил, что оно выходит на ветер, как при верповании.

Вторник, 20 октября. Завершив все приготовления, мы высадили на берег агента, и он отправился в миссию, чтобы поторопить с доставкой шкур к следующему утру. Нам было строжайше приказано следить за малейшими признаками зюйд-оста, поскольку неторопливые, низкие облака выглядели весьма угрожающе. Однако ночь прошла спокойно, и рано утром мы спустили на воду баркас, восьмерку, кормовые шлюпки и отправились на берег за шкурами. Итак, мы снова оказались в этом романтическом уголке — та же отвесная, вдвое выше наших мачт скала, на вершину которой взбирается извилистая тропинка.

Там, над самой пропастью, и были свалены шкуры. А внизу — все тот же песчаный берег, на который обрушивал свой мощный прибой Тихий океан. Меня, как единственного из команды, кто уже бывал здесь, послали наверх пересчитать шкуры и сбросить их со скалы. Снова, как и полгода назад, я швырял шкуры вниз, наблюдая, как они, переворачиваясь в воздухе и ударяясь о камни, летят в пропасть, а люди, которые казались с такой высоты карликами, бегали взад и вперед по песку и перетаскивали их в шлюпки. Два или три раза шлюпки уходили с полным грузом, но наконец все было сброшено. Нас задержали еще штук двадцать шкур, зацепившихся за выступы скал — мы не могли сбить их никакими метательными орудиями, поскольку склон был совершенно отвесным. Шкуры в Бостоне ценятся по двенадцать с половиной центов за фунт, и, поскольку капитан получает один процент комиссионных, он не желал терять ни одной штуки и поэтому послал на судно за парой брам-лисель-фалов и предложил кому-нибудь из нас спуститься за «товаром». Старые матросы кивали на молодежь, более сноровистую и легкую на подъем, а последние возражали — мол в таком деле нужны физическая сила и опытность. При виде сих затруднений я счел себя золотой серединой и решил взяться за это дело, выбрав одного матроса, чтобы тот помогал мне, и полез наверх.

Там мы нашли крепко вбитый в землю кол, который, по всей видимости, мог выдержать мой вес. За этот кол закрепили один конец фала, а всю бухту сбросили вниз с кручи. Другой конец фала достиг как раз небольшой площадки на склоне, откуда было нетрудно спуститься к самому берегу. На мне была обычная для лета матросская одежда — рубашка, штаны и шляпа, — так что не было надобности раздеваться, и я, ухватившись обеими руками за фал, начал спускаться, то обхватывая фал ногами, то отталкиваясь от скалы и рукой, и ногой. Таким манером я добрался до того места, где застряли шкуры. Держась за фал, я вскарабкался на полку скалы и при помощи ног и свободной руки сумел столкнуть вниз все шкуры, после чего продолжал спуск. Я уже не увидел ничего внизу, кроме моря и утесов, да нескольких чаек, которые парили в воздухе. Спустился я благополучно, хотя вымазался изрядно, но за все мои старания услышал только: «Ну и дурак же ты — рисковать жизнью ради дюжины проклятых шкур!» Пока мы носили груз к шлюпке, я увидел то, на что не имел времени обратить внимание при спуске: с моря ползли тяжелые черные тучи, прибой накатывал на песок все сильнее, словом, я заметил все признаки приближающегося зюйд-оста. Капитан подгонял нас. Мы перекидали шкуры в шлюпки и, не без труда преодолев прибой (приходилось стоять почти по грудь в

воде), навалились на весла. Наш вельбот буксировал восьмерку, а другая шлюпка с шестью гребцами тянула за собой баркас. Судно стояло в трех милях, уже пританцовывая на якорях, и чем дальше мы гребли, тем крупнее становилась волна. Несколько раз нашу шлюпку ставило почти вертикально. На восьмерке лопнул буксир, и баркас с минуты на минуту могло залить. Наконец наполовину затопленные шлюпки подошли к борту, и началось самое трудное — разгрузка в штормовом море, когда кидает так, что почти невозможно держаться на ногах, а шлюпку то и дело подбрасывает до самого планширя. С величайшим трудом мы переправили все шкуры на судно и уложили в трюм, после чего завели рей- и штаг-тали и подняли баркас с восьмеркой, а затем и кормовые шлюпки. Потом мы принялись выхаживать якорный канат. Сняться в такую погоду — дело нешуточное, но мы не собирались возвращаться снова в этот порт, и капитан никак не хотел оставлять тут свой якорь. Нос судна исчезал в волнах, вода бурными потоками врывалась через клюзы, а канат дергал с такой силой, что казалось вот-вот сорвет барабан шпиля.

— Панер, сэр! — закричал старший помощник.

— А ну, ребята, ставить марсели, да поживее! Несколько мгновений потребовалось, чтобы отдать и поставить марсели со взятыми на них рифами. «Помоги товарищу» — таков был наш девиз, и каждый понимал необходимость этого, так как шторм уже накрыл нас. Судно буквально вырвало якорь, который мы тут же подняли и завалили должным образом, было приведено как можно круче к ветру и под зарифленными парусами пошло прочь от подветренного берега и скал в штормовое море. Поставили еще фок, чтобы хоть немного помочь судну, но оно все же с трудом удерживалось против волны, сносившей его под ветер.

— Пошел грота-галс! — скомандовал капитан, когда галс был уже заложен на шпиль, и вся команда стояла на вымбовках.

Грот сразу же вздулся, словно намереваясь поднять грота-штаг. Блоки скрипели и бились в воздухе, однако сила механизма переборола стихию.

— Пошел шпиль! Шпиль на пал! А ну, дружнее!

И в ритме шанти двадцать мускулистых рук начали проворачивать шпиль. Вскоре галсовый угол паруса был подтянут почти до ватервейса, а вахта правого борта выбрала шкот, и судно, подобно обезумевшей лошади, запрыгало по волнам, сотрясаясь всем корпусом и вздрагивая каждым своим сочленением, отряхивая с носа пену, которая при каждом ударе волны летела на многие ярды под ветер. Полчаса такого хода, и дело было сделано. Теперь убрали грот, и судно, словно почувствовав облегчение, пошло более или менее плавно. Вскоре

на фоке были взяты рифы, а нас, крюйс-марсовых, послали взять еще один риф на крюйс-марселе...

Обогнув мыс и отойдя довольно далеко от берега, мы обрасопили реи, добавили парусов и пошли почти на чистый фордевинд прямиком к Сан-Педро. Всю ночь был сильный ветер с дождем, но к рассвету неожиданно заштилело, шторм выдохся, и в

четверг, 22 октября мы пришли в Сан-Педро на свое старое якорное место, открытое зюйд-остам, в лиге от берега и стали с дуплинем на якорном канате, с рифами на марселях и заменив сезни каболками. Здесь мы оставались десять дней, занимаясь обычной перевозкой шкур, вкатывали товары на крутой холм, ходили босиком по острым камням и мокли по шею в соленой воде.

На третий день из Сан-Хуана пришла «Роса». Она была там через сутки после зюйд-оста, и, по рассказам команды, гавань выглядела гладкой, как деревенский пруд. «Роса» взяла в Сан-Хуане тысячу шкур, которые были предназначены нам, но из-за шторма остались на берегу. Это немало опечалило нас, и не только оттого, что нас обошел «итальянец», но прежде всего потому, что каждая сотня шкур приближала нас к тем сорока тысячам, собрав которые, мы смогли бы распроститься с Калифорнией.

Здесь же, в Сан-Педро, к нам на судно нанялся новый матрос, англичанин лет двадцати шести, оказавшийся хорошим моряком, да еще имевший приличный голос. Кроме того, и это было для меня более существенно, он получил хорошее образование. Назвался он Джорджем Маршем и рассказывал, что начал плавать еще с детства на судах контрабандистов, промышлявших на побережье Германии и обоих берегах Английского канала. Этим он объяснил свое знание французского языка, которым владел не хуже, чем английским. Его «палубное» воспитание явно не имело никакого отношения к той правильной английской речи, которую он употреблял и которая уж никак не могла быть ему привита на «контрабандисте». Писал он каллиграфическим почерком, изъяснялся изысканно, в разговорах со мной он прибегал к книжным выражениям и даже приводил по памяти целые отрывки из литературных произведений и, кроме того, обнаружил поразительные знания английского судебного права и парламентских правил. И при всем этом он уверял, будто его воспитывали контрабандисты. Один матрос, с которым я случайно разговорился и который когда-то плавал вместе с Джорджем, рассказывал, что однажды слышал в бординг-хаузе, где они вместе остановились, что тот обучался в колледже

(скорее всего, в морском, так как он не знал ни латыни, ни греческого), отчего и знает математику и французский язык. Он был совсем не такой человек, как Гаррис. Гаррис добился всего вопреки обстоятельствам, благодаря своему уму и характеру, а Джордж, по всей очевидности, происходил совершенно из других слоев общества и в раннем возрасте получил соответствующее воспитание, но впоследствии, так ничего и не добившись, превратился в бродягу. Впрочем, он и не отличался той силой характера и цепкостью ума, как Гаррис; у него сохранились лишь воспоминания о хорошем образовании, и в придачу — понятие о чести и отзывчивость, которые не смогли сломить годы собачьей жизни. После того как он пробыл некоторое время у нас на судне, мы узнали от него самого историю его приключений за последние два года, что впоследствии подтвердилось, и у нас уже не оставалось сомнений относительно правдивости этого человека.

Если я не ошибаюсь, в 1833 году он вышел из Нью-Йорка в Кантон на бриге «Лэскар». В Ост-Индии это судно было продано, и он нанялся в Маниле на небольшую шхуну, занимавшуюся торговлей между островами. Однажды эта шхуна наскочила на риф, команда подверглась нападению аборигенов, и после отчаянной схватки в живых остались лишь капитан, сам Джордж и юнга. Им пришлось сдаться, их связали и отвезли в пироге на ближайший остров. Через месяц одному из них удалось бежать. Я уже забыл все подробности, но такая возможность предоставилась только одному, и они избрали капитана, после того как тот обещал в случае удачи вызволить остальных. Его попытка увенчалась успехом, он добрался до американского судна, возвратился в Манилу, а оттуда в Америку, так ничего и не сделав для их освобождения. Как обнаружилось впоследствии, капитан даже не сообщил никому о случившемся. Юнга, который остался вместе с Джорджем, умер, и теперь, когда для Джорджа не было уже никакой надежды, островитяне стали относиться к нему добрее. Они раскрасили его и покрыли тело татуировкой (впрочем, он не позволял трогать лицо и руки) и дали ему двух или трех жен. Так он прожил полуголый, в совершенной праздности больше года в благословенном климате, в полнейшем изобилии. Однако вскоре это ему наскучило, и он под разными предлогами стал посещать отдаленные уголки острова, высматривая, не покажется ли где судно. Как-то раз Джордж вместе с одним островитянином отправился в маленькой пироге на рыбную ловлю и неожиданно заметил в полуторах лигах паруса большого судна. С превеликим трудом ему удалось уговорить своего товарища добраться до судна, за что наобещал тому много табака и рома. Эти предметы, к которым аборигены

уже приохотились благодаря стараниям американских торговцев, были слишком соблазнительны для его спутника, и тот согласился. Они пустились наперерез судну и гребли изо всех сил, пока то не подошло к ним. Джордж поднялся на палубу, почти совершенно голый и разукрашенный татуировкой с головы до пят, так что его было почти невозможно отличить от настоящего островитянина. Каково же было изумление моряков, когда он заговорил. Выслушав его, капитан приказал вымыть его и одеть. А бедный островитянин был отпущен, получив в подарок нож, немного табака и кусок ткани. Так Джордж попал на нью-йоркское судно «Кабот» под командованием капитана Лоу. Оно направлялось в Манилу, и до прихода туда Джордж работал матросом, а там нанялся на бриг, шедший на Сандвичевы острова. Из Оаху он пришел в Монтерей вторым помощником на английском бриге «Клементина», однако, не поладив с капитаном, сошел на берег в Сан-Педро, где и попал к нам. Спустя полгода в газетах, доставленных пришедшим из Бостона судном, мы прочитали письмо капитана Лоу, в котором в точности описывались все события, рассказанные нам самим Джорджем.

У Джорджа был интересный дневник с подробным описанием всех его приключений на островах Палау, написанный красивым почерком, добротным английским языком.

Глава XXV
Слухи о войне

Воскресенье, 1 ноября. Вышли в Санта-Барбару (опять в воскресенье) и прибыли туда 5-го. Уже при подходе к якорному месту мы увидели в порту два судна: одно с полным прямым парусным вооружением и маленькую бригантину. Судно побольше, по мнению матросов, было «Пилигримом», но я достаточно долго плавал на этом бриге, чтобы согласиться с ними. Длинный острый нос и наклоненные мачты подтвердили мою правоту. Теперь стали говорить, что это или военный бриг или балтиморский клипер. «Аякучо», — подумал я, и почти сразу у него на гафеле взвился флаг св. Георгия — белое полотнище, пересеченное кроваво-красным крестом. Еще несколько минут, и все сомнения рассеялись — мы встали рядом с «Аякучо», вышедшим из Сан-Диего месяцев девять назад, когда мы стояли там на «Пилигриме». С тех пор он побывал в Вальпараисо, Кальяо и на Сандвичевых островах и только недавно возвратился в калифорнийские воды. К нам подошла его шлюпка с капитаном Вильсоном, и через полчаса по судну распространилась новость о том, что началась война между Соединенными Штатами и Францией. В кубрике поползли самые нелепые слухи. Будто уже произошли сражения, а в Тихом океане появился большой французский флот и прочее и прочее. Один из матросов с «Аякучо» утверждал, что, когда они снимались из Кальяо, стоявшие там французский и американский фрегаты должны были выйти в море и сразиться между собой, а британский фрегат «Блонд» собирался выступить в качестве третейского судьи, дабы следить за соблюдением всех правил поединка. Для нас это были важные новости. Мы оказались у незащищенного берега, где нет ни единого американского военного корабля на несколько тысяч миль. А ведь нам предстояло обратное плавание через два океана! При таких обстоятельствах скорее попадешь во французскую тюрьму, а не домой, в наш добрый Бостон. Но мы достаточно крепко «просолились» за это время чтобы верить всем басням, которые пересказывают в кубрике, и поэтому ждали, что скажет начальство. От клерка я узнал суть дела, оно сводилось к разногласиям между правительствами касательно выплаты долгов. Угроза войны действительно возникла и уже велись приготовления к ней, но военные действия не были объявлены, хотя и ожидалось, что это вскоре произойдет. Все выглядело не так уж мрачно, однако поводы для беспокойства были. Впрочем,

нас мало тревожили подобные дела. «Будь, что будет!» — вот девиз Джека-матроса. И навряд ли французская тюрьма много хуже каторжной канители со шкурами. Тот, кто не побывал в бесконечно долгом плавании, «взаперти» на одном и том же судне, не может постичь, какое действие оказывает на весь образ мыслей монотонная рутина будней. Поэтому предвкушение новых событий, подобно оазису в пустыне, рождает в душе чувство восторга, словно приводит саму жизнь в движение, чем доставляет неизмеримое удовольствие, недоступное для постороннего. Уже много месяцев в нашем кубрике не было такого веселья. Матросы пришли в неописуемое возбуждение, всех охватило смутное ожидание иных деяний и новых свершений, отчего повседневная судовая жизнь с ее рутиной представлялась нам уже чем-то совершенно ничтожным. Перед нами словно забил новый источник — неисчерпаемая тема для всяческих разговоров, предмет всевозможных дискуссий. В груди у нас зашевелилось чувство национальной гордости, на нашего единственного француза градом посыпались шуточки, и он живо превратился у нас в «старую клячу», «пойло» и прочее.

В течение двух месяцев мы оставались в совершенном неведении относительно этой войны, пока пришедшее с Сандвичевых островов судно не привезло известия о мирном исходе.

Вторым кораблем, стоявшим в Санта-Барбаре, была бригантина «Эвон», также с Сандвичевых островов. Она выделялась своей элегантностью, и ежедневно с восходом и заходом солнца на ней палила пушка при подъеме и спуске флага. У них был оркестр в составе четырех-пяти инструментов, и вообще это судно больше походило на прогулочную яхту, чем на обычного «купца». Тем не менее наравне с «Лориоттой», «Клементиной», «Боливаром», «Конвоем» и прочими мелкими посудинами, принадлежавшими обосновавшимся в Оаху американцам, она поддерживала оживленную торговлю (в том числе контрабандную) мехом выдры, шелками, чаем и прочим и, конечно же, перевозила шкуры и жир.

На другой день после нашего прибытия из-за мыса появился неизвестный бриг, с полным парусным вооружением, он неторопливо пересек бухту и ушел на юго-восток в направлении острова Каталина. Еще через день снялся «Эвон», взяв курс на Сан-Педро. Подобное совпадение могла не заметить только береговая охрана или калифорнийские жители, но мы-то хорошо понимали эту механику. Бриг уже не показывался на побережье, зато «Эвон» через неделю прибыл в Сан-Педро со значительно пополнившимся грузом кантонских и американских товаров.

Таков один из способов избежать уплаты высоких пошлин, которые мексиканцы налагают на импортные товары. Делается это так: судно приходит в Монтерей, где есть единственная на всю Калифорнию таможня, и регистрирует там свой весьма скромный груз. После этого открывается торговля. А через месяц, продав значительную часть своего товара, это судно уходит на остров Каталина или какой-нибудь другой необитаемый остров мористее побережья и берет там с другого судна, пришедшего из Оаху и уже ожидающего его, отборный груз. Дня через два после ухода «Эвона» появилась «Лориотта», которая, несомненно, тоже урвала кусок.

Вторник, 10 ноября. Как обычно, перед закатом солнца пошли на вельботе забрать капитана, а когда возвращались, то увидели, что на нашем судне, которое лежало мористее других, поднят флаг. Конечно, это означало только одно: «Вижу парус!», однако мы были закрыты мысом и ничего не могли рассмотреть. «Навались, ребята, навались! Заноси больше!» — подгонял нас капитан, то откидываясь всем телом назад, то выкидывая руки вперед до предела; мы заставили шлюпку нестись по воде, словно ракета. Через несколько минут такой гребли из-за мыса один за другим начали открываться острова, и уже был виден пролив, в котором с легким попутным ветром направлялось к якорной стоянке какое-то судно под брамселями. Повернув к нему, капитан велел навалиться еще сильнее, но нас и не нужно было понукать, ибо перспектива побывать на новом судне, пришедшем, может быть, из дома, узнать новости, которые потом можно рассказывать в кубрике, настолько воодушевила нас, что мы напрягались как только могли. Сидевший в вельботе капитан «Лориотты» Най, старый китобой, тоже вошел в азарт. «Не жалей хребтов, ломай весла! Хорошо пошла!» — громко выкрикивал он. В это время сделался вдруг мертвый штиль, и, поскольку до судна оставалось мили две, не больше, мы рассчитывали вскоре подойти к нему. Но как на зло задул бриз, на судне перебрасопили реи и легли на левый галс, хорошим ходом направились к островам. Это, конечно, заставило нас остановиться; капитан скомандовал: «Легче, левая!, Правая навались!», и мы вернулись на «Элерт» с таким чувством, словно нас отхлестали по щекам. Всю ночь дул легкий береговой бриз, и новоприбывшее судно стало на якорь только под утро.

Оно оказалось китобойным судном «Вилмингтон энд Ливерпул пэкет» из Нью-Бедфорда, которое возвращалось с промысла, имея в трюмах девятнадцать сотен бочек ворвани. В нем с первого взгляда нетрудно было узнать «фонтанщика» по подъемным устройствам и шлюпкам, коротким брам-стеньгам и

вообще по неряшливому виду парусов, такелажа и корпуса. Когда мы поднялись на борт, то нашли и все остальное в том же «китобойном» стиле. Его фальшпалуба была грязная от жира и вся в выщерблинах, такелаж болтался, давно не смолившиеся снасти начинали уже белеть, с рангоута и блоков везде слезала краска, сезни на парусах были наложены кое-как. Капитан, тощий и долговязый квакер в коричневом сюртуке и широкополой шляпе, расхаживал по юту, опустив голову, а его люди напоминали скорее рыбаков или фермеров, чем настоящих матросов.

Несмотря на то что погоду никак нельзя было назвать холодной (мы, например, ходили в одних красных рубахах и парусиновых штанах), все они были одеты в шерстяные штаны, но не голубые, как полагается на порядочном судне, а всех мыслимых цветов: коричневые, серые и даже зеленые, с нашитыми карманами, чтобы просто совать туда руки, и в подтяжках. Добавьте к этому шерстяные фуфайки, полосатые шерстяные шарфы, сапоги из толстой воловьей кожи, острый запах ворвани и вообще дилетантский вид всего, что бы ни попадало вам на глаза, — и описание будет вполне полным. Восемь, если не десять человек торчали на фор-марса-рее, столько же на грота-рее, занимаясь уборкой парусов, а десяток других болтались на баке без всякого дела. Странно было видеть такую картину на судне. Мы подошли к ним узнать, в чем дело. Какой-то здоровяк показал на свою ногу и сказал, что у него цынга; другой порезал себе руку, остальные были, слава богу, в добром здравии, но объяснили, что на мачтах и так хватает народа, и им вполне можно «постираться». Только один матрос представлял собой прекрасный образец просмоленного «сплесня» [42] — морского волка, — он-то и закатывал пузо фор-марселя. Конечно, помощники капитана, гарпунщики и еще двое-трое уже не впервые ходили в море, но остальная команда была набрана совсем недавно и не успела еще «вытрясти сено из волос». Пока они убирали передние паруса, крюйсель так и висел на бык-горденях, и вообще тридцать человек возились полчаса с тем, что на «Элерте» при восемнадцати матросах было бы сделано за пятнадцать-двадцать минут [43].

Они провели в море около восьми месяцев и поэтому не могли сообщить нам ничего нового. Перед возвращением на свое судно мы испросили у них позволения приехать погостить вечером и посмотреть на кое-какие диковины. После ужина, отработав у себя на борту, мы взяли шлюпку и отправились на китобоец, где провели час или два. Нам подарили пластины китового уса, зубы кашалота и прочие морские диковины. Кроме того, мы обменялись с китобоями книгами, что составляет

обычную практику на судах, встречающихся в иностранных портах. Благодаря этому можно избавиться от надоевших зачитанных чуть ли не до дыр книг, а взамен получить новые, тем более что Джек-матрос не очень-то обращает внимание на их сравнительную ценность [44].

Четверг, 12 ноября. Сегодня еще с раннего утра похолодало, в небе появились черные тучи, но, поскольку такое бывало довольно часто, никто не обратил на это внимания, и все капитаны отправились на берег. К полудню горы заволокло тяжелыми тучами, спускавшимися чуть ли не до половины склонов, а с зюйд-оста начал накатывать мощный прибой. Старший помощник без промедления послал на берег вельбот, и одновременно мы увидели, как от остальных судов тоже отваливают шлюпки. Это послужило прекрасным поводом для состязания в гребле, и, конечно же, все старались превзойти самих себя. Мы обошли шлюпку с «Аякучо» и «Лориотты», но не могли догнать большую шестерку с китобойца, которая подошла к полосе прибоя раньше нас. Но тут мы получили преимущество, поскольку они, не имея необходимого навыка, были вынуждены дожидаться, чтобы посмотреть, как преодолеваются грозные буруны. Таким образом, в точности повторилась сцена, случившаяся на этом месте почти год назад, когда мы с «Пилигрима» радовались возможности поучиться у канаков.

Как только мы с трудом подошли к берегу и развернули шлюпки носом в море, наш старый приятель-англичанин, несравненный моряк Билл Джексон, рулевой в шлюпке «Лориотты», закричал, что его бриг дрейфует. И действительно, «Лориотту» дрейфовало на якорях в глубину бухты. Не дожидаясь капитана (поскольку на борту не оставалось никого, кроме старшего помощника и стюарда), Билл прыгнул в шлюпку, собрал своих канаков и попытался отойти от берега. Но канаки, несмотря на все их непревзойденные морские качества, так испугались при виде дрейфующего судна, да еще при столь грозных обстоятельствах, что, казалось, внезапно растеряли все свои навыки. Дважды их шлюпку заливало и выбрасывало лагом на песок. Джексон сыпал проклятиями, обзывая свою команду шайкой дикарей, и грозился перепороть всех до единого, но дело от этого не шло лучше. Тогда мы предложили свою помощь, и он велел канакам рассесться по банкам, а мы, встав по двое с каждого борта, потащили их на глубину, пока вода не дошла нам до плеч, и они, дружно заработав веслами, сумели вывести шлюпку на длинную и прямую волну. Тем временем к «Лориотте» уже спешили шлюпки с нашего судна и с китобойца. Совместными усилиями на ней отдали второй якорь, вытравили

канат, обрасопили реи по ветру и, наконец, остановили судно.

А капитаны уже бежали к берегу. Нельзя было терять ни секунды, шторм обещал быть грозным, и прибой с каждым мгновением становился все выше. Первой отошла шлюпка «Аякучо» с четырьмя канаками на веслах, хотя, не имея ни руля, ни рулевого весла, они вообще могли бы остаться на берегу, если бы мы не протащили их шлюпку на руках, сколько позволяла волна. Потом наступил черед китобоев, а мы, будучи более опытными «завсегдатаями пляжа», не нуждались в помощи. Китобои — отличные гребцы, но отходить от берега в такую погоду им еще не приходилось, и, несмотря на пример канаков, их развернуло, подбросило — шлюпку, весла и людей всех вместе — и вышвырнуло на песок. Во второй раз они зачерпнули воды по планширь, и, чтобы вылить ее, пришлось переворачивать посудину. Мы ничем не могли помочь, поскольку их было так много, что и без нас они почти не давали друг другу повернуться. В третий раз они все-таки отошли, хотя и приняли на себя волну, наполовину затопившую суденышко, так что на всем пути до судна им пришлось непрестанно вычерпывать воду. Теперь приготовилась наша команда. Англичанин Бен и я, как самые рослые, стали по бортам шлюпки, чтобы удерживать ее носом к волне, двое других взялись за кормовые весла, а капитан — за рулевое весло. Стоявшие тут же на берегу трое мексиканцев, обмотанные своими одеялами, только смотрели на нас, качали головами и бормотали: «Caramba!» [45] Они вовсе не склонны к таким занятиям, водобоязнь — их национальная болезнь, проявляющаяся не только в их поведении, но и написанная у них на лицах.

Выжидая «спокойного момента», мы решили показать остальным, как надо преодолевать прибой, и, собрав все силы, бегом потащили шлюпку от берега, стараясь держать нос прямо к волне, в чем нам помогал рулевым веслом капитан. Кормовые гребли сильно и ровно, и, когда дно стало уходить из-под ног, мы, подпрыгнув, упали в нос шлюпки и старались не шевелиться, чтобы ничему не помешать. Некоторое время исход нашей попытки оставался неясен. Шлюпка то взмывала носом ввысь, становясь почти вертикально, то отвесно ныряла вниз, и волна била с такой силой, что, казалось, у нас вот-вот вылетит днище. Аккуратно протащив вперед два весла, чтобы не сбить с ритма других гребцов, мы вставили их в уключины и теперь уже с помощью четырех весел, направляемые сильной капитанской рукой, благополучно отошли от берега, хотя несколько раз нас все-таки накрывало волной и шлюпка почти наполовину была заполнена водой. Подойдя к борту «Лориотты», уже готовой

спешно сниматься, мы высадили ее капитана и подгребли к своему судну. Наш старший помощник мистер Браун, у которого, как всегда, дело не стояло на месте, уже успел полностью приготовиться к съемке, и пока мы поднимали вельбот, раздалась команда ставить паруса. Стоя на реях, мы видели, как снялась «Лориотта», и сразу же вслед за ней расправил свои крылья «Аякучо». С круто обрасопленными реями он прошел у нас прямо по носу. На свете нет более прекрасного зрелища, чем клиперный бриг, идущий круто к ветру. Через минуту наш канат, заведенный дуплинем, был отдан, и мы забрали ход. Вслед за нами снялся китобоец, так что всего за полчаса, прошедших с тех пор, как четыре судна недвижимо стояли на якорях, не неся ни единого лоскута парусины, бухта совершенно опустела. Теперь же словно четыре белых облака удалялись в сторону открытого моря. Будучи уверены в том, что чисто прошли мыс, мы лишь слегка обрасопили реи, но «Аякучо» лег совсем круто и вышел нам на ветер. Весь этот день и большую часть ночи мы «развлекались» обычным зюйд-остом: штормовым ветром, временами дождем, перешедшим затем в настоящий ливень на три-четыре часа. К рассвету облачность рассеялась и стала исчезать, и солнце встало, когда было уже совсем ясно. Ветер, вместо того чтобы по своему обыкновению налетать от северных четвертей, ровно и сильно дул от нашего якорного места. Нам это было невыгодно, ибо «торчали мы высоко» из воды, то есть были почти в балласте, и поэтому не могли держаться на крутых курсах, и единственным нашим шансом первыми стать на якорь было поймать попутный ветер, когда можно поднять лисели и верхние паруса. «Аякучо» находился в доброй лиге на ветре и уже шел приличным ходом. Зато китобой оставался на таком же расстоянии с подветра, а «Лориотта» почти совсем исчезла из виду, прячась где-то в проливе между островами. Выбрав до предела брасы и булини и заложив хват-тали на каждый шкот и фал, мы смогли сохранить свою позицию и с каждым галсом выигрывали понемногу у подветренных судов. Но когда мы подошли к якорному месту, «Аякучо» уже пришел на якорь и на нем скатывали паруса, выравнивали реи и вообще у них все выглядело так, будто ровно ничего не случилось.

Нам, как всегда, повезло — мы нашли оставленный якорь и не пришлось отдавать другой, а через полчаса навели на судне полнейший порядок. Китобой возвратился лишь через два часа и показал свою обычную нерасторопность. Им не только пришлось отдать свой правый становой якорь, но даже стоп-анкер. Они провозились, «промышляя» свой оставленный на грунте якорь, еще часа три, а паруса у них болтались неубранными до самого

вечера. «Лориотта» пришла уже после наступления темноты и сразу же отдала другой якорь, даже не пытаясь найти свой якорь, оставленный здесь при срочном выходе в море.

Вся эта история послужила поводом для спора относительно сравнительной ходкости нашего судна и «Аякучо». Капитаны заключили пари, команды тоже приняли это близко к сердцу, но, поскольку оба судна должны были идти в противоположные стороны — мы на ветер, а соперники под ветер — и капитанам не дозволено выбирать рейсы по своему усмотрению, гонка так и не состоялась. Может быть, к лучшему для нас, ибо «Аякучо» уже восемь лет ходил во все концы Тихого океана — в Вальпараисо, на Сандвичевы острова, в Кантон и в Калифорнию — и считался лучшим ходоком среди тихоокеанских «купцов», исключая разве что бриг «Джон Гилпэн» и балтиморское судно «Энн Мак-Ким».

Суббота, 14 ноября. В этот день мы снялись в Монтерей, имея на борту в качестве пассажиров нашего агента и каких-то важных мексиканцев. Чтобы взять их, мы отправились в вельботе на берег. Они уже ждали нас, заранее трепеща перед высокими бурунами прибоя. Для нас же не было ничего приятнее, чем окатить мексиканцев соленой водой. Да и самого агента матросы сильно не любили. Поскольку с нами не пошел никто из помощников, мы надеялись хорошенько искупать пассажиров, тем более что они все до единого были настоящей «пехотой» и не смогли бы усмотреть в этом злого умысла с нашей стороны. Мы придержали вельбот достаточно далеко от берега, чтобы для начала заставить их замочить ноги при посадке. Потом, дождавшись хорошей волны, мы слегка дернули нос в сторону, и вся масса воды обрушилась на корму, не оставив на мексиканцах ни единой сухой нитки. Осыпая море проклятиями, они выскочили из шлюпки и, отряхиваясь, заявили, что теперь ни под каким видом не сядут в нее. Агенту стоило больших трудов уговорить их попробовать еще раз. Теперь мы действовали аккуратно и отошли как полагается. Матросы, поднимавшие на борт багаж гостей, от души веселились при виде этих уже почитавших себя утонувшими личностей.

Теперь все было в порядке, пассажиры на борту, мы подняли кормовой флаг и вымпел (поскольку здесь не было военных кораблей, а «Элерт» оказался самым большим судном на рейде), и остальные суда салютовали своими флагами. Подобрав якорь до панера, отдав сезни и придерживая пузо каждого паруса хват-талями, мы по первой же команде отдали всю парусину, а затем с той же сноровкой выбрали втугую все шкоты и марса-фалы; якорь был выбран, взят на кат, и судно получило ход. Мы решили показать «фонтанщику», как все это делается на порядочном

судне, даже если матросов там вполовину меньше, чем у них. Сразу же были подняты бом-брам-реи и поставлены «летучие» паруса, а поскольку мы шли в галфвинд, то без промедления выстрелили лисель-спирты, и люди с кошачьим проворством полезли на реи проводить лисельный такелаж. Капитан же продолжал громоздить все новые и новые паруса, пока судно не превратилось в огромное белое облако, словно парившее над узкой палубой. Еще не достигнув мыса, мы, используя превосходный бриз, уже неслись со скоростью скаковой лошади по «проливу», как здесь называют бухту, протянувшуюся на сорок миль. Ночью совсем стихло, и мы заштилели на все воскресенье на полпути между Санта-Барбарой и мысом Консепсьон. Однако к вечеру поднялся легкий попутный ветер, и судно опять получило ход. В понедельник с утра установился отменный морской бриз, и это подавало надежду благополучно миновать мыс Консепсьон, представляющий для мореплавателя своего рода калифорнийский Горн. Как говорят матросы, здесь дует с начала января до конца декабря. Однако после полудня ветер переменился на чистый норд-вест, дав возможность обогнуть далеко выступающий в океан высокий, скалистый и пустынный мыс, являющийся как бы центральной точкой всего побережья, раскинувшегося на сотни миль к северу и к югу. Здесь малейшее дуновение грозит превратиться в «полный мешок ветра», и еще до наступления темноты бом-брамсели были убраны, а судно под брамселями шло тяжело на крутой волне. В восемь склянок наша вахта спустилась вниз, оставив столько парусов, сколько могли выдержать мачты. Нос уже зарывался в волны, и через бак всякий раз перекатывала вода. Ветер явно усиливался, однако не было видно ни облачка, и солнце ушло за горизонт при совершенно ясном небе.

Мы оставались внизу совсем недолго — слишком очевидны были признаки надвигающегося шторма: всю носовую часть заливала вода, и удары форштевня о волны походили на грохотание парового молота по сваям. Вахта торопливо перебегала по палубе и с уханьем выбирала снасти. Настоящий моряк даже по звуку может сказать, какой парус убирают, и вскоре мы услышали, как один за другим исчезли брамсели, а за ним и бом-кливер. Судно сразу почувствовало облегчение, и мы уже начали было погружаться в объятия сна, как вдруг раздались три тяжелых удара по люку и знакомое: «Все наверх! Рифы на марселях брать!» — выдернуло нас из теплых коек. Погода была не очень холодная, нам не пришлось много натягивать на себя, и мы быстро выскочили на палубу. Я никогда не забуду этого величественного зрелища. Была ясная и Довольно холодная ночь.

В небе мерцали поразительно яркие звезды, и, насколько достигал глаз, не было видно ни облачка. Резко очерченная линия горизонта разделяла море и небо. Даже живописец не смог бы изобразить такой ясный, без единого пятнышка небосвод. И при всем этом от норд-веста дуло, словно из преисподней. Обычно, когда видишь с наветра облака, то чувствуешь, откуда налетает ветер; теперь же казалось, будто он возникает из сказочного ниоткуда. Никто, глядя на небо, не смог бы поверить, что это не тихая летняя ночь. Один за другим были взяты рифы на марселях, и не успели мы их подтянуть, как раздался короткий, резкий хлопок, подобный не слишком сильному удару грома — это сорвало с ликтроса кливер и тут же разорвало на мелкие куски. Мы закончили с марселями, собрали остатки кливера и поставили на его место фор-стеньги-стаксель, как вдруг прорвало огромный грот, и парус распоролся сверху донизу, от верхней шкаторины до нижней. «Быстро, грот убирать, пока его не разнесло черту на перья!» — закричал капитан. В одно мгновение мы были на мачте, обматывая изодранные полотнища вокруг рея и обвязывая их сезнями так туго, как только это было возможно. Но едва Мы спустились на палубу, по всему судну раздался громкий треск, и дважды зарифленный фор-марсель разъехался на две части ниже риф-банта от одного нок-бензеля до другого. И опять все сызнова — спускаем рей, закладываем риф-тали и расходимся по рею брать рифы. Потом, набивая тали до отказа, захватываем нижний риф-бант у других бензелей и, аккуратно завязывая узлы у сезней, в конце концов успешно справляемся с постановкой глухо зарифленного паруса.

Едва мы скойлали снасти и ждали уже команды «Подвахтенные вниз!», когда грот-бом-брамсель вырвало из сезней, сдуло под ветер, и он заполоскал с такой силой, что мачту затрясло, словно прут. Кому-то надо было действовать: то ли убрать бом-брамсель, то ли срезать его, иначе мачта неизбежно переломилась бы. Один за другим людей из вахты правого борта посылали наверх, но те ничего не могли сделать. Тогда долговязый Джон-француз, старший вахты правого борта (и лучший матрос, когда-либо вступавший на палубу судна), взбежал наверх и с помощью своих длинных рук и ног сумел все-таки после жестокого единоборства с неистово бьющимся у нока парусом (к тому же над его головой буквально развевался на ветру топсель) усмирить его и принайтовать длинным плетеным сезнем. Раза два его едва не стряхнуло вниз, но он был настоящим матросом, каждый палец у него не уступал по цепкости рыболовному крюку. Плотно обвязав парус, он приготовил рей к спуску, что оказалось долгим и трудным

делом — ему приходилось прерываться и по нескольку минут удерживать его что есть мочи, ибо судно закренивало и бросало так, что временами на этой высоте нельзя было пошевелить даже пальцем. Наконец рей благополучно спустили вниз, а потом то же самое проделали с фок- и крюйс-бом-брам-реями. Затем всех снова отправили наверх, и час или два мы работали, не разгибая спин, закрепляли по-штормовому весь рангоут, снимали лисельный, бом-брамсельный и топсельный такелаж, раскрепляли реи, обтягивали наветренные бакштаги и производили прочие приготовления к жестокому шторму. Ночь стояла прекрасная — в меру прохладная для спорой работы и светлая словно день. Стоило увидеть шторм в такую погоду. Но дуло уже с ураганной силой. Казалось, ветер вот-вот сдерет нас с реев. Мне еще не приходилось испытывать такого яростного напора стихии, и все же самое худшее для матроса во время шторма — это темень и соленый душ.

Спустившись на палубу, мы огляделись, чтобы разобраться, который час и кому стоять вахту. Рулевой пробил четыре склянки, и мы выяснили, что вахта правого борта закончилась, а нам осталось стоять еще полвахты. Соответственно вахта правого борта спустилась вниз и оставила нам судно на следующие два часа, однако получив указания быть наготове к вызову наверх.

Только они ушли, как тут же сорвало и изодрало в полоски фор-стеньги-стаксель. Этот парус невелик, и можно было управиться с ним собственными силами, не вызывая подвахтенных. Мы забрались на бушприт, где море то и дело нас накрывало с головой, собрали остатки парусины и, поскольку судно должно нести хоть какие-то передние паруса, принялись готовить другой стаксель. Мы достали новый парус, завели фалы, шкоты и галсы, а также раксы, затем стали на фал и, отдав найтовы, начали поднимать. Но прежде чем удалось поднять его до середины штага, он разлетелся в куски, и, когда мы свертывали фалы, на них не оставалось ничего, кроме ликтроса. Тем временем на фор-марселе стали появляться широкие прорехи, и, видя, что грозит парусу, старший помощник отправил нас на рей убрать его. Он не хотел вызывать для этого подвахтенных, которые и так провели на палубе всю ночь, и приказал разбудить плотника, парусного мастера, кока и стюарда. С их помощью после получасовой борьбы мы совладали с парусом и сумели закатать его. Вот теперь-то ветер по-настоящему подул с ураганной силой. Людей, карабкавшихся по вантам, буквально вдавливало в них, а на реях стало совершенно невозможно повернуться лицом к ветру. И все же нас не секло дождем со снегом среди леденящей душу темноты, как это бывает у Горна, и

вместо задубевших от соли штормовок, зюйдвесток и грубых сапог на нас были куртки, парусиновые штаны и легкие башмаки. А это немало для матроса. Только мы спустились на палубу, как рулевой пробил восемь склянок (четыре часа утра), и раздалась команда: «Вахту правого борта наверх!» Однако нам-таки не удалось сойти вниз. Шторм достиг наивысшей силы, ветер резал лицо, словно ножом. Капитан был все время на палубе. Почти незагруженное судно то валилось с одного борта на другой, то ныряло вниз, будто стараясь стряхнуть с себя мачты. В парусах зияли огромные дыры. Сравнительно новый, глухо зарифленный крюйс-марсель разорвался прямо посередине пуза сверху донизу. Подобранный к рею фор-марсель в один миг изодрало в клочья. Лопнул один из цепных ватер-штагов; мартин-штаг развернуло под ветер, переломился блинда-рей; лопнула одна из вантин. В довершение всего сорвало и отнесло к подветренному борту камбуз, начал «ходить» подветренный якорь, который тяжело ударял в борт. Таким образом, работы хватило на полдня для всей команды. Те, кто всегда работал на бизани, влезли на крюйс-марса-рей и после получаса тяжелой работы свернули парус, хотя его пузо вздувалось над нашими головами, затем резким порывом ветра его все-таки вырвало и со страшной силой завернуло под рей, едва не стряхнув нас с пертов.

Оказавшись на палубе, мы увидели, что остальная команда только что спустилась с фок-мачты, свернув изодранный марсель, который был скорее просто обмотан вокруг рея, и он стал похож на забинтованную руку. Теперь у нас оставалась только контр-бизань да еще державшийся под всеми рифами грот-марсель. Но даже это было слишком много, и нам приказали убрать и бизань. Парус был взят на гитовы, матросы полезли на гафель, чтобы вязать сезни, но ничего не могли поделать. Второй помощник обругал их «шайкой отирал» и послал двух лучших матросов, однако не справились и те, так что гафель пришлось спустить вниз. Вся команда была теперь при деле: обтягивали подветренный такелаж, поднимали блинда-рей, найтовили камбуз и заводили тали за мартин-гик, чтобы выбрать его на ветер. Наша вахта левого борта работала на носу, а я помогал устанавливать мартин-гик и вместе с тремя другими матросами более получаса висел за бортом на оттяжках. Несколько раз мы с головой погружались в волны, пока старший помощник не приказал нам лезть обратно на палубу, опасаясь, что нас смоет. Затем надо было взять якоря на рустов, и это целый час продержало всю команду на баке, где беспрепятственно гуляли волны и вообще у подветренных шпигатов воды было по пояс.

Мы уже подумывали, что неплохо бы получить завтрак,

поскольку время подходило к девяти часам, но тут стало ясно, что грот-марсель тоже долго не продержится. Однако судну все же необходимо нести хоть какие-нибудь паруса, и капитан тут же приказал поднять фор- и грот-трисели (это были совершенно новые штормовые паруса, сшитые из прочнейшей парусины), оставив грот-марсель на милость ветра. Мы поставили трисели, тщательно привязав их крепкими ревантами и бензелями. К этому времени о грот-марселе можно было говорить только в прошедшем времени, и мы полезли на грот, чтобы собрать остатки парусины из той, что была на мачтах всего сутки назад. Сохранились только трисели. Учитывая их прочность, малые размеры, а также то, что они стояли невысоко, можно было надеяться, что они уцелеют.

Было уже одиннадцать часов, и вахту отправили вниз завтракать, а в восемь склянок (полдень), поскольку все было на местах, на палубе оставили одну вахту, а «бездельники» (плотник, стюард и кок) вместе с подвахтенными отправлены вниз, хотя шторм и не думал утихать. Три дня и три ночи стихия бушевала с яростной силой. Ветер не ослабевал ни на мгновение. Незагруженное судно клало на борт так, что нок фока-рея едва не касался воды. Все это время на небе не появлялось ни единого облачка, хотя бы величиной с ладонь. Каждое утро из моря вставало ослепительно яркое солнце, а вечером оно опускалось за горизонт в потоках собственного света, а через час-другой на потемневшем небосклоне одна за одной начинали ярко, словно в морозную ночь, мерцать звезды. А море меж тем катило свои валы, увенчанные пенными гребнями, катило, насколько достигал глаз, ибо мы находились в открытом море за многие лиги от берега.

Благодаря тому, что твиндеки были свободны, некоторые из нас спали там в подвесных койках, лучше которых нет ничего на свете во время шторма, ибо они являют собой не обычные, а особые «кровати», про которые не скажешь «ветер дует — колыбель качается». Скорее наоборот, когда качается судно, морские койки-гамаки, будучи подвешенными к бимсам, удерживаются в нормальном положении. За все эти истекшие трое суток мы только и делали, что ложились и поднимались — четыре часа на палубе, четыре часа внизу — ели, спали и несли вахту. Некоторое разнообразие вносила лишь вахта на руле, да время от времени какой-нибудь свернутый парус вырывало ветром из сезней, и приходилось опять лезть наверх. Однажды лопнул штуртрос, и это грозило нам гибелью, если бы не старший помощник, который подоспел в тот же миг с аварийными талями к наветренному борту и удерживал ими румпель до тех пор, пока

не сменили трос. На рассвете двадцатого ветер начал выдыхаться, и вся команда была вызвана подвязывать новые паруса, хотя дуло еще так сильно, будто объединились два шторма. С превеликим трудом старые паруса были по одному отвязаны и спущены на бык-горденях, а три совершенно новых марселя, приготовленных для обратного плавания вокруг Горна, вынуты из парусной кладовой и изготовлены под присмотром парусного мастера. Их подняли до марсов и привязали к реям уже зарифленными, что потребовало от нас немало усилий. Затем то же самое было проделано с двумя запасными нижними парусами, а также со штормовым кливером. Мы закончили все работы только к двенадцати часам. Никогда еще мне не приходилось так тяжко трудиться без перерыва в течение пяти часов. Вряд ли кто-нибудь из команды захотел бы снова отвязывать и привязывать пять огромных парусов под страшными ударами норд-веста. К вечеру на горизонте появились облака, и шторм умерил свою силу; небо приняло свой обычный, как в свежую погоду, вид. На пятый день мы отдали по рифу на каждом марселе и поставили зарифленный фок, кливер и контр-бизань. Но лишь на девятые сутки плавания с зарифленными марселями мы смогли поставить обычные паруса. Да и пора было «отыгрывать» дрейф, так как мы оказались чуть ли не на полпути к Сандвичевым островам.

Осторожно, буквально по дюйму, да и то с позволения ветра, добавляли мы паруса, но прошло немало дней, прежде чем мы достигли той долготы, где застиг нас шторм. Восемь дней судно лавировало против крепкого ветра, который только потом изменил направление.

Пятница, 4 декабря. После двадцатидневного плавания мы подошли к входу в бухту Сан-Франциско.

Глава XXVI
Сан-Франциско

Нашим портом назначения был Монтерей, но когда изменился ветер, мы оказались севернее и поэтому решили идти с этим ветром, ставшим для нас попутным, в Сан-Франциско. Его обширная бухта, расположенная на широте 37°58', была открыта сэром Фрэнсисом Дрэйком; по его описанию она содержит несколько превосходных гаваней с большими глубинами (так оно и есть на самом деле), окруженных благодатными и живописными лесистыми берегами. Милях в тридцати от входа в бухту на юго-восточной стороне находится высокий мыс, где построено пресидио. За этим мысом укрывается малая гавань под названием Ерба-Буэна, где становятся на якорь торговые суда, и тут же неподалеку от нее расположена миссия Долорес. За исключением миссии, на этой стороне бухты не было никакого другого человеческого обиталища, кроме грубой дощатой лачуги некоего Ричардсона, который занимался посредничеством в мелкой торговле между судами и индейцами [46].

Через несколько дней после нашего прихода начался сезон дождей, и целых три недели дождь лил на переставая, отчего дела с нашей торговлей шли плохо, ибо в этой гавани шкуры подвозят к берегу совсем по-другому, чем в остальных портах побережья. Миссия Долорес, ближайшая к якорной стоянке, вообще не занимается торговлей, зато миссии Сан-Хосе, Санта-Клара и другие, расположенные по берегам рек, впадающих в бухту, и отстоящие от нее на расстоянии от пятнадцати до сорока миль, делают самые большие обороты во всей Калифорнии. Миссионерам принадлежат здесь большие лодки или баркасы с командами из индейцев, которые могут перевозить зараз по пятьсот — шестьсот шкур каждая. Их посылают на суда, где и происходит обмен товаром. Иногда, правда, капитаны судов вынуждены сами отправлять команды на берег, чтобы раздобыть шкуры и другие товары. В хорошую погоду матросы весьма охотно отправляются в такие экспедиции, но теперь это означало пробыть три-четыре дня в открытой шлюпке под непрестанным дождем, не имея никакого укрытия над головой, пробавляясь всухомятку. Все же двоим из нас пришлось отправиться в Санта-Клару. Они пропадали трое суток, и в течение всего этого времени шел такой сильный дождь, что не позволил им ни на мгновение сомкнуть глаз и вынудил три ночи подряд «прогуливаться» на свежем воздухе в их утлом суденышке. Когда

эти люди возвратились на корабль, они были совершенно изможденны и проспали «на подвахте», которая длилась двенадцать часов кряду. Все доставленные шкуры настолько вымокли, что их нельзя было укладывать в трюм, а пришлось высушивать, используя для этого те короткие промежутки времени, когда выглядывало солнце или поднимался хоть небольшой ветерок. Мы протянули вместо лееров гитовы с ноков фока-рея до утлегаря, растянули снасти между ноками реев на других мачтах и вообще опутали судно леерами, словно паутиной. И на все эти леера навешивались шкуры. Кроме того, для сушки шкур были использованы все штаги и даже блинда-рей, но так как и этого не хватило, мы вывалили за борт еще и выстрелы, на которых тоже красовались шкуры. При малейших признаках сносной погоды все поручни, шпиль, фальшборты и прочие подходящие места на палубе немедленно покрывались мокрыми шкурами. Словом, сверху донизу и от утлегаря до гакаборта наше судно являло собой сплошную массу шкур.

В один из холодных дождливых вечеров мне приказали идти в четыре часа утра на одной из индейских лодок в Сан-Хосе, захватив с собой четырехдневный запас продовольствия. Я достал свою проолифенную одежду, зюйдвестку и высокие сапоги, после чего пораньше улегся в койку, решив хорошенько выспаться, поскольку лодка должна была подойти еще до рассвета. Однако проспал я до утра, как обычно — к счастью для меня, индейцы то ли намеренно, то ли перепутав что-то ушли ночью без нас. Таким образом я избежал крайне неприятной работы в течение трех или четырех суток.

Через несколько дней четверо наших матросов пошли на маленькой кормовой шлюпке в Санта-Клару, чтобы отвезти туда агента. Им пришлось всю ночь оставаться под проливным дождем, да еще в такой посудине, где и повернуться негде. Сам агент уехал в миссию и бросил людей на произвол судьбы, даже не послав им ничего съестного. А после этого надо было еще грести тридцать миль, и когда они возвратились на судно, то настолько окоченели, что с трудом взобрались по трапу. Это переполнило чашу нашего терпения — настолько мы были недовольны агентом, после чего он не мог уже рассчитывать ни на что хорошее со стороны команды и не раз был выкупан в прибое. Как говорили матросы, они «выровняли реи проклятому щелкоперу».

Собрав почти все шкуры, на какие только можно было рассчитывать здесь, мы начали принимать запас дров и воды, а Сан-Франциско в этом отношении славится на всем побережье. Небольшой островок, примерно в двух милях от якорной стоянки, прозванный нами Лесистым, который сами мексиканцы называют

«Isla de Ios Angelos», был покрыт зарослями, спускающимися до самой воды, и каждое утро туда посылали двух наших матросов родом из Кеннебека, которые играючи управлялись с топором. Им в помощь отправляли и двух юнг. За неделю они нарубили столько, что нам хватило бы топлива на целый год, и третий помощник капитана с четырьмя матросами (в число которых попал и я) был отправлен на большом баркасе с парусным вооружением, как у шхуны, и арендованном в миссии, чтобы перевезти на судно эти дрова. Мы вышли около полудня, однако из-за сильного встречного ветра и течения, скорость которого здесь достигала пяти узлов, смогли войти в гавань, образуемую двумя мысами, лишь к заходу солнца. Едва мы стали на якорь, как задул угрожавший нам целый день сильный зюйд-ост, сопровождавшийся похолоданием и проливным дождем. Положение наше было не из приятных: открытая шлюпка, потоки дождя, долгая ночь впереди — ведь зимой на этой широте на темное время суток приходится почти пятнадцать часов. Спустив имевшийся у нас небольшой ялик, мы переправились на берег, но не обнаружили там никакого укрытия от дождя. Тогда, собрав немного валежника из-под вороха листьев и веток, отыскав на берегу несколько мидий, мы возвратились на баркас, чтобы приготовиться к ночлегу. Мы отвязали грот и соорудили на корме тент, потом настелили под ним мокрых бревен и, не снимая курток, часов в шесть улеглись на них. Но дождь все-таки поливал нас, и наши куртки начали промокать, а грубые сучковатые стволы были не такой уж завидной постелью. Пришлось подняться; затем мы достали взятую с «Элерта» сковородку, вытерли ее насухо, обложили камнями, нарезали коры и разожгли огонь. Подсушивая ветки и прикрыв наше сооружение сверху досками, мы поддерживали небольшое пламя, на котором поджарили мидий. Правда, ели мы их скорее ради развлечения, нежели от голода. Не было еще и десяти часов, а впереди нас ожидала долгая ночь. Тогда кто-то вытащил истрепанную колоду испанских карт, и мы немало порадовались такой предусмотрительности. Поддерживая хворостом наш хилый костер, мы играли одну партию за другой, и так до часу или двух ночи, пока сон окончательно не сморил нас, тогда мы снова улеглись на бревна, оставив одного присматривать за огнем. К утру дождь перестал, воздух же стал заметно холоднее, спать было уже невозможно, так что мы дожидались рассвета в сидячем положении. Едва забрезжило, как мы сразу переправились на берег и начали готовиться к погрузке. Недаром мы дрожали от холода — трава оказалась покрытой инеем — явление для Калифорнии совершенно неслыханное. А лужицы с пресной водой

даже подернулись тонкой коркой льда. И вот в такую-то погоду, задолго до восхода солнца, в сером утреннем тумане нам пришлось ходить почти по пояс в воде, загружая ялик поленьями. Третий помощник оставался в баркасе, двое матросов принимали на ялике груз, а работа в воде досталась, как обычно, нам, самым молодым. Так мы и перетаскивали дрова по воде к ялику, закатав по колено штаны, топча босыми ногами заиндевевшую траву. Когда ялик отходил с полным грузом, нам, чтобы не отморозить ступни, оставалось только бегать по жесткому прибрежному песку. Мы работали весь день, а к вечеру, нагрузив дополна баркас, подняли якорь, поставили паруса и вышли из бухты. Но едва мы оказались в заливе, как обнаружилось, что сильный отлив выносит нас в море, плотный туман не позволяет разглядеть судно, а бриз настолько ослаб, что мы уже не могли под парусами удержаться против течения, поскольку наша осадка была не меньше, чем у баржи для перевозки песка. С величайшим трудом мы добрались до самой мористой оконечности острова, где и отдали якорь, готовясь провести вторую ночь, обещавшую быть хуже первой, ибо теперь баркас был загружен до планширя и спать можно было только поверх бревен. На следующее утро мы снова подняли паруса и с попутным ветром к одиннадцати часам достигли судна. Здесь всю команду сразу же поставили разгружать баркас и складывать дрова, что заняло время до самого вечера.

На следующее утро на берег был послан отряд заполнять бочонки пресной водой. Мы, к счастью, не попали в него благодаря нашей передряге с дровами. Вторая экспедиция длилась три дня, их тоже едва не унесло в море, и день они провели на острове, где один из матросов подстрелил оленя, что, впрочем, неудивительно — все окрестные холмы и острова в бухте Сан-Франциско изобилуют этими животными.

Когда не надо было заготовлять дрова или воду или отправляться по реке в миссию, мы прекрасно проводили время на судне, стоявшем в кабельтове от берега, который защищал нас от зюйд-остов. Из-за непрестанных дождей люки трюмов накрыли брезентом, а вся команда целыми днями сидела в твиндеках, занимаясь щипаньем пеньки, которой набралось столько, что ее хватило бы проконопатить все судно от киля до клотика. Потом мы сплели полный набор сезней для обратного плавания, два штуртроса из сыромятной кожи, наготовили великое множество шкимушгара и вообще всего, что только можно сделать в твиндеке. Была уже середина зимы, и здесь, в высоких широтах, ночи стали очень долгими, так что нас не поднимали раньше семи, а в пять часов вечера давали ужин и прекращали судовые

работы. Это оставляло нам почти три часа свободного времени до восьми склянок, когда заступала вахта.

Мы были на побережье уже около года, и пришло время подумать о возвращении домой. Предвидя, что в ближайшие два-три месяца у нас вряд ли будет много свободного времени, мы рассматривали наши теперешние благоприятные обстоятельства как прекрасную возможность заняться своими делами и потому все вечера проводили за шитьем и починкой одежды, предназначавшейся прежде всего для плавания вокруг мыса Горн. Сразу после ужина, уборки котлов и «перекура» мы рассаживались по своим рундукам вокруг подвешенной на бимсе лампы и принимались каждый за свое — одни шили шляпы, другие — брюки, третьи — куртки и т. д. Те матросы, которые владели иглой недостаточно хорошо, выделывали из травы декоративные плетенки для шляп тех, кто взамен шил им одежду. Несколько матросов устроили складчину, купили большой отрез саржи, сшили из нее брюки, куртки и пропитали их льняным маслом. Эта одежда была отложена специально до Горна. Я тоже соорудил из просмоленной парусины шляпу такой прочности, что на ней можно было сидеть, а также сшил полный комплект фланелевого белья для холодной погоды. Те, у кого не было зюйдвесток, позаботились обзавестись ими, а некоторые даже подбивали свои просмоленные штаны и куртки фланелью. Все трудились как пчелы, ибо каждый знал, что скоро мы пойдем на юг, и тогда у нас уже не будет свободных вечеров.

Пятница, 25 декабря. Праздник Рождества. Целый день шел дождь, шкур мы не привозили, и капитан дал нам свободный день (первый, если не считать воскресений, после выхода из Бостона), а также велел приготовить пудинг с изюмом к обеду.

Воскресенье, 27 декабря. Мы закончили все дела и, поскольку было воскресенье, снялись с якоря и вышли в море, салютовав пресидио, откуда ответили нам. На борту «Элерта» был комендант пресидио дон Гваделупе Валлехо, пользовавшийся по всей Калифорнии, несмотря на свою молодость, большим уважением американцев и англичан. Он недурно говорил по-английски, и соотечественники подозревали его в чрезмерно благосклонном отношении к иностранцам.

Мы выходили из великолепной бухты Сан-Франциско с легким ветром, подгоняемые отливом со скоростью четырех-пяти узлов. День был отменный — впервые за целый месяц светило яркое солнце. Мы прошли под высоким утесом, на котором стоит пресидио, и вышли на простор бухты, откуда можно было хорошо рассмотреть заливчики и поросшие превосходными лесами острова, а также устья небольших рек. Если когда-нибудь

Калифорнии суждено превратиться в процветающий край, эта бухта, несомненно, внесет свой вклад в его благополучие. Обилие лесов и вод, необычное плодородие почвы, почти идеальный климат, очень удобная для мореплавателей бухта (с лучшими якорными стоянками на всем западном побережье Америки) — все эти достоинства подчеркивают исключительное значение края.

Отлив прекратился, и мы стали на якорь неподалеку от входа в бухту, под склоном великолепного высокого холма, на котором паслись многочисленные стада оленей. Животные останавливались на мгновение, чтобы посмотреть в нашу сторону, но тут же бросались прочь, напуганные шумом, который мы нарочно производили, чтобы полюбоваться изяществом их движений.

В полночь с наступлением прилива мы снялись с якоря и вышли из бухты. Впервые за много недель небосвод сверкал яркими звездами. Мы неторопливо шли, подгоняемые легким северным ветром, который дует здесь с регулярностью пассата, и в понедельник после полудня перед нами открылся мыс Ано-Нуэво — северная оконечность монтерейской бухты. При входе в бухту мы окликнули бриг «Диану» с Сандвичевых островов, шедший из Ситки. Он подошел к мысу одновременно с нами, но якорной стоянки достиг чуть ли не на два часа позже. Мы отдали якорь во вторник утром, в десять часов. Монтерей выглядел таким же, как и одиннадцать месяцев назад: тот же очаровательный зеленый луг, сосновый лес на южном берегу бухты, речка на северном; белые стены и красная черепица домов, разбросанных среди деревьев; низкая белая крепость с грязным трехцветным флагом, откуда доносился нестройный шум, производимый барабанами и трубами при полуденном разводе караула, — все вызывало в памяти то чувство радости, которое мы испытали почти год назад, когда пришли сюда после долгого плавания. Мы словно вернулись в родной дом.

Глава XXVII
Фанданго

Кроме нас, единственным судном в порту был барк из Ситки, принадлежавший русскому правительству. На нем было восемь пушек (впрочем, четыре оказались лишь бутафорией) и в качестве пассажира экс-губернатор, направлявшийся в Мазатлан через Вера-Крус. Он предложил захватить наши письма, которые легко переслать из этого города в Соединенные Штаты. Мы заготовили целый пакет, датированный «января 1-го, 1836». Губернатор исполнил свое обещание, и письма были доставлены в Бостон в первой половине марта, то есть скорее, чем это могло быть сделано с помощью любого иного почтового сообщения через континент.

«Пилигрим» простоял в Монтерее всю вторую половину ноября, ожидая нашего прибытия. Каждый день капитан Фокон поднимался на холм и всматривался в горизонт, но в конце концов потерял всякую надежду, полагая, что мы пошли ко дну во время того шторма у мыса Консепсьон, который бушевал вдоль всего побережья Калифорнии и выбросил на берег несколько судов, стоявших, казалось бы, в самых безопасных портах. Английский бриг, укрывшийся в Сан-Франциско, потерял оба якоря; «Роса» села на илистую банку у Сан-Диего, а сам «Пилигрим» еле-еле отстоялся на трех якорях в Монтерее. В первых числах декабря он вышел в Сан-Диего.

Мы остались в Монтерее на воскресенье, и, поскольку за последние три месяца у нас не было ни одного свободного дня, все захотели съехать на берег. Утром после мытья палубы и завтрака те, кто был отпущен, принялись чиститься, и, пустив в ход пресную воду, куски мыла и широкие грубые полотенца, старательно выскребали друг друга. Проделав это, мы по двое отправлялись на полубак с ведрами и обдавали один другого водой. Затем надо было позаботиться об «оснастке». Как всегда, на свет появились лакированные башмаки, белые носки, широченные парусиновые брюки, голубые куртки, парадные клетчатые рубашки, черные платки, блестящие лакированные шляпы с целой саженью черной же ленты и шелковые платки. Оставалось только завязать в шейный платок несколько долларов, и все было «в лучшем виде». Кормовая шлюпка отвезла нас на берег, и мы растеклись по городу. Я хотел пойти в церковь, чтобы посмотреть богослужение, но мне сказали, что здесь бывает только ранняя месса. Тогда мы решили проведать тех

американцев, англичан и мексиканцев, с которыми свели знакомство в прошлый раз. В полдень нам удалось раздобыть лошадей и съездить в миссию кармелитов, расположенную в лиге от города. Там для нас приготовили нечто вроде обеда — мясо, яйца, маисовые лепешки и немного дешевого вина. Все это было подано нам благодаря попечениям того же major-domo, который и на сей раз отказался от какой-либо платы за божье подаяние, но с глубоким поклоном принял наш подарок, сопроводив это уже знакомым «Dios se lo pague!» [47]

После трапезы мы устроили великолепную скачку по окрестностям и возвратились в город сразу после захода солнца. Наши товарищи, которые не пожелали ехать с нами, полагая, что матрос на лошади подобен рыбе в корзине воздушного шара, прочно ошвартовались в винной лавочке, где стоял страшный шум и было полно народу, по всему было видно, что неприятностей им, по-видимому, не избежать, а ночь они проведут в каталажке. С большим трудом удалось доставить их к шлюпкам. Как всегда, после возвращения матросов с берега наш кубрик на всю ночь был свидетелем буйных сцен. Перепившиеся буяны утихомирились лишь перед рассветом, но их подняли вместе со всеми и целый день продержали на работе — с раскалывающимися от головной боли черепами им пришлось перетаскивать шкуры. Таковы матросские развлечения.

Во время нашей стоянки в Монтерее не случилось ничего примечательного, кроме кулачного поединка, происшедшего на судне и давшего некоторую пищу для разговоров. Наш широкоплечий, большеголовый парень с Кейп-Кода всячески задирал и притеснял слабого юнгу-новичка из Бостона, обладая преимуществом в возрасте (ему было уже шестнадцать), физической силе и опытности. Однако юнга быстро осваивал матросское ремесло, креп с каждым днем и начал оказывать сопротивление своему угнетателю. Но тот продолжал оставаться хозяином положения и не упускал случая унизить мальчишку. Как-то после полудня они сильно повздорили, и Джордж (бостонец) заявил, что готов драться с Натом, если все будет по правилам. Привлеченный шумом старший помощник вытащил обоих из кубрика на палубу и приказал либо пожать друг другу руки, либо драться, пока один не признает себя побежденным. Видя, что ни тот, ни другой не желают мира, он вызвал всех матросов на палубу (капитан был на берегу), провел черту и поставил противников по обе стороны от нее. Потом привязал трос к кофель-нагелю и протянул через палубу чуть выше пояса противников. «Ниже троса не бить!» Парней поставили лицом к лицу и они бросились друг на друга, словно бойцовые петухи. Нат

своими кулачищами быстро «пустил кровь» сопернику, разукрасив его лицо и руки ссадинами и синяками, и мы каждую секунду ожидали, что Джордж запросит пощады. Но чем больше доставалось мальчишке, тем упорнее он дрался. Снова и снова валился он на палубу, но всякий раз с доблестью льва вставал у черты и принимал тяжелые удары, при глухом звуке которых наши сердца сжимались от жалости. В конце концов рубашка на нем была разорвана, а лицо залито кровью, но, сверкнув глазами, он поклялся, что будет стоять до конца, пока один из них не свалится замертво, и тут же с яростью бросился на противника. «Коли остался последний заряд, не все пропало!» — подбадривали его матросы. Нат хотел было сойтись с ним врукопашную, чтобы развить свое преимущество, но старший помощник осадил его, сказав, что царапаться не пристало. Тогда Нат вернулся к черте, но у него побелели губы и удары он наносил не как прежде, а вполсилы. С ним явно что-то случилось. Не знаю, то ли он испугался, то ли, будучи по натуре добродушным малым, не хотел больше бить мальчишку. Во всяком случае, Нат дрогнул. Он всегда был хозяином положения — выигрывать ему было нечего, зато терял он многое. Его противник, чувствуя себя несправедливо угнетенным, наоборот, отстаивал свою честь и независимость. Скоро все кончилось. Нат уступил, хотя сам почти не пострадал, и уже никогда больше не пытался разыгрывать из себя повелителя. Мы отвели Джорджа на бак и там вымыли его, похвалив за примерную стойкость. С тех пор он стал «кем-то» на судне, отстояв свое право на уважение. Идея мистера Брауна оказалась весьма удачной, ибо до самого конца плавания среди нашей молодежи уже не возникало никаких неприятностей.

Среда, 6 января 1836 г. Снялись из Монтерея, имея на борту пассажирами нескольких мексиканцев, и взяли курс на Санта-Барбару. Несколько часов нам сопутствовал свежий ветер и до темноты мы развили великолепный ход, но потом, как обычно, задул береговой бриз, и пришлось идти сколь можно круче. В числе наших пассажиров находился юноша, являвший собой воплощение разорившегося джентльмена. Он сильно напомнил мне некоторые персонажи из «Жиля Блаза». Происходил он из местной аристократии и унаследовал от родителей чистую испанскую кровь. Прежде они занимали в Мехико высокое положение. Отец одно время был даже губернатором провинции и, сколотив большое состояние, обосновался в Сан-Диего, где построил просторный дом, разбил парк, держал целую свиту индейцев и вообще вел себя как настоящий гранд. Своего сына он отправил учиться в столицу, и тот вращался в лучшем обществе.

Несчастливые обстоятельства, расточительность и прежде всего полная неспособность извлечь из денег хоть малейший доход быстро истощили немалое состояние. Когда дон Хуан Бандини возвратился домой, хоть он и был воспитан в рамках безукоризненных правил, чести и благородства, но не имел ни средств, ни места, ни занятия, позволявших бы ему вести тот рассеянный, экстравагантный образ жизни большинства юношей из хороших семейств. Честолюбивый в помыслах, но не способный ни на какое дело, зачастую он был лишен даже хлеба, однако, как многие ему подобные, внешне держался с высокомерием человека своего круга, хотя его нищета не оставалась тайной для последнего индейского мальчишки, а при виде каждого лавочника его охватывал трепет. Он имел тонкую талию, его походка была изящной, прекрасно танцевал, безупречно говорил по-кастильски, и весь его облик свидетельствовал о благородном происхождении. За его проезд (я узнал это потом) кто-то заплатил, поскольку он совершенно не имел средств, а жил единственно щедротами нашего агента. Со всеми он был отменно любезен, беседовал даже с матросами и дал четыре реала (не сомневаюсь, они были у него последними) стюарду, который прислуживал ему. Мне было искренне жаль этого человека, особенно когда я видел его в обществе другого пассажира — толстого и вульгарного торговца-янки, нажившего свой капитал в Сан-Диего на расточительности все тех же Бандини. Он уже получил закладные на их стада и земли, а теперь покушался и на фамильные драгоценности — последнюю опору этого семейства.

Дон Хуан путешествовал в сопровождении слуги, который был жиль-блазовским персонажем не в меньшей степени, чем его патрон. Он величал себя личным секретарем, хотя вряд ли для него находились какие-нибудь письменные занятия, да и жил он в твиндеке вместе с парусным мастером и плотником. Однако это была незаурядная личность: он свободно читал и писал, говорил на правильном испанском языке, объездил почти всю Латинскую Америку, бывал в разных житейских переделках и кем только не служил, но обычно занимал положение доверенного лица при какой-нибудь важной персоне. Я поддерживал знакомство с этим человеком, и за те пять недель, пока он был у нас на судне (а он оставался с нами до прибытия в Сан-Диего), получил от него больше сведений о политических партиях в Мехико, а также о быте и обычаях различных слоев тамошнего общества, чем мог бы узнать от кого-либо другого. Он с величайшим терпением исправлял мое испанское произношение и обучил меня многим разговорным фразам и междометиям. Кроме того, я взял у него

для прочтения пачку довольно свежих газет, издающихся в столице Мексики.

Утром на вторые сутки после отплытия из Монтерея мы вышли к мысу Консепсьон. Был яркий солнечный день, и сильный ветер благоприятствовал нам; все являло разительный контраст с тем, что мы испытали здесь два месяца назад, когда пришлось дрейфовать при бушевавшем норд-весте только под фор- и грот-триселями.

— Вижу парус! — закричал вдруг матрос, готовивший брам-лисель-спирт.

— Откуда виден?

— С наветренного борта, сэр.

И через несколько минут мы увидели бриг, который выходил из-за мыса. Отдав лисель-фалы и обстенив паруса на гроте и бизани, мы остановились. Бриг привелся к ветру, обстенил грот-марсель и тоже лег в дрейф; теперь можно было видеть его заполненную людьми палубу, по четыре пушки с каждого борта, коечные сетки, и вообще все на военный манер, не хватало разве что боцманской дудки и золотых галунов на юте. Низкорослый, широкоплечий мужчина в грубой серой куртке стоял у наветренного борта с рупором в руках.

— Эй там, что за судно?

— «Элерт».

— Откуда вы? — и прочее.

Как оказалось, мы встретили бриг «Конвой» с Сандвичевых островов, который занимался промыслом морской выдры на островах калифорнийского побережья. Вооружение брига объяснялось тем, что он был contrabandista. Выдра весьма распространена на здешних островах. Она представляет немалую ценность, и на каждую вывозимую шкурку наложена пошлина. Однако у этого судна не было ни лицензии, ни оплаченного налога, да, кроме того, оно еще незаконным способом снабжало тамошние торговые суда всевозможными товарами. Наш капитан предупредил их, чтобы они опасались мексиканцев, но получил ответ, что во всем Тихом океане у тех не найдется ни одного равного им по числу пушек судна. Это, несомненно, был тот самый бриг, который несколько месяцев назад объявился у Санта-Барбары. Такие суда нередко плавают в калифорнийских водах годами, не заходя ни в один порт, а дрова и воду берут на островах, да изредка пополняют запасы в Оаху.

Воскресенье, 10 января. Достигли Санта-Барбары, но уже в среду нам пришлось спешно оставить на дне наш якорь и уходить в море из-за зюйд-оста. На следующий день мы возвратились к своему якорному месту и были единственным судном во всем

порту. «Пилигрим» проходил здесь недель шесть назад рейсом из Монтерея и получил сообщение, что мы благополучно прибыли в Сан-Франциско.

Тем временем на берегу завершались приготовления к свадьбе нашего агента и доньи Аниты де ла Гуэрра де Нориэга-и-Корильо, младшей дочери местного гранда дона Антонио Нориэго, главы знатнейшей калифорнийской фамилии. Стюард уже три дня «сидел» на берегу и готовил всевозможные печенья и пирожные, для чего ему неоднократно отправлялись наши лучшие припасы. В день, назначенный для бракосочетания, мы отвезли капитана на берег и получили приказ приехать за ним к вечеру, а также позволение посмотреть праздник и фанданго. Возвратившись на судно, мы увидели, что у нас готовятся к салюту. Пушки были заряжены, заряды изготовлены, зажжены фитили, и флаги готовы к поднятию. Я стоял с правого борта у кормовой пушки, и все мы ждали сигнала с берега. В десять часов невеста в черном одеянии вместе с сестрой направилась в исповедальню. Прошел почти час. Наконец большие врата церкви распахнулись, нестройно зазвонили колокола, и невеста, наряженная уже во все белое, вышла вместе с женихом, а вслед за ними потянулась длинная процессия. Едва новобрачные переступили порог церкви, у нас на баке взвилось белое облачко, и громкий залп эхом разнесся по бухте и окрестным холмам. В тот же миг судно расцветилось множеством флагов и вымпелов. За этим последовали двадцать три выстрела с интервалами в пятнадцать секунд. На закате был дан такой же салют, а все флаги спустили. Мы считали, что получилось совсем неплохо — по залпу каждые пятнадцать секунд — и это на «купце» с двадцатью матросами при четырех пушках.

После ужина была вызвана команда капитанского вельбота, и мы, одетые «по полной форме», отправились на берег, где вытащили шлюпку на песок и пошли смотреть фанданго. Дом отца невесты был самым лучшим в городе, с большим парадным двором, где был натянут тент, под которым смогли укрыться несколько сотен человек. Еще издали мы услышали ставшие привычными звуки скрипок и гитар и увидели настоящее столпотворение. Тут собрался чуть не весь город — мужчины, женщины, дети, — так что для танцоров почти не оставалось места. В подобных случаях обычно никому не посылают особых приглашений, так как рады всем и каждому, хотя внутри дома убирают особое помещение для друзей и родственников жениха и невесты. Тут же рядами сидели старухи и хлопали в ладоши в такт музыке. Среди многих задорных мелодий, которые исполняли музыканты, мы узнали и несколько наших,

популярных в Америке мотивов, которые, впрочем, наверняка были позаимствованы у испанцев. Танцы меня разочаровали. Женщины сначала стоят на месте, как-то неестественно вытянувшись, опустив руки и не поднимая глаз, потом начинают словно скользить по полу, так как не видно, как они перебирают ногами, поскольку подол платья достигает земли и полностью скрывает их. При этом лица сохраняют самое серьезное выражение, словно они не танцуют, а находятся в церкви. Так что вместо ожидаемых мной темпераментных, зажигательных испанских танцев я увидел нечто вялое и безжизненное — во всяком случае, так танцуют женщины. Мужчины выглядели лучше. Они танцевали с грацией и вдохновением, вращаясь вокруг своих почти неподвижных дам, стараясь как можно эффектнее показать самих себя.

Кстати, было много разговоров про нашего приятеля дона Хуана Бандини, и когда он появился в самом конце вечера, то продемонстрировал нам грациознейший танец, какой я когда-либо видел. Он был одет в прекрасно сшитые белые панталоны, короткий жилет темного шелка с затейливым узором и белые чулки, а его стройные ноги облегали тонкие сафьяновые туфли. Легкость его фигуры совершенно гармонировала с самим танцем, и он порхал в воздухе с изяществом молодого фавна. Казалось, полет лишь случайно прерывался, когда ему нужно было коснуться земли. Однако он вовсе не стремился вскружить голову зрителям вихрем танца, напротив, он как бы подавлял в себе страсти. Ему громко хлопали, и он много танцевал. После ужина начались вальсы, которые, впрочем, были уделом немногих gente de razón и почитались признаком аристократического лоска. Здесь дон Хуан также показал себя с лучшей стороны и в паре с сестрой невесты доньей Ангустией, очень красивой женщиной и общей любимицей, проделывал множество красивых фигур, так что их вальс занял чуть ли не полчаса, и все это время никто, кроме них, не танцевал. Им долго и шумно хлопали, все старики от восторга вскочили со своих мест, а молодежь с воодушевлением размахивала шляпами и платками. Однако самым веселым развлечением вечера — поскольку это был карнавал — было разбивание пустых яиц, наполненных одеколоном и прочими пахучими веществами о головы присутствующих. Женщины тайком и в большом количестве принесли с собой эти метательные снаряды, и все удовольствие состоит в том, чтобы изловчиться и расколоть такое яйцо о голову отвернувшегося мужчины. Тот по законам галантности обязан отыскать даму и ответить ей той же любезностью, однако же непременно так, чтобы она была застигнута врасплох. Прямо

передо мной стоял с важным видом высокий, величественный дон с огромными седыми бакенбардами. Вдруг я ощутил на своем плече чье-то легкое прикосновение и, обернувшись, увидел донью Ангустию — сестру невесты. Мы все хорошо знали эту миловидную женщину, уже побывавшую на «Элерте» в качестве пассажирки. Она стояла, приложив палец к губам, и знаками показывала мне отойти чуть в сторону. Я отодвинулся, она же подкралась сзади к дону и, смахнув одной рукой с его головы необъятное сомбреро, другой мгновенно расколола яйцо, тут же скользнула в сторону и исчезла в толпе. Дон медленно повернулся — по его лицу стекали ручейки одеколона, а со всех сторон раздавались взрывы смеха. Некоторое время он беспомощно озирался, пока взгляды множества смеющихся глаз не указали ему на прелестную шалунью. Она была его любимой племянницей, и старому дону Доминго оставалось только рассмеяться вместе со всеми. Юные пары все время разыгрывали подобные шутки и затевали друг с другом настоящую войну с преследованиями и увертками, при которых каждое успешное нападение вызывало всеобщее ликование толпы.

Другая забава долгое время оставалась для меня совершенной загадкой. На середину выходила хорошенькая молодая девица, называвшаяся по этому случаю невероятно кощунственно для этой страны — Espiritu Santo (Святой Дух), и начинала танцевать. Потом сзади подкрадывался какой-нибудь юноша, одевал ей на голову свою шляпу по самые брови и тут же прятался обратно в толпу. Она продолжала танцевать некоторое время, а затем под общие возгласы толпы сбрасывала шляпу на землю, а молодому человеку приходилось выступить вперед и подобрать ее. Некоторые особы сбрасывали шляпу без промедления, другие не снимали ее в продолжение всего танца; когда же с поклоном выходил владелец, возвращали шляпу из рук в руки. Наконец я начал догадываться о смысле происходящего, и впоследствии мне объяснили, что шляпа — это своего рода комплимент и предложение быть до конца вечера кавалером девицы, а к ночи — проводить ее до дому. Если шляпа летит на землю — предложение отвергнуто, и незадачливому воздыхателю приходится подбирать ее под градом насмешек. Больше всего веселятся, когда кавалер одевает девице шляпу, не позволяя ей увидеть, кто сделал это. В таком случае ей приходится либо сбросить ее, либо оставить на своей голове наудачу, когда же обнаруживается владелец, смех зрителей нередко обращается на кого-нибудь из двоих.

Около десяти часов капитан созвал нас, и мы возвратились на судно в приподнятом настроении, получив большое удовольствие

от необычного зрелища, оказавшись благодаря этому в глазах команды важными персонами, которым есть что порассказать. К тому же теперь нам предстояло съезжать на берег каждый вечер, пока не окончатся празднества, длящиеся обычно не менее трех дней. На следующий день двоих из нас послали в город, и на обратном пути мы не преминули заглянуть к сеньору Нориэго. Музыканты были на своих местах и слегка пощипывали струны. Кое-кто из низшего сословия уже развлекался танцами, которые продолжались с небольшими перерывами весь день. Впрочем, только к вечеру собирается настоящая толпа, появляются люди высшего круга (élite) и всех охватывает воодушевление. В последний день праздника мы опять попали на берег, но монотонная гнусавая музыка, протяжные выкрики женщин, служившие словно аккомпанементом, и хлопки в такт вместо кастаньет показались нам на этот раз утомительными. Зато мы сами стали предметом внимания. Наши матросские костюмы — а мы тщательно следили, чтобы они всегда были аккуратны и без малейшего изъяна — вызывали немалое восхищение, а со всех сторон нас просили, чтобы мы показали танец американских матросов. Однако после двух-трех смехотворных па, проделанных некоторыми нашими земляками около мексиканок, мы почли за лучшее представить зрителям американские танцы. Наш агент, облаченный в тесный черный фрак, доставленный из Бостона, в высоком крахмальном воротничке, выглядевший так, словно он насажен на вертел и может двигать только руками и ногами, тоже вышел в круг сразу после Бандини, и мексиканцы могли по достоинству оценить грациозность янки.

В последний вечер праздник продолжался с еще большим задором, однако в самый разгар веселья капитан велел нам отправляться на судно, так как был сезон зюйд-остов и он боялся слишком долго задерживаться на берегу. Его предусмотрительность оказалась ненапрасной — в эту же ночь мы оставили якоря на грунте как плату за развлечения на берегу, вышли в море, спасаясь от зюйд-оста, который продлился двенадцать часов, и вернулись на свою якорную стоянку только на следующий день.

Глава XXVIII
Вести из дома

Понедельник, 1 февраля. После трехнедельной стоянки мы снялись на Сан-Педро, куда прибыли на следующие сутки, буквально пролетев расстояние между портами с попутным ветром, который за все время перехода не изменился ни на один румб. В Сан-Педро оказались «Аякучо» и «Пилигрим», которого мы не видели с 11-го сентября, то есть около пяти месяцев. Я ощутил даже нечто похожее на прилив нежности к «старику», служившему мне домом почти год. К тому же он вызывал в моей памяти не только воспоминания о первых испытаниях в море, но и о Бостоне — о том причале, который мы покинули, о якорной стоянке на рейде, прощальных взглядах и еще многом другом, что теперь уже едва ощутимыми звеньями связывало меня с тем миром, в котором я когда-то жил и куда, даст бог, смогу еще возвратиться. В первый же вечер я отправился на «Пилигрим» и застал на камбузе нашего старого кока, забавлявшегося той самой флейтой, что была подарена мной при расставании. Я от души пожал его руку и нырнул в кубрик, где оказались все мои старые приятели, обрадовавшиеся моему появлению, тем более что они считали нас погибшими, особенно после того, как не застали нас в Санта-Барбаре. «Пилигрим» пришел в Сан-Педро из Сан-Диего и стоял здесь уже около месяца, приняв три тысячи шкур в Пуэбло. Но, как говорится, «sic vos, non vobis» [48] — мы забрали их на следующий же день и, наполнив свои трюмы, 4-го снялись вместе с «Пилигримом». Он опять шел в Сан-Франциско, а мы — в Сан-Диего, куда прибыли 6-го.

Мы всегда радовались приходу в это уютное местечко, где был наш склад, и чувствовали себя там почти как дома, особенно я — ведь я «просидел» на здешнем берегу целое лето. В порту не было ни одного судна: «Роса» ушла в Вальпараисо, а «Каталина» — в Кальяо. Мы разгрузили шкуры и через четыре дня были снова готовы идти за ними, но теперь уже, о радость, в последний раз! Более тридцати тысяч шкур было доставлено, обработано и уложено в сарай, и эти шкуры вместе с теми, что предстояло еще собрать «Пилигриму», составляли наш полный груз. От одной мысли, что мы пойдем вдоль побережья в последний раз, мы чувствовали себя уже дома, хотя должен был пройти почти год, прежде чем мы увидим Бостон.

По своему всегдашнему обычаю я провел вечер у печи сандвичан. Но теперь там не было шумно и весело, как прежде.

Обитатели печи говорили, что открытие островов Южных морей европейцами обернулось для всех островитян величайшим проклятием. И воистину, каждый, кто хоть немного знаком с историей наших деяний в тех краях, признает, сколь это справедливо. Ведь белые люди завезли туда вкупе со всеми своими пороками еще и болезни, дотоле неизвестные островитянам, и теперь коренное население Сандвичевых островов ежегодно убывает на два с половиной процента. Похоже, что народ этот обречен. Злой рок тех, кто называет себя христианами, повсюду преследует их, и даже здесь, в этом забытом богом месте, два молодых островитянина чахли от недуга, который никогда не сразил бы их, если бы они не общались с людьми, прибывшими в Калифорнию из христианской Европы и Америки. А ведь совсем недавно я видел сильных, жизнерадостных юношей с отменным здоровьем. Один был не слишком болен и еще ходил, покуривая свою трубочку и стараясь болтовней поддержать хорошее настроение. Зато другой, мой друг и «Aikane» (Надежда), являл собой ужасающее зрелище — его глаза, глаза мертвеца, глубоко запали в глазницы, щеки ввалились, ладони походили на две клешни. Ужасный кашель сотрясал все его тело. Довершали картину едва слышный шепчущий голос и полная неспособность самостоятельно передвигаться. Под ним была только циновка, брошенная на землю, о лекарствах и хоть каких-то удобствах не было и речи, и никто не заботился о нем, кроме канаков, которые, при всем желании, ничем не могли помочь ему. При виде его у меня потемнело в глазах. Несчастный! Все четыре месяца, прожитые мною на берегу, мы почти не разлучались, ни во время работы, ни в лесу, ни на рыбной ловле. Я сильно привязался к нему, и общение с ним было для меня куда приятнее, чем с соотечественниками. Не сомневаюсь, что он был готов для меня буквально на все. Когда я забрался в печь, где лежал Надежда, он посмотрел на меня и тихо сказал с радостной улыбкой на устах: «Aloha, Aikane! Aloha nui!». Я утешал его, как только мог, обещал попросить у капитана лекарство из аптечного ящика, уверив, что капитан поможет всем, что в его силах, ведь Надежда столько лет работал на берегу и на наших судах. Вечером, вернувшись на судно и забравшись в свою койку-гамак, я долго не мог уснуть.

Зная о моей учености, канаки решили, что я должен знать толк в медицине, и требовали, чтобы я внимательно осмотрел больного. Зрелище было не из тех, которые можно забыть. Один наш матрос, двадцать лет прослуживший на военном флоте и насмотревшийся людских страданий, сказал, что не только не видел подобного, но даже не представлял себе, что такое может

быть. На лице его был написан неподдельный ужас, а ведь этот человек бывал свидетелем тяжелых сцен в наших флотских госпиталях. Мысли о несчастном друге всю ночь не выходили у меня из головы, я только и думал о его страшных мучениях и неизбежном конце.

На следующий день я рассказал капитану Томпсону про болезнь Надежды и спросил, не согласится ли он съездить к больному.

— Что? К паршивому канаке?

— Да, сэр, ведь он проработал на судах и на берегу для нашей компании четыре года.

— А, пусть он хоть горит в преисподней! — ответил капитан и пошел прочь.

Впоследствии этот жестокий человек умер от лихорадки на страшном побережье Суматры, и дай бог, чтобы к его страданиям отнеслись хоть немногим лучше, чем он сам к мукам других.

Убедившись, что от капитана ничего не добьешься, я посоветовался с одним старым матросом и взял сохранявшийся им старый рецепт. С этой бумагой я пошел к старшему помощнику и объяснил, в чем дело. Хотя мистер Браун и был первостатейным погонялой, а на вахте и вовсе не давал никому спуску, все-таки он не растерял человеческих чувств и был склонен относиться к больным с состраданием. Он сказал, что Надежду, строго говоря, нельзя считать членом команды, но поскольку тот заболел, находясь на службе у нашей компании, то ему можно выдать лекарство. Он сам достал и вручил его мне, разрешив съехать вечером на берег. Невозможно описать восторг канаков, когда я принес лекарство. Они излили на меня все до единого слова любви и признательности, хотя я не понимал и половины того, что они говорили. Несчастный Надежда настолько воспрянул духом при одной мысли о том, что ему хотят помочь, что, казалось, сразу же почувствовал себя лучше. Я понимал, что он все равно обречен, но тем не менее стоило прибегнуть к последнему средству. Печь, открытая всем ветрам, — не место для приема больным каломели, однако иного выхода не было, все равно приходилось прибегать к сильному средству. Я настрого приказал Надежде хорониться от холода, ибо в этом было единственное спасение. Я еще дважды приходил к нему, но совсем ненадолго — у меня были считанные минуты, чтобы отойти от шлюпки. Он обещал исправно принимать лекарство и уверял, что ему уже лучше.

Мы снялись 10-го, направляясь в Сан-Педро, но три дня нам препятствовали штили и противные ветры. На четвертый подул изрядный зюйд-ост, и мы были вынуждены брать на марселях

рифы, и когда работали на реях, то заметили впереди с наветра парус, и уже через полчаса встретились с «Аякучо», который лавировал под зарифленными марселями к Сан-Диего. Придя в Сан-Педро и отдав якорь на старом месте в лиге от берега, мы опять оказались единственным судном, и нам предстояло недели три, а то и больше заниматься самым нудным делом — вкатывать товары по скользкой тропинке на холм, ходить со шкурами на головах по острым камням да еще, возможно, спешно спасаться от зюйд-оста.

В единственном домишке на берегу обитал человек, который навсегда запомнился мне как великолепнейший экземпляр калифорнийского бродяги. Когда-то он был портным в Филадельфии, но потом запил, запутался в долгах и отправился с партией трапперов на реку Колумбия, а оттуда в Монтерей, где спустил все до последнего, бросил своих трапперов и объявился в Пуэбло-де-лос-Анхелесе, намереваясь приняться за свое старое ремесло. Но тут он снова «увалялся под ветер» и уже не вылезал из пульперий, игорных залов и прочих подобных заведений. В конце концов он пришел в Сан-Педро, чтобы спасти свою душу, удалившись от искушений. Этот человек пространно рассуждал о непоколебимости своего решения и посвятил нас в тайны своей прошлой жизни. Однажды утром он взял готовые заказы и, прилично одевшись, в прекрасном расположении духа отправился в Пуэбло, заявив, что вернется на следующий день с деньгами и новыми заказами. Однако прошел день, неделя, истекала другая, когда, съехав как-то на берег, мы увидели какого-то высокого человека, сильно смахивающего на нашего приятеля-портного. Он вылез из индейской повозки, прикатившей из Пуэбло, и, завидев нас, заторопился к дому, но мы быстро настигали его, и он, поняв, что ему все равно не уйти, «лег в дрейф» и заговорил с нами. Боже правый, как он выглядел! Босой, драные штаны, подвязанные обрывком сыромятного ремня, засаленная рубашка и ветхая индейская шляпа — он дошел, как говорится, «до ручки». Ему пришлось во всем сознаться: он опять принялся за старое — и теперь с неделю будет трястись в белой горячке и еще многие месяцы прозябать как самое никчемное существо. Таков образ жизни доброй половины англичан и американцев, «дрейфующих» на побережье Тихого океана и по его островам. Таким же был и мистер Рассел, заведывавший складом шкур в Сан-Диего. И его прогнали за дурное поведение. Он умудрился спустить не только все свои сбережения, но и все запасы со склада, и ему оставалось только кое-как перебиваться в пресидио в качестве последнего «отиралы», пока после очередного мошенничества он не был вынужден «в одночасье» бежать в горы, спасаясь от

преследователей, посланных в погоню на лошадях с собаками. Однажды ночью он ворвался к нам в сарай; задыхающийся от страха, покрытый грязью с головы до пят, ободранный колючками и шипами растений, чуть ли не голый и бледный, как привидение, он умолял нас дать ему хотя бы корку хлеба и уверял, что не ел и не спал три дня. Вот до чего докатился знаменитый мистер Рассел, которого еще месяц назад величали «Don Thomàs» [49], «Capitán de la playa» [50], «Maéstro de la casa» [51] и прочее. Теперь он просил подаяние у канаков и матросов. Рассел прожил с нами какое-то время, но потом решил явиться с повинной и его уволокли в calabozo (каталажку).

Другого такого же типа, только позабавнее, мы видели в Сан-Франциско. Он был «боем» на «Калифорнии» во время одного из ее первых плаваний, потом сбежал и сделался ranchéro. Он пускался во всякие рискованные предприятия, крал лошадей и не гнушался кое-чем и похуже этого, промышляя вдоль всего побережья до самого Сан-Франциско, неподалеку от которого у него было ранчо. Однажды утром он встретил нас на берегу, разряженный истинно по-калифорнийски: в широкополую шляпу, потертые вельветиновые штаны и с пончо на плечах. Он просил отвезти его на судно, так как якобы собирался paseár [52] с капитаном. Мы весьма сомневались, чтобы его захотели слушать, но сам он, по всей видимости, считал себя подходящим собеседником для кого угодно. Мы все-таки взяли его и, высадив на трапе, разошлись по работам, хотя и поглядывали искоса на ют, где расхаживал капитан. Нимало не смущаясь, парень подошел к нему, приподнял шляпу и пожелал доброго утра. Капитан Томпсон обернулся, смерил гостя взглядом с головы до ног и сказал холодно, даже не остановившись: «Хэлло! Ты кто такой, дьявол тебя побери?» Подобный прием был достаточно красноречив, и матросы стали весело перемигиваться. Потерпев неудачу у высшего начальства, наш герой подкатился к старшему помощнику, наблюдавшему за работой на баке, и хотел было потолковать с ним, но и здесь не был принят. Старший видел всю сцену, происшедшую на юте, и не пожелал снизойти до человека, отвергнутого капитаном. Второй помощник работал наверху, а третий помощник и я красили кормовую шлюпку и были слишком заняты, чтобы сказать хоть слово. Потом гость стал поочередно подходить ко всем матросам, но «молва» опережала его, и каждый молча продолжал заниматься своим делом. Немного погодя мы увидели, что бедняга стоит около камбуза и разговаривает с коком. Это было сокрушительное поражение — низвергнуться с высот, чтобы очутиться рядом с коком. Вечером, когда раздавали ужин, он потоптался некоторое время на палубе, возможно

надеясь, что его пригласят помощники капитана, но те спустились вниз, не обратив на него ни малейшего внимания. Тогда он решил попытать счастья с плотником и парусным мастером, но тоже всуе. Мы уже достаточно повеселились и, сжалившись над ним, предложили кружку чая и место в кубрике у общего котла. Темнело, герой наш проголодался и, окончательно убедившись, насколько бесполезно разыгрывать из себя caballéro, спустился к нам и посмеялся над своими злоключениями вместе со всеми, как это принято среди моряков. Он описал нам все свои похождения, не забыв и про мошенничества, чем изрядно нас позабавил. Кстати, эта продувная бестия рассказал много интересного о законах и обычаях малознакомого нам мирка Калифорнии.

Суббота, 13 февраля. Нас подняли в полночь, чтобы спешно уходить от жестокого норд-оста, поскольку эта проклятая дыра, Сан-Педро, считается небезопасной почти при любом ветре, кроме зюйд-веста. Мы снялись с потравленными шкотами и легли в дрейф с подветренной стороны острова Каталина, где провели три дня, после чего возвратились на свою якорную стоянку.

Вторник, 23 февраля. После полудня с берега подали сигнал, и мы отправились в капитанском вельботе за клерком нашего агента, побывавшего в Пуэбло и теперь дожидавшегося нас на причале. Под мышкой он держал пакет, завернутый в плотную бумагу и тщательно перевязанный шпагатом. Как только мы отошли, он сразу сказал, что у него есть хорошие новости из Санта-Барбары.

— Какие же? — спросил кто-то. — Уж не сорвался ли с якорей этот чертов агент? Или костлявая все-таки добралась и до него?

— Нет, кое-что получше. Пришла «Калифорния».

А это значит, что с ней прибыли письма, газеты и, может быть, даже друзья! Наши сердца были готовы выпрыгнуть из груди, и мы изо всех сил навалились на весла — ведь драгоценный пакет может вскрыть только сам капитан. Когда мы проходили под кормой, клерк поднял пакет над головой и крикнул старшему помощнику, который стоял облокотившись о поручни, что пришла «Калифорния».

— Ура! — загремел на всю палубу старший помощник. — Здесь «Калифорния» с бостонскими новостями!

В один миг на борту произошло замешательство, понятное лишь тем, кто побывал в нашей шкуре. Даже субординация каким-то непостижимым образом вдруг ослабла.

— Что такое, мистер Браун? — спросил кок, высунувшись из камбуза, — пришла «Калифорния»?

— Да, да, ангел тьмы. Там и для тебя найдется письмецо.

Пакет был препровожден в каюту, а для нас потянулись минуты томительного ожидания. Текло время, но так ничего и не происходило. Помощники, почувствовав неловкость положения, снова возвратили нас к прерванным работам, и опять на палубе воцарилась все та же строгая дисциплина, запрещающая любые разговоры. Поэтому, когда появился стюард с письмами для команды, все разобрали их, отнесли в кубрик, но ни одно письмо не было прочитано до окончания вечерней приборки.

Для моряков характерно преувеличенное до крайности понятие о мужском достоинстве. И проявление этого нередко граничит с бесчувственностью или даже жестокостью. Поэтому даже тот, кто был на волосок от гибели, обязан обратить происшедшее с ним в шутку. Стоит ли говорить о каких-то ссадинах или ушибах. Любое проявление жалости или сочувствия выглядит в глазах моряков неуместным для мужчины, долг которого в том и состоит, чтобы каждодневно встречать удары судьбы. Отсюда и безразличие к заболевшим в море, так что какими бы людьми ни были моряки на берегу, на судне больной не встретит сочувствия ни в кубрике, ни на юте. Моряки даже гордятся тем, что презирают как в самих себе, так и в других все «тонкие» чувства. Человек с тонкой кожей не смог бы прожить на судне и часа, и если он не защищен воловьей шкурой, его обдерут заживо. Так было и теперь — на какой-то миг в нас пробудилась естественная привязанность к дому и близким, но тут же взяла свое жестокая рутина. На тех, кто внешне выказывал хоть малейший интерес к новостям, посыпались грубые шутки и непристойности, которые не щадят никого.

Прежде чем прочитать письма, надо было еще съесть ужин, и когда наконец их все-таки достали, вокруг каждого счастливчика собрались слушатели в ожидании прочтения писем вслух. Если кто-нибудь читал про себя, его сразу же одергивали: «А ну, карты на стол, играй в открытую!» Я со своим письмом пошел к парусному мастеру, чтобы никто не мешал читать. Письмо было датировано августом, то есть написано ровно через год после нашего выхода в плавание. Дома все были здоровы, и там не произошло заметных перемен. Следовательно, за целый год я мог быть спокоен, но со времени отправки письма пролетело шесть месяцев, и кто знает, что еще может случиться в будущем году? Каждому, кто находится вдали от дома, представляется, будто там обязательно должно происходить что-то необычное, хотя на самом деле для оставшихся под родным кровом ничто не нарушает привычного течения жизни.

Как бы ни были заняты мои мысли полученным письмом, все

же я не мог не отвлечься, чтобы позабавиться разыгравшейся в кубрике сценой. Наш плотник перед самым выходом из Бостона женился и непрестанно рассказывал нам о своей жене. Как всякий женатый человек на судне, он сделался мишенью для насмешек остальных. Однако твердая надежда получить весточку от жены с первым же судном, по-видимому, помогала ему сносить все это. Наконец пришла «Калифорния», и к нам доставили пакет. Плотник был взволнован, как никто другой. Но когда на бак вынесли письма, для него не оказалось ничего. Капитан проверил еще раз — никакой ошибки. Бедняга Щепка даже не притронулся к ужину. Он был совершенно подавлен. Парусина (парусный мастер) пытался утешить его, в который раз уверяя, что он был последним дураком, связавшись с бабой. Да и без того ему тысячу раз твердили, что он уже никогда не увидит своей жены.

— Эх! — отвечал на все это Щепка. — Да знаешь ли ты, что такое жена...

— Это я-то не знаю?! — возмутился Парусина и в сотый раз принялся рассказывать о том, как после четырехлетнего плавания он пришел из-за Горна на фрегате «Констеллейшн» в Нью-Йорк, получил свои пятьсот долларов, женился и снял две комнатушки в четырехэтажном доме (тут подробно перечислялась вся обстановка, включая дюжину стульев с яркой обивкой, которые он всегда вспоминал, если речь заходила о мебели); как он опять пошел в море и сдуру оставил жене половину денег, а когда возвратился, то ее и след простыл вместе со всей обстановкой, в том числе и красивыми стульями и даже его касторовой шляпой и полотняными рубашками. С тех пор он ничего не слышал о ней. За сим следовало уничтожающее заключение, не очень приятное для прекрасного пола.

— Брось, Щепка, будь мужчиной и не пренебрегай ужином! Теперь уже юбка не одурачит тебя! А жену свою ты больше не увидишь, она навострила лыжи, не дожидаясь, пока ты обогнешь Кейп-Код. И денежки ты спустил по-дурацки, хотя в первый раз всегда даешь маху, как я, например. Так что ты перебрасопь реи и не тушуйся.

Это было самое лучшее, что только мог придумать Парусина, но вряд ли такое утешение пришлось плотнику по вкусу. Несколько дней он ходил мрачный как туча и с трудом сдерживался, чтобы не ответить бранью на шутки матросов, которые мало чем отличались от советов парусного мастера.

Четверг, 25 февраля. Снялись на Санта-Барбару и прибыли туда в воскресенье 28-го. Мы немного опоздали и не увидели «Калифорнию» — она ушла три дня назад в Монтерей, чтобы представить для таможенного досмотра свой груз и получить

лицензию, после чего должна была идти в Сан-Франциско. Капитан Артур оставил для капитана Томпсона подшивки бостонских газет, и после того, как их прочли и обсудили в кают-компании, они попали ко мне через моего приятеля третьего помощника. Я получил полный комплект «Бостон транскриптс» за август 1835 года и около дюжины разрозненных экземпляров «Дэйли эдвертайзер» и «Курьера». В чужой стране что может быть приятней газеты из родного города. Во многих отношениях газета даже лучше письма. Она словно переносит домой и превращает вас чуть ли не в clairvoyant [53]. Напечатанные названия улиц и перечень рекламируемых товаров словно ставят вас под вывески знакомых магазинов. Тут же было помещено сообщение о торжественном акте в Кембридже с подробным описанием празднества, посвященного выпуску нашего курса. Приводился список моих знакомых, при чтении которого передо мной словно живые одно за другим возникали их лица, вспоминались характеры такими, какими я знал их в жизни. Воображение переносило меня на сцену, где произносились речи, где каждый демонстрировал присущие ему жесты и интонации, я словно воочию видел, как каждый справляется со своей темой. Потом я представил себе похожего на владетельного князя величественного ректора, вручающего им дипломы... и все это в то время, когда их однокашник в далекой Калифорнии перетаскивал на собственной голове бычьи шкуры.

В течение недели каждый раз, находясь на подвахте, я углублялся в эти газетные листы, пока там не осталось абсолютно ничего, что ускользнуло бы от меня.

Суббота, 5 марта. Важная дата в нашем календаре. Впервые мы окончательно поверили в то, что в самом деле близится конец плавания. Капитан распорядился готовить судно к выходу и заметил, что ветер вполне благоприятен для рейса в Сан-Педро. Значит, мы уже не пойдем на север. Новость эта быстро распространилась по судну, а, когда мы отправились на вельботе забрать капитана с берега, он, пожимая руки всем провожающим, говорил, что уже вряд ли когда-нибудь увидит Санта-Барбару. Это решало дело, и у каждого в шлюпке от радости сжималось сердце. Мы лихо отвалили от берега, повторяя про себя: «Прощай, Санта-Барбара! Мы здесь в последний раз! И уже не будем купаться в твоем прибое и спасаться от твоих чертовых зюйд-остов!» Благодаря привезенному нами известию, во время съемки с якоря все шло как по маслу. Каждый в последний раз смотрел на миссию, городок, валы прибоя, разбивающиеся о берег, и клялся, что никакие деньги не заставят его вернуться к этим берегам. Наконец вся команда навалилась на кат-лопарь, и впервые

раздалось шанти «Пришло нам время отходить!», которое дружно подхватили все. Можно было подумать, что мы уже выходим в обратный рейс, столь близким казался он теперь, хотя ждать нам оставалось еще три долгих месяца.

В Санта-Барбаре мы оставили нашего юного англичанина Джорджа Марша, того самого, о чьих приключениях на островах Палау я уже рассказывал. Он ушел от нас, чтобы занять место второго помощника на «Аякучо», который стоял здесь же в порту. Джордж вполне подходил для этой должности, а его образование позволяло ему со временем претендовать на любую высокую должность, возможную в море. Мне было очень жаль расставаться с ним. Он почему-то возбуждал во мне острое любопытство — ведь кто-кто, а я ни на минуту не сомневался в том, что он происходит из высшего общества и оттого получил хорошее воспитание. За обличьем матроса явно скрывался истинный джентльмен, наделенный чувством собственного достоинства и той гордыней, которая свойственна молодым людям из хороших семей. Место помощника ему предложили всего за несколько часов до нашего отхода, и хотя это лишало его возможности вернуться в Америку, перспектива переехать из матросского кубрика в каюту оказалась слишком заманчивой. Мы отвезли его на «Аякучо», и когда он выходил из шлюпки, то дал каждому по монетке, исключая меня. А мне пожал руку и кивнул, что означало: «Мы ведь понимаем друг друга». Узнай я о его продвижении хоть на час раньше, непременно постарался бы выудить у этого человека его подлинную историю. Он знал, что я не верю тем байкам, которыми он угощал матросов, и не исключено, что в минуту расставания он поведал бы мне обо всех обстоятельствах своего рождения и о своей ранней молодости. Его жизнь — каприз судьбы, коих в действительности случается много больше, чем полагают люди, никогда не покидавшие своего дома и прошедшие путь жизни по ничем не искривленной прямой от колыбели до гробовой доски. Мы должны познавать истину, изучая контрасты бытия, не в эмпиреях витать, не наезженной дорогой праведности идти, а бродить по тропинкам житейской суеты, опускаться до глубин человеческого падения. Только там, в трущобах, в матросских кубриках, среди отверженных можно увидеть, во что превращают наших ближних случай, нужда или порок.

Через два дня мы были уже в Сан-Педро, а еще через два имели удовольствие последний раз взглянуть на это место, которое справедливо именуют калифорнийским адом и которое словно нарочно сотворено для вытягивания из матросов последних жил. Даже прощальный взгляд и тот не мог вызвать ни

малейшего чувства сожаления. «Нет уж, благодарю, — думал я, глядя на удаляющийся ненавистный берег, — хватит с меня и того, что я босой ходил по камням, таская на голове шкуры, вкатывал тяжести по крутому, скользкому холму, купался в холодном прибое, бесконечно долгие дни и еще более долгие ночи караулил кипы все тех же шкур под визгливый лай койотов и гнетущие душу крики совы».

Прощаясь поочередно с знакомыми местами, я испытывал такое чувство, словно одно за другим рвутся звенья цепи моего рабства. Держась ближе к берегу, чтобы не терять береговой бриз, мы той же ночью прошли миссию Сан-Хуан-Капистрано, и при ярком лунном свете я отчетливо рассмотрел скалу, с которой спускался на фале, рискуя жизнью ради нескольких жалких шкур. «Fórsan et háec olím» [54] — пришло мне в голову, и я в последний раз взглянул в сторону этого места. А на следующий день мы были уже у мыса Сан-Диего. Прилив помог нам войти в гавань, мы отдали якорь как раз против своего склада и начали готовиться к длительной стоянке. Это был наш последний порт. Здесь мы должны были полностью разгрузить судно, вычистить его, обкурить, принять на борт шкуры, дрова и воду и выйти в Бостон. Все это время нам предстояло оставаться недвижимо на одном месте, благо порт был вполне надежен и можно было не опасаться зюйд-остов. Мы нашли себе хорошую стоянку напротив ровного берега, удобного для высадки, в двух кабельтовых от нашего склада; поставили судно на два якоря, отвязали паруса, спустили брам-стеньги и лисель-спирты. Затем все паруса, провиант и имущество, даже запасные рангоут и бегучий такелаж, то есть буквально все, в чем мы не нуждались для повседневного употребления, были перевезены на берег и сложены в сарае. Вслед за этим пришла очередь шкур и копыт, так что в конце концов на судне не осталось почти ничего, кроме балласта, который мы приготовились выгрузить на следующий день. Вечером, уже сидя в кубрике и покуривая за разговорами, мы поздравляли самих себя с тем, что все-таки дождались этого дня, о котором столько мечтали при каждом заходе в Сан-Диего. «Только бы это было в последний раз!» — говаривали мы тогда. Однако нам предстояло месяца полтора, а то и целых два тяжелейших, хотя и не самых тяжких, трудов, а уж потом только — «Прощай, Калифорния!».

Глава XXIX
Погрузка перед обратным рейсом

Мы улеглись пораньше, зная, что нас поднимут ни свет ни заря. Так оно и вышло — еще не успели погаснуть звезды, как прозвучало знакомое «Все наверх!», и началась выгрузка балласта. Портовые правила запрещают сбрасывать что бы то ни было в воду, поэтому наш баркас обшили изнутри неотесанными досками и ошвартовали у трапа, но на каждую высыпанную в него бадью приходилось двадцать, валившихся за борт. Так делают на всех судах, ибо это экономит больше недели труда, который потребовался бы для перевозки балласта на берег. Когда кто-нибудь из пресидио появлялся на борту, баркас сразу же подтягивали к трапу и нагружали его, но, если на берегу было «чисто», все опять летело за борт. Это одно из тех мелких мошенничеств, которые часто практикуются иностранцами в портах второстепенных государств и, можно сказать, совершенно незаметны на фоне куда более грубых нарушений их законов и постановлений. Впрочем, матросы здесь ни при чем, поскольку выполняют волю начальства. Однако сам факт бездумного повиновения в подобных деяниях порождает безразличное отношение к законам других.

Мы занимались этим всю пятницу и частично субботу, пока на борту не осталось только то, что должно было лежать под грузом. В воскресенье (не правда ли, подходящий день для окуривания судна?) мы вынесли из каюты и кубрика все вещи и развели в трюме поверх балласта медленный огонь, для чего использовали древесный уголь, березовую кору, серу и прочие горючие вещества. Мы законопатили люки и все щели, даже замазали малейшие трещины в световых и сходных люках и тамбучинах. Если где показывалась струйка дыма, мы сразу затыкали и обмазывали это место. Капитан и помощники спали на юте под растянутым тентом, мы же устроились на баке и закрывались старым лиселем. На случай пожара нам приказали оставаться на судне, а, поскольку из-за невероятного нагромождения всяческих предметов нельзя было скатывать палубу, команда целый день ничего не делала. К сожалению, мы не могли добраться до наших книжек и потому не знали, чем себя занять, как вдруг один из матросов вспомнил, что оставил какую-то книгу на камбузе. Он пошел туда и возвратился с «Вудстоком». Это была приятная неожиданность, и, поскольку все не могли читать одну книгу разом, я, как самый ученый, по желанию

общества сделался чтецом. Вокруг меня собралось шесть или восемь слушателей, и вряд ли можно представить себе более внимательную аудиторию. Правда, нашлись и такие, кто, посмеявшись над «умниками», перешел на другую сторону бака и занялся своим рукоделием и пересказыванием всяческих небылиц. Но я тем не менее одержал верх, и со мной остались лучшие из команды. Многие общие рассуждения и «политику» я пропускал, но само повествование привело слушателей в восторг, особенно описание пуритан, проповеди и разглагольствование круглоголовых. Доблесть Карла, интриги доктора Радклиффа, подлость «Верного Томпкинса» — все приковывало их внимание. Многое из того, что я считал выше их понимания, к моему удивлению, усваивалось ими в совершенстве.

Я читал весь день до самого заката и почти закончил книгу. После ужина с камбуза принесли свечу, и я, пропуская менее занимательное, к восьми утра сумел прочесть им и о женитьбе Эверарда, и о водворении на престол Карла II.

На следующее утро мы сняли баттенсы с люков, открыли трюмы и другие помещения. Было обнаружено несколько задохшихся крыс, и всем плававшим с нами жукам, тараканам, блохам и прочей мелочи также пришлось окончить свой жизненный путь. Судно было готово, мы выстлали трюмы сухими ветками и могли приступить к загрузке. Все шкуры, собранные после ухода «Калифорнии» (то есть немногим более чем за два года), числом до сорока тысяч, были уже обработаны, высушены, сложены в сарай и дожидались, когда наше доброе судно повезет их в Бостон.

Теперь начались работы по приемке груза, на которых мы надрывались целых шесть недель, с первых лучей солнца до звезд, едва успевая проглотить пищу, и так каждый день, исключая воскресенья. Чтобы дело шло веселее, мы разделили обязанности. Двое матросов скидывали шкуры со штабелей внутри склада. Двое других поднимали их и набрасывали на длинный горизонтальный шест, приподнятый на несколько футов над землей, а еще двое выбивали шкуры цепями, наподобие тех, какими молотят пшеницу. После этого их снимали с шеста и клали на дощатую платформу. Десять или двенадцать человек с закатанными до колен штанами непрестанно переносили шкуры на головах к баркасу, стоявшему как можно ближе к берегу. Труднее всего было навешивать шкуры на шест, ибо это требовало некоторого навыка, который дается лишь продолжительной практикой. Поскольку я считался специалистом по обработке, этот пост предоставили мне, и я занимал его дней шесть или восемь, перекидав за это время около десяти тысяч

шкур. В конце концов мои ладони и запястья настолько онемели, что я запросил пощады и был переведен в команду носильщиков, где и оставался до конца. Чтобы ни в коем случае не замочить шкуры, их приходилось таскать на головах, и у каждого из нас шляпы изнутри были подбиты кусочком овчины, подшитой шерстяной подкладкой, так что наши головы могли день за днем выдерживать вес шкур, иначе у нас вылезли бы все волосы и расплющились черепа. Но в общем наша работа была не из худших, и, хотя по утрам и поздно вечером вода прямо-таки обжигала холодом и мы вовсе забыли, что такое быть сухими, тем не менее нас не донимала вездесущая пыль и грязь от выколачиваемых шкур. Наша молодость и бодрость духа брали свое, и мы стоически переносили все лишения. Пожилые матросы, которых не имело смысла держать в воде, оставались со старшим помощником на борту и споро складывали шкуры в трюм, по мере того как их подвозили на баркасе.

Мы продолжали работать так до тех пор, пока трюм не заполнился настолько, что до бимсов оставался просвет всего в фута четыре. Тогда всю команду собрали на судне, и началась «штивка». Поскольку это довольно необычная работа, она заслуживает подробного описания.

Перед загрузкой балласт в трюме укладывается ровным слоем чуть выше кильсона, а поверх него настилают доски, на которых и размещают груз. При загрузке необходима особая тщательность, дабы поместить в судне как можно больше шкур. Это своего рода искусство, и сноровистый в этом отношении человек считается в Калифорнии важной фигурой. Мне пришлось стать свидетелем многих ожесточенных споров между признанными «штивщиками» относительно того, как надо складывать шкуры — внастил или штабелями. Мы испробовали тот и другой способы, и в кубрике произошло разделение на сторонников Старого Билла и англичанина Боба с «Аякучо», который провел восемь лет в Калифорнии и был готов ручаться головой, доказывая правильность своего способа. В конце концов обе стороны пришли к компромиссу, что оказалось вполне приемлемым.

Итак, мы принялись за «штивку», суть которой состоит в том, что туда, где, работая руками, можно заложить всего одну шкуру, да и то с трудом, заколачивается сотня. Шкуры спрессовываются до предела, так что иногда подаются даже бимсы, и все это напоминает применение домкратов при погрузке хлопка. Каждое утро мы съезжали на берег и привозили столько шкур, сколько могли вколотить за день, а после завтрака спускались в трюм и работали там до вечера с недолгим перерывом на обед. Наложив

штабель до самых бимсов как можно плотнее, используя для заталкивания шкур весла, мы затем делали большую «книгу» из двадцати — пятидесяти шкур, которые перегибались пополам и вкладывались одна в другую. После этого в штабеле раздвигали две какие-нибудь шкуры, вставляли туда корешок «книги», а сверху и снизу подкладывали гладкие и обильно натертые жиром деревянные планки — «салазки», чтобы облегчить «вколачивание». Теперь внутрь «книги» вставляли два длинных крепких бревна, стесанных клином. К торчащим наружу тупым концам этих кольев прилаживают стропы, за которые одним блоком закладываются тали. Другой же блок талей закрепляется на гаке, заделанном в бимсе, как можно дальше к корме. Затем растягивают лопарь, и вся команда наваливается на тали, стараясь, чтобы «книга» вошла поглубже в штабель. Добавляют еще пару хват-талей и так, последовательно увеличивая давление, забивают сотню, а то и все полторы туда, где, казалось, не поместится даже одна шкура. Когда заложены последние тали, зовут кока и стюарда, все усаживаются на шкуры вдоль лопаря в затылок друг другу, чуть не упираясь головами в бимсы, и тянут что есть мочи, помогая себе песней, пока «книга» не войдет целиком в стенку штабеля.

Матросские песни-шанти для работы на шпиле и фалах совершенно особенные — в них хоровой припев сопровождает каждую строку, выводимую запевалой. Обычно ведет кто-нибудь один, а припев подхватывает уже вся команда, и чем громче, тем лучше для дела. У нас от подобного пения палуба чуть было не вставала дыбом, и нас, наверное, было слышно далеко на берегу. Песня нужна матросу так же, как барабан и флейта солдату. Подобно тому как дружно шагают в ногу солдаты, моряки должны все разом тянуть снасть, а навалиться всем вместе без песни почти невозможно. И когда дело идет туго, песня, одна бодрее другой, вроде «Дружно к девчонкам!», «О, Нэнси!», «Веселей, ребята!», словно удваивает силу каждой пары рук. Мы обнаружили, что не все песни одинаково помогают нам при вколачивании шкур. Бывало, заводим одну, потом другую — дело не идет, тали не подаются ни на дюйм. Но вот затянули новую, и она словно ждала своего времени — тали пошли сразу же «на два блока». «Крути веселей!», «Наш капитан сошел на берег», «Лихая команда на лихом корабле» и многие другие годятся для обычной работы, но, если надо поднатужиться как следует и дернуть так, чтобы «поднять мертвеца» и «согнуть бимсы», нет ничего лучше, как «Пора нам уходить!», «Ату его, ату!» или «Ура, ура, мои молодцы!».

Это время было самым оживленным во всей нашей работе. С

утра разминка на веслах и в сарае, потом двадцать, а то и тридцать человек залезали в тесный трюм, где теперь можно было находиться только в сидячем положении, едва поворачиваясь, чтобы передавать шкуры. С песнями выбирались лопари талей, и трюм заполнялся буквально у нас на глазах ото дня на день. Работа была тяжелой, такой, какой ей положено быть. Мы начинали с утра в понедельник и надрывались до субботнего вечера; тогда мы, совершенно измотанные, радовались, что будем отдыхать целую ночь, а утром вымоемся, сменим одежду и безмятежно проведем воскресенье. Все это время мы питались только свежим мясом — утром, в полдень и вечером одни бифштексы. К завтраку и ужину нам давали по кварте чая и, кроме того, фунт сухарей на день. Но все-таки основной пищей служило мясо. Обычно на артель из шести человек приносили большую деревянную миску, полную бифштексов, то есть солидных кусков мяса, поджаренных на сале и облитых жиром. Мы усаживались вокруг миски и набрасывались на ее содержимое как молодые львы, помогая зубам ножами. На камбуз миска возвращалась совершенно чистой. Так было три раза в день. Не берусь сосчитать, по сколько фунтов съедал каждый из нас, но целого бычка хватало всего на четыре дня. Полагаю, такое чревоугодие увидишь не часто. Количество мяса, поглощавшееся каждым из нас, заставило бы английского фермера открыть рот от изумления. Хотя все то время, пока мы оставались в Калифорнии, нашей основной пищей было свежее мясо, и каждый мог похвастать отменным здоровьем, теперь в нас словно вселился бес обжорства, и я не представляю, на что бы мы сгодились без этого провианта. Раза два, когда запаздывали прислать быка и нам приходилось сидеть на сухарях и воде, мы сразу же сделались «легкими и звонкими», несмотря на заполненные животы, и с огромной радостью наблюдали, как подвешивают к рею наконец-то доставленную тушу. Каковы бы ни были теории питания, придуманные кабинетными мудрецами, можно с уверенностью сказать, что при любой иной пище людям было бы немыслимо провести шестнадцать месяцев в тяжких трудах и сохранить при этом безупречное здоровье.

Пятница, 15 апреля. Пришел с наветренного побережья «Пилигрим». Его команду не могли не опечалить наши приготовления к уходу из Калифорнии — ведь они находились здесь дольше «Элерта» и были приговорены еще к году истинно каторжных работ. Я побывал на бриге и заметил, что матросы старались не думать о дурном, а готовились стойко терпеть все невзгоды. Однако Стимсон после долгих уговоров и настойчивых просьб сумел убедить моего друга и напарника по якорной вахте

Тома Гарриса поменяться с ним местами за тридцать долларов и кое-что из одежды. Сделка была одобрена и самим капитаном Фоконом, который намекнул Гаррису, что ему скоро понадобится второй помощник.

Я обратился к капитану Фокону с просьбой сходить к печи и навестить Надежду, которого он хорошо знал, так как одно время сандвичанин плавал под его началом. Он сразу отправился туда и нашел больного в лучшем состоянии, однако на бриге оставался столь малый запас лекарств, а судну предстояло работать на побережье еще очень долго, так что он не мог ничего сделать для больного, зато обещал сообщить о Надежде капитану Артуру, который ожидался со своей «Калифорнией» через неделю. Я навестил Надежду в первый же вечер нашего последнего захода в Сан-Диего, да и потом часто бывал у него. Расставаясь с ним в прошлый раз, я не надеялся застать беднягу в живых, ибо пребывал в полном неведении относительно целительных свойств моих снадобий, и теперь очень обрадовался, когда увидел, что ему решительно лучше. Никогда не забуду, как он благодарил меня. Канаки приписывали его спасение только моему искусству, и я никак не мог убедить их, что владею далеко не всеми тайнами врачевания. К сожалению, лекарств у меня больше не было, а достать новые было негде, и поэтому жизнь моего друга зависела теперь от капитана «Калифорнии».

Воскресенье, 24 апреля. Прошло почти семь недель нашей стоянки в Сан-Диего, мы взяли уже большую часть груза и каждый день высматривали, не показалась ли «Калифорния» с нашим агентом. Сегодня несколько канаков отправились на охоту за кроликами и змеями, но почти сразу прибежали обратно, истошно вопя: «Парус! Парус!» Мистер Хэтч, наш третий помощник, был как раз на берегу и стал расспрашивать их о величине паруса и прочих подробностях и, получив ответ: «Moku — Nui Moku», крикнул нам на судно, что «Калифорния» уже подошла к мысу. В одно мгновение все выбежали наверх, выкатили и зарядили носовые пушки, подняли кормовой флаг и вымпел, выровняли реи и вообще все приготовили, чтобы не ударить лицом в грязь. Едва из-за мыса показалась носовая часть «Калифорнии», как прогремел наш салют. Она вошла под брамселями; на ней без заминок взяли паруса на гитовы и отдали якорь в расстоянии длины одного корпуса от нас. Так как было воскресенье, наша команда оставалась свободной, и все, столпившись на полубаке, обсуждали достоинства прибывшего судна. Это было хорошее, крепкое судно, не такое длинное, как «Элерт», с прямыми бортами и плоским днищем, построенное по последнему образцу тех посудин, что на нашем Юге перевозят

сахар и хлопок. Он был, наверное, неплохим ходоком, но уж никак не претендовал на изящество форм или на то, чтобы называться «лихачом». В общем, мы пришли к единодушному мнению, что «Элерт» не уступит любому судну даже вдвое лучше «Калифорнии».

Вечером наши взяли шлюпку и отправились на «новичка» с визитом. Их приняли в просторном кубрике, где двенадцать — пятнадцать матросов отдыхали, сидя на своих сундучках, покуривая и развлекаясь беседой, и будто того и ждали, чтобы приветить своих коллег с «соседа». Они вышли из Бостона семь месяцев назад, то есть, по нашим понятиям, чуть ли не вчера. У нас, естественно, было о чем расспросить их, ибо, хотя мы уже прочитали доставленные ими газеты, но теперь перед нами сидели люди, которые совсем недавно видели Бостон собственными глазами. Один из матросов, который был еще совсем «зеленым», только что закончил паблик-скул и, разумеется, был в курсе многих дел, о которых мы хотели бы услышать (кстати сказать, узнав имена наших мальчишек, он заявил, что это его однокашники). Наши парни забросали их вопросами про Энн-стрит, бординг-хаузы, суда, приходящие в порт, матросские заработки и прочее.

У них были два англичанина, служивших в военном флоте, так что вскоре началось музицирование. Пели они по-настоящему, по-матросски, а остальная команда, оказавшаяся удивительно музыкальной, подтягивала хором. Они знали много песен, еще неизвестных на торговых судах, и поэтому концерт продолжался до двух склянок, когда появился их второй помощник и крикнул: «Эй, с „Элерта“, отваливайте!» На «Калифорнии», казалось, знали все песни — военные, застольные, «шлюпочные», любовные, в общем, любые, какие только можно вообразить. Я был очень рад, что такой классический репертуар, как «Бедняга Том-булинь», «Залив Бискайский» и прочие песни, все еще остается в употреблении. Кроме того, они понаслушались в театрах и прочих местах увеселения и более изысканных песен и этим очень гордились. Никогда не забуду, как пожилой морской волк, давным-давно пропивший свой голос, выводил во все горло, срываясь на фальцет: «О нет, мы никогда о нем не вспоминаем...»

Быть может и его терзает сожаленье,
Но если он любил с той страстью, что и я,
То никогда уже ему не знать забвенья!

Последнюю строку он буквально кричал, напрягаясь до предела. Песня эта всем нравилась, и его часто просили

исполнить «ту самую, про любовь».

На следующий день «Калифорния» начала разгружаться, и даже на шлюпках, сновавших между судном и берегом, не смолкало пение. Так продолжалось несколько дней, пока все шкуры не были перевезены на берег, после чего с «Калифорнии» прислали к нам несколько человек, чтобы помочь вколачивать в трюмы шкуры, что было весьма кстати, так как они привезли с собой запас новых песен взамен наших, уже совсем «износившихся» от непрерывного употребления в продолжение шести недель. Я уверен, что сие своевременное «обновление» ускорило наше отплытие на несколько дней.

Теперь мы взяли почти полный груз, и мой старый приятель «Пилигрим» приготовился выйти на следующее утро в новый долгий рейс. Я размышлял о тяжелой участи его экипажа и радовался своему избавлению, как вдруг меня почему-то вызвали в кормовую каюту. Войдя, я увидел за столом капитана Фокона с «Пилигрима» и нашего капитана, а также агента мистера Робинсона. Капитан Томпсон повернулся ко мне и резко спросил:

— Дана, вы намереваетесь идти домой на этом судне?

— Конечно, сэр, я рассчитываю на это.

— В таком случае вам придется найти кого-нибудь вместо себя для «Пилигрима».

Я был ошеломлен этим внезапным заявлением и не нашелся сразу, что ответить. Не было никаких сомнений в том, что никто не согласится провести еще двенадцать месяцев на бриге. Кроме того, я знал о полученном капитаном Томпсоном распоряжении доставить меня домой на «Элерте», да он и сам сказал мне об этом, когда я работал со шкурами в Сан-Педро. Но в любом случае ставить мне такое условие за несколько часов до отплытия брига было слишком жестоко. Собравшись кое-как с мыслями, я принял решительный вид и без обиняков заявил ему, что у меня в сундучке хранится письмо, где говорится о распоряжении судовладельцев доставить меня обратно в Бостон, и что даже он сам сообщил мне об этом.

Однако верховное божество не привыкло выслушивать возражения. Капитан Томпсон со свирепым видом уставился на меня, рассчитывая этим привести меня в замешательство, но, видя, что я твердо стою на своем, изменил тактику и взял в руки судовую роль «Пилигрима», где значилось мое имя. Он начал разглагольствовать, что, мол, я числюсь в команде, а он как капитан имеет неограниченную власть надо мной и поэтому завтра утром я обязан быть на бриге с сундуком и койкой или же представить кого-нибудь взамен себя и вообще он не желает больше слушать меня. Даже сам суд Звездной палаты [55] не мог

бы решить дело с большей поспешностью, чем сия троица, приговорившая меня к наказанию, худшему, чем ссылка в Ботани-Бэй [56], которое полностью меняло всю мою будущую жизнь, ибо еще два года в Калифорнии сделали бы из меня моряка до конца моих дней. Я понимал, что отступать нельзя, и повторил сказанное мной еще раз, настаивая на своем праве возвратиться в Бостон. «Я руку поднял и дело правое свое им изложил сполна». Впрочем, все это нимало не помогло бы, будь я простым бедняком в глазах этого всесильного трибунала. Но, к счастью для меня, они знали, что дома у меня влиятельные друзья, которые не простят им, если со мной поступят несправедливо. Скорее всего, именно это и решило мою судьбу. Капитан вдруг совершенно переменил тон и спросил, согласен ли я заплатить тому, кто заменит меня, столько же, сколько Стимсон Гаррису. Я отвечал, что, если кого-нибудь все же пошлют на бриг, мне будет жаль беднягу и я помогу ему, чем могу, однако называть это обменом не согласен ни в коем случае.

«Ладно, — сказал он, — иди работать да пришли ко мне англичанина Бена».

Я помчался на бак с легким сердцем, хотя в то же время меня распирало от негодования и злости. Бен отправился в каюту и через несколько минут возвратился с таким видом, словно ему объявили, что он будет завтра повешен. Капитан велел ему собираться и к утру быть на «Пилигриме», присовокупив к этому, что я заплачу ему тридцать долларов и отдам комплект одежды. Матросы только что спустились в кубрик обедать и, обступив Бена, слушали рассказ бедняги. Я понял, насколько все возбуждены и что мне необходимо объясниться, иначе команда настроится против меня. Англичанин Бен был бедняком и, конечно, не знал никого в Бостоне. Благодаря своей расторопности, добродушию и познаниям в морском ремесле он пользовался общим уважением. «Все понятно, — заключили матросы, — капитан отстал от тебя, потому что ты из благородных, а у Бена ведь нет ни гроша, да и кто за него заступится!» Возразить было нечего, и я постарался оправдаться тем, что, невзирая на все обстоятельства, имел право идти домой. Это их несколько успокоило. Хотя я не мог ни в чем упрекнуть себя, однако почувствовал, насколько изменится теперь мое положение в кубрике. Всеобщее мнение обо мне как о человеке «не нашем», усыпленное до сих пор тем, что я участвовал во всех работах и переносил все тяготы наравне с ними, снова возобладало. Но больше всего мне было жаль бедного парня. Он надеялся возвратиться в Бостон на «Элерте», а оттуда отправиться в Ливерпуль. Кроме того, он ушел в море почти без одежды и

поэтому тратил большую часть заработка в судовой лавке, что с каждым днем все больше и больше разоряло его. Стоит ли упоминать о том, насколько ненавистной стала для всех Калифорния. Поэтому неудивительно, что перспектива заниматься «шкурным» промыслом еще восемнадцать месяцев, если не все два года, по-видимому, окончательно сломила беднягу. Сам я твердо решил ни при каких обстоятельствах не сдаваться и был уверен, что капитан не посмеет силой принудить меня остаться. Я знал, что оба капитана договорились так или иначе забрать одного матроса, и, если мне не удастся склонить кого-либо к «полюбовной сделке», для Бена не останется никакой надежды. Хотя я и заявил, что не желаю иметь ничего общего с «обменом», но все-таки приложил все усилия, чтобы уговорить кого-нибудь, предлагая составить денежное обязательство от имени нашей бостонской фирмы на сумму, соответствующую шестимесячному заработку, а также отдать «добровольцу» всю одежду, книги и прочее имущество, которое не понадобится мне во время обратного плавания. Когда эти условия стали известны команде, они в совокупности с рассказом о положении несчастного Бена подействовали на всех таким образом, что несколько матросов, которые даже ни на минуту не желали вообразить, что сами останутся в Калифорнии, принялись уговаривать остаться тех, кто, по их мнению, мог бы на это согласиться. В конце концов нашелся-таки парень из Бостона, отличавшийся весьма безрассудным характером, по имени Гарри Мэй, которого не заботило, в какую страну его занесло, на каком он судне — лишь бы хватало денег и одежды. Этот Гарри, отчасти из жалости к Бену, но в основном из любви к дармовым деньгам, и согласился «бросить свою койку на проклятом корыте». Опасаясь, как бы он не передумал, я тут же подписал денежное обязательство, отдал ему всю лишнюю одежду и отправил его к капитану, чтобы он сообщил о состоявшейся сделке. Капитан не возражал и, скорее всего, даже обрадовался благоприятному исходу дела. Он оплатил мое обязательство наличными, и к утру парень уже был на бриге. Прощался он с нами, пребывая в прекрасном настроении, позвякивая в кармане монетами и приговаривая: «Не унывай, пока есть хоть один заряд!» Та же шлюпка увезла и моего старого товарища по вахте Тома Гарриса, перешедшего на «Пилигрим» вместо Стимсона.

Мне было жаль расставаться с ним. По нашим подсчетам, мы почти двести часов оттопали вместе по палубе на якорных вахтах и переговорили буквально обо всем, что знал каждый из нас. Он крепко пожал мне руку, и я просил непременно отыскать меня в Бостоне. Вместо него к нам был доставлен мой приятель Стимсон,

с которым мы вместе начинали плавание и который так же, как и я, возвращался в лоно своего семейства и того общества, где он родился и воспитывался. Мы поздравили друг друга с осуществлением того, о чем так много мечтали и на что возлагали такие надежды. Никто изо всей нашей команды не радовался больше нас, когда старый бриг под всеми парусами скрылся за мысом. Вся команда «Элерта» высыпала на палубу и, махая шляпами, трижды прокричала ему прощальное приветствие. С «Пилигрима» также троекратно ответили нам, а мы, по обычаю мореплавателей, прокричали еще раз. Я вглядывался в знакомые лица, когда они проходили мимо нас, и увидел старого кока, который высунулся из камбуза и махал нам своей шапочкой. Потом команда «Пилигрима» взлетела на реи отдавать брамсели и бом-брамсели; оба капитана помахали друг другу рукой, и через десять минут мыс закрыл от нас их паруса, все до последнего дюйма.

Несмотря на облегчение, которое я испытал при виде уходящего брига (ибо я чувствовал себя как человек, выпрыгнувший из готового захлопнуться капкана), я все-таки испытывал сожаление от расставания со «стариком», на котором проплавал целый год, к тому же первый в моей морской жизни. Ведь это судно стало моим домом, когда я вступил в совершенно незнакомый мне мир; с этим судном было связано столько знаменательных для меня событий — на нем я впервые покинул родину, впервые пересек экватор, обогнул мыс Горн, побывал на Хуан-Фернандесе, увидел, что такое смерть в море и еще многое другое, значительное и совсем обыденное. Но несмотря на все это и на чувство жалости к моим старым товарищам, обреченным еще год мучиться в Калифорнии, мысль о том, что у меня с этим краем покончено и всего через неделю мы отправимся в обратный путь на родину, заставляла забыть все невзгоды.

Пятница, 6 мая. Знаменательная дата в нашем календаре — закончили прием груза. Шестнадцать месяцев мы ждали той минуты, когда будет уложена в трюм последняя шкура. И вот наконец люки задраены и наглухо покрыты брезентами, баркас поднят и принайтовлен, палуба очищена. Старший помощник созвал команду на шкафут и по его сигналу, когда он взмахнул над головой фуражкой, мы трижды издали громкий радостный клич, исходящий из глубин наших сердец, который эхом зазвенел по окрестным холмам и долинам. Через минуту послышался такой же троекратный клич с «Калифорнии», где видели, как мы поднимаем баркас.

Еще неделя ушла на то, чтобы пополнить запасы дров и воды и перевезти обратно на судно запасной рангоут, паруса и прочее.

Меня послали с партией индейцев заполнить водой бочонки к источнику, находившемуся за три мили от нашей стоянки, почти в самом городке. Там я прожил три дня, пока мы возили воду на волах к берегу, где команда грузила бочонки в шлюпки. Запасшись водой, мы еще целый день занимались подвязыванием парусов, так что к вечеру всё вплоть до лиселей и трюмселей было приведено в полную готовность.

Незадолго до нашего отплытия один из матросов с «Калифорнии» безуспешно пытался уговорить кого-нибудь из наших поменяться с ним. Этот парнишка, несмотря на свои пятнадцать-шестнадцать лет, успел отслужить учеником матроса на судне «Ост-Индской компании», и необычная история его жизни вызвала у нас немало толков и пересудов. Он был невысокого роста, стройный, хрупкого телосложения, с правильными чертами лица какого-то очаровательного жемчужного оттенка, которое красиво обрамляли вьющиеся черные волосы. Тонкие пальцы, тихий голос, мягкие манеры, как, впрочем, и все остальное, говорили о том, что его родители были из хорошего общества. В то же время нечто неуловимое в его поведении указывало на недостатки умственного развития. Откуда это происходило, был ли это врожденный порок, результат болезни или, может быть, тут сказались невзгоды тяжелого плавания — не знаю. Судя по его собственным словам и прочим фактам, можно было сказать, что он был сыном, возможно побочным, какого-то богатого человека. Он рассказывал, что его родители разошлись; по всей очевидности, отец обходился с ним весьма дурно. Несмотря на то что в детстве о нем неплохо заботились, образованием мальчика пренебрегали, а когда ему исполнилось двенадцать лет, его отдали на службу в «Ост-Индскую компанию». Сам он рассказывал, что, не поладив с отцом, сбежал из дома и поступил на ливерпульское судно «Риальто», направлявшееся в Бостон. Там капитан Холмс старался найти для него судно, шедшее обратным рейсом, но в то время не оказалось ни одного, отплывающего в Англию. Мальчик перебрался в матросский бординг-хауз на Энн-стрит и несколько недель жил, продавая свои вещи. В конце концов он попал в контору по найму, где набирали команду для «Калифорнии». На вопрос мальчика, куда идет судно, вербовщик назвал Калифорнию. Когда он спросил, не в Европе ли это, ему ответили нечто невразумительное и посоветовали записаться в команду. Парень подписал договор, получил деньги вперед, купил себе кое-какую одежду, а остальное тут же истратил. В день отхода он узнал, что судно идет вовсе не в Европу, а на северо-западное побережье Америки, где пробудет два или три года. Испугавшись,

он воспользовался суматохой на судне, сбежал с него и до полудня бродил по улицам отдаленной части города. Денег у него не было, вся одежда и прочие пожитки остались в сундучке на «Калифорнии». Он устал и проголодался, а потому решил пойти в гавань посмотреть, не ушло ли уже судно. Там его и заметил агент из конторы, который разыскивал пропавшего. Парня схватили и отвели на судно. Он сопротивлялся, кричал, что не хочет в Калифорнию, но марсели были уже поставлены, швартовы приготовлены к отдаче, и все на борту находилось в том состоянии спешки и нетерпения, которое всегда сопровождает выход любого судна в дальнее плавание. Тем, кто интересовался, в чем дело, отвечали, что мальчишка истратил свой задаток и хотел сбежать. Если бы владельцы судна знали, в каком положении оказался мальчик, они, несомненно, вмешались бы, но то ли им не было вообще ничего известно, то ли, как и всем остальным, им объяснили, что это просто бездельник, прикарманивший задаток. Как только парень очутился в море, да еще на судне, которое шло в плавание на несколько лет, он поначалу совсем упал духом и отказался работать. При виде этого капитан Артур взял несчастного к себе «боем», чтобы тот помогал стюарду да изредка выбирал с матросами снасти на палубе. В этой должности он и оставался, когда мы познакомились с ним. И хотя для него это было лучшим исходом, чем жить в кубрике и тянуть непосильную для своего столь неокрепшего организма лямку матроса, тем не менее обязанность прислуживать вместе с негром человеку, которого по части образованности и воспитания он мог почитать лишь немногим выше слуг своего отца, оказалась для него почти невыносимой. Он во что бы то ни стало хотел вернуться в Бостон на нашем судне, но капитан отпускал его лишь при том условии, если он найдет замену, что было почти невозможно. Если все, что рассказывал этот парень, было правдой, мне совершенно непонятно, почему капитан Артур, заслуживший репутацию удивительно доброго и отзывчивого человека, не захотел отпустить беднягу. Вероятно, причина здесь одна: неограниченная власть, которой пользуются капитаны торговых судов в дальних плаваниях, по-видимому, уничтожает чувство ответственности перед своими ближними даже в людях с хорошими задатками. Парня отправили на берег работать в сарае, откуда, как я впоследствии узнал, к своему удовольствию, он сбежал в Кальяо на испанской шхуне, а уже оттуда вернулся в Англию. Вскоре после прихода «Калифорнии» я заговорил о моем друге Надежде с капитаном Артуром; тот, зная его с самой лучшей стороны еще по предыдущему рейсу, сразу же отправился навестить несчастного канака и принес ему необходимые

лекарства, так что больной стал быстро поправляться. В субботу вечером накануне нашего отплытия я провел час у печи и распрощался с моими приятелями-островитянами. Покидая Калифорнию, я сожалел единственно о них, ибо чувствовал такую искреннюю симпатию к этим простым и преданным людям, какую до сих пор вызывали во мне лишь мои близкие друзья. Надежда пожал мне руку и сказал, что скоро совершенно поправится и сможет работать у меня, когда я приду со следующим рейсом помощником капитана. Престарелый Мистер Бингэм и Король Маннини проводили меня до самой шлюпки и, сердечно пожав всем нам руки, пожелали счастливого плавания. Потом они пошли назад, к печи, напевая свои заунывные импровизации, в которых, как я мог понять, говорилось о предстоящем нам пути.

Воскресенье, 8 мая. Все мы надеялись, что это наш последний день в Калифорнии. Сорок тысяч шкур, тридцать тысяч рогов, а также некоторое количество бочек со шкурами морских выдр и бобров находились в трюмах, люки которых были уже задраены [57]. Весь запасной рангоут перевезен обратно с берега и принайтовлен; бочонки с водой раскреплены, а вся живность — четыре быка, дюжина овец, такое же количество свиней и три-четыре десятка кур — размещена на палубе: быки около баркаса, овцы — в загончике у носового люка, свиньи — в хлеву, а куры — как и полагается, в настоящем курятнике. Наш четырёхвёсельный ял был набит сеном для быков и овец. Необычно большой вес груза вместе с запасами для пятимесячного плавания настолько утяжелил судно, что оно осело в воду по самые руслени. Кроме того, судно было так плотно набито грузом, вогнанным в трюмы посредством примитивных механизмов, что корпус его словно распирало от натуги, и оно походило на арестанта в смирительной рубахе и, конечно, первое время обещало, пока не разгрузится хоть немного, быть неважным ходоком.

«Калифорния» окончила разгрузку и должна была сняться одновременно с нами. После того как мы продраили палубу и позавтракали, оба судна, стоявшие борт о борт, были приведены в полную готовность. Их высокие мачты отражались в зеркальной поверхности бухты, не нарушаемой ни малейшей рябью. Флаги как тряпки свисали с гафелей. Наконец слабый ветерок подернул рябью воду, а к одиннадцати часам установился свежий норд-вест. Вызывать команду наверх не было надобности — с утра все и так слонялись по баку, ожидая хоть какого-нибудь ветра. Мы то и дело поглядывали на капитана, который мерил ют шагами, изредка посматривая в наветренную сторону. Вот он сделал знак рукой старшему помощнику, и тот неторопливо пошел на полубак, устроился между недгедсами, посмотрел в небо и

скомандовал: «Все наверх паруса ставить!» Не успел он выговорить последнее слово, как мы были уже на вантах. Никогда еще со дня отплытия из Бостона сезни не отдавались с такой быстротой.

— На фоке готово, сэр!

— Грот готов!

— Бизань готова, сэр!

— Все вниз, по одному остаться на реях!

И вот уже отданы крестовые и ноковые сезни — и паруса повисли на хват-талях. На каждом рее осталось по человеку, чтобы отдать последний узел. В тот момент, когда мы бросились к вантам, то же самое произошло на «Калифорнии», и у них также все было готово, чтобы по команде отдать паруса. Тем временем выкатили и зарядили нашу носовую пушку. Ее выстрел должен был послужить сигналом для матросов на реях одновременно отдать паруса. И вот бак окутался облаком дыма. По калифорнийским холмам разнеслось эхо нашего прощального салюта, и сразу же оба судна сверху донизу оделись в белую парусину. На несколько минут воцарился шум и всеобщий беспорядок; люди раздергивали снасти на мачтах, прыгая словно обезьяны; снасти и блоки летали по воздуху, заглушая песню навалившихся на тали марса-фалов матросов, раздавались команды. Под крики «Веселей, ребята!» марсели дошли до места, а через несколько минут были поставлены все паруса, так как дуло еще совсем слабо. Передние паруса обстенили, и «слип-слэп» — пошел шпиль под крики матросов. Несколько дружных оборотов, и рым якоря вышел из воды.

— А ну, в последний раз! — крикнул старший помощник, и под звуки хора «Время нам отходить!» якорь дотягивают к крамболу. Все делалось так быстро, будто действительно в последний раз. Реи на фоке снова перебрасопили, паруса наполнились ветром, и судно стало забирать ход, начиная свое плавание к родным берегам.

«Калифорния» снялась в тот же момент, и оба судна шли по узкой бухте борт о борт, но у самого выхода мы постепенно стали выдвигаться вперед и уже собирались прокричать трижды прощальное приветствие, как вдруг «Элерт» неожиданно стал, а «Калифорния» быстро ушла вперед. Дело в том, что поперек входа в бухту тянется бар, и из-за большой осадки наше судно, к тому же увалившееся под ветер, так как мы шли на юг, застряло там, где проскочила легкая «Калифорния».

Мы оставили все паруса, надеясь, что нас перетащит через бар, однако, потерпев в этом неудачу, взяли их на гитовы до наступления прилива. Бар стал для нас досадной помехой, и

капитан выглядел не на шутку раздосадованным. «Как раз на этом месте „Росу“ выбросило на берег, сэр», — совершенно некстати сказал наш рыжеголовый второй помощник. Проклятие «Росе» и ему самому было единственным ответом, и он с обиженным видом «отвалил» к подветренному борту. Впрочем, уже через несколько минут, благодаря ветру и нарастающему приливу, мы оказались снова на плаву и двинулись к своему старому якорному месту, хотя судно при столь легком бризе почти не управлялось. Наконец мы снова стали напротив нашего сарая, обитатели которого были немало удивлены нашим возвращением. Казалось, мы были привязаны к Калифорнии, и среди матросов уже поговаривали, что нам так и не суждено уйти с этого проклятого побережья.

Приблизительно через полчаса, когда наступила полная вода, снова раздалась команда: «На шпиль!» — и якорь был опять взят на кат. Но теперь уже никто не пел и ни словом не обмолвился о «последнем разе». Видя наши странные маневры, «Калифорния» возвратилась и легла в дрейф у мыса, ожидая нас. На этот раз мы благополучно миновали бар и вскоре подошли к «Калифорнии», которая, по всей очевидности, хотела состязаться с нами в скорости хода. Наш капитан принял вызов, хотя мы сидели в воде по вант-путенсы и даже глубже, словно баржа с песком, так что гонка была для нас таким же подходящим занятием, как бег для человека в кандалах. За мысом ветер посвежел, так что стали гнуться наши бом-брам-стеньги, однако мы не убирали верхние паруса до тех пор, пока не заметили, как на «Калифорнии» трое парней побежали по вантам; тогда и у нас убрали бом-брамсели, но матросам было приказано оставаться на марсах, чтобы по первой команде снова поставить эти паруса. Я работал на фор-бом-брамселе, и с моего высокого поста мне казалось, что оба судна состоят только из рангоута и парусов, и вся их громада лишь чудом удерживается на узкой палубе. «Калифорния» шла наветреннее и имела все преимущества, однако, пока ветер сохранял свою силу, мы не уступали. Когда же стало стихать, наш соперник начал мало-помалу выходить вперед, и капитан приказал поставить бом-брамсели. В мгновение сезни были отданы и паруса поставлены. Это позволило нам наверстать упущенное, но ветер продолжал падать, а на «Калифорнии» тоже поставили бом-брамсели, и вскоре уже не оставалось никакого сомнения, что она уходит от нас. Наш капитан окликнул ее, прокричав, что ложится на свой курс, после чего добавил: «Сейчас „Элерт“ совсем не тот. Будь у меня ваша осадка, вы бы только меня и видели». Ему добродушно ответили что-то, обрасопились круто к ветру, и «Калифорния» пошла на север вдоль побережья.

А мы тем временем легли на фордевинд и стали держать курс зюйд-зюйд-вест. Команда «Калифорнии» разошлась по наветренным вантам и, махая шляпами, трижды приветствовала нас громкими возгласами, на которые мы тоже ответили трижды. Им предстояло отбыть на этом ненавистном берегу еще года полтора, а то и все два года, а мы уже шли домой, который приближался к нам с каждым часом, с каждой милей.

Как только мы расстались с «Калифорнией», команду послали наверх ставить лисели: выстреливались лисель-спирты, проводились галсы и фалы и на мачты громоздили один парус за другим, пока не была поставлена вся имевшаяся у нас парусина до последнего квадратного дюйма, дабы не упустить ни малейшего дуновения ветра. Только теперь мы вполне почувствовали, насколько судно обременено своим грузом, — на полном бакштаге под всеми мыслимыми парусами из него нельзя было выжать больше шести узлов. Для проверки несколько раз бросали лаг, но «Элерт» шел на пределе своих возможностей. Нас обуревало нетерпение, однако старые матросы говорили: «Погодите, через недельку-другую оно разбежится и подойдет к Горну, как скаковая лошадь».

Когда у нас были поставлены все паруса и уложены снасти, «Калифорния» превратилась уже в едва заметное пятнышко на горизонте, а берег, оставшийся к северо-востоку, казался низким облаком. К заходу солнца и то и другое исчезли из виду, и теперь нас окружала лишь смыкавшаяся с небом вода.

Глава XXX
Домой

В восемь часов всю команду собрали на юте и установили вахты до конца плавания. Произвели некоторые перестановки, и я был рад, что остался в вахте левого борта. Команда наша уменьшилась. Один матрос и юнга ушли с «Пилигримом», другой стал вторым помощником на «Аякучо», а третий, Гарри Беннет, самый пожилой из нас, не выдержал тяжелой работы со шкурами (его разбил паралич), и он был оставлен при складе на попечение капитана Артура. Бедняге очень хотелось вернуться домой и его, конечно, следовало бы взять в любом случае. Однако живая собака лучше мертвого льва, а кому нужен больной матрос! Поэтому Гарри отправился на берег вместе с ненужным балластом. Утром он снова явился на борт со своим сундучком и пытался работать, но руки и ноги не слушались его, и старший помощник сказал ему несколько резких слов. Этот матрос был мужественным человеком, но, вероятно, вследствие ослабления рассудка он впал в излишнюю чувствительность и ответил:

— Мистер Браун, пока я был здоров, то всегда исполнял свой долг. Если теперь я не нужен вам, скажите, и я останусь на берегу.

— Помогите ему с сундучком, — ответил на это мистер Браун, и бедняга отправился в шлюпке обратно.

В глазах у него стояли слезы. Хотя он любил судно и команду и очень стремился домой, но не желал, чтобы его считали на судне «отиралой». Это был единственный на моей памяти случай, когда наш старший помощник жестоко обошелся с матросом.

Из-за всех этих потерь перед плаванием вокруг Горна да еще в самый разгар зимы у нас не хватало людей. Кроме Стимсона и меня, в носовом кубрике остались только пятеро;, вместе с четырьмя парнями в кормовом кубрике, парусным мастером, плотником, коком и стюардом это составляло всю нашу команду. В довершение всего не прошло и четырех дней после выхода в море, как нашего парусного мастера, самого старшего и опытного из матросов, разбил паралич, так что он вышел из строя до конца рейса. Непрестанное перетаскивание шкур при любой погоде по пояс, а то и выше, в воде и многие другие невзгоды теперь валили с ног даже людей более молодых. Кроме этих двоих из нашей команды, не выдержали тяжелой работы второй помощник на «Калифорнии» и плотник с «Пилигрима». Последний скончался позднее в Санта-Барбаре. А Генри Меллуса, молодого парня,

отправившегося вместе со мной из Бостона на «Пилигриме», пришлось отстранить от палубных работ и сделать писарем из-за ревматизма, поразившего его вскоре после прихода на побережье. Потеряв парусного мастера, наша вахта сократилась до пяти человек, из которых двое были юнгами и могли стоять на руле только в хорошую погоду, так что нам приходилось проводить за штурвалом по четыре часа в сутки. У другой вахты осталось четверо рулевых. Но на все это было одно утешение: «Ничего, мы все-таки идем домой!» Действительно, мы были бы вполне довольны судьбой, если бы не предстоящее плавание вокруг Горна в глухую зимнюю пору. Ведь мы должны были подойти к мысу через два месяца, как раз в середине июля, самого худого для тех мест времени года, когда солнце встает в девять и заходит в три, при постоянных снегопадах, ливнях и штормовых ветрах.

Все это нам предстояло испытать на судне с уменьшенной вдвое командой, да еще столь тяжело нагруженном, что каждая высокая волна заливала его от полубака до юта. По пути в Калифорнию «Элерт» прошел Горн в феврале, то есть в середине лета; «Пилигрим» — в конце октября, и то нам изрядно досталось. Среди нас был только один матрос, который огибал мыс Горн зимой, да к тому же на китобое, который сидел в воде не так глубоко как «Элерт». Он рассказывал, что двадцать дней подряд стояла убийственная погода и дважды с палубы все начисто смывало. А совсем недавно фрегат «Брэндивайн» огибал Горн шестьдесят дней и потерял при этом несколько шлюпок. Подобные рассказы обескураживали нас, но все равно мыс надо было еще пройти, и все мы надеялись на лучшее.

Находясь на подвахте, мы перебирали и чинили свою одежду, приготавливаясь к дурной погоде. Каждый сшил себе костюм из проолифенной парусины, который был еще вдобавок тщательно просмолен, а сапоги пропитал густой смесью из растопленного сала и дегтя и вывесил на просушку. Так мы использовали хорошую погоду, готовясь к тому времени, когда Тихий океан покажет нам свое другое лицо. По утрам наш кубрик был похож на мастерскую, где работает «Джек — мастер на все руки», как с полным основанием можно назвать матроса. Здесь чинили и штопали толстые чулки и подштанники; со дна сундучков извлекали и латали рукавицы; шили шарфы и наушники; старые фланелевые рубахи разрезали на куски, чтобы утеплить куртки; зюйдвестки также подбивали фланелью и покрывали сверху краской. Любой кусок ткани шел в дело. И несмотря на то, что за два года гардероб каждого заметно оскудел, все-таки благодаря экономии и изобретательности, которым учит матроса нужда, мы

смогли недурно экипироваться. Пригодилось и знание сапожного ремесла. Я, например, вполне прилично починил несколько старых башмаков, а из голенища изношенного сапога сумел при помощи дратвы и шила сшить прекрасный чехол для своего ножа.

И только одно не поддавалось исправлению никакими средствами, я говорю о течи в носовом кубрике, из-за чего он становился малопригодным для жилья в дурную погоду, ибо половина коек тогда промокала насквозь. Дело в том, что во время долгого плавания корпус даже самого прочного и водонепроницаемого судна от постоянной нагрузки в носовой части начинает давать течь у основания бушприта и битенгов, и вода непременно попадает в кубрик. Но вдобавок к этому у нас была еще совершенно необъяснимая течь справа от форштевня около кат-балки, которая изгнала нас из носовых коек этого борта, а когда судно шло правым галсом, то нельзя было спать вообще ни на одной из коек. Получилось так, что на судне, которое во всех других отношениях считалось абсолютно «сухим» и доставило свой груз в Бостон в идеальном состоянии, несмотря на все наши усилия, в носовом кубрике оставалось только три сухих койки на семерых. Впрочем, обе вахты никогда не находятся в кубрике одновременно, и мы смогли кое-как устроиться, тем более что из нашей вахты в носовой части судна жили только трое, и даже при плохой погоде у каждого из нас всегда была сухая постель [58].

Но все трудности были еще впереди. А пока мы наслаждались прекрасной погодой, принесенной северо-восточным пассатом, в который вошли на второй день после выхода из Сан-Диего.

Воскресенье, 15 мая. За неделю мы достигли 14°56' северной широты и 116°14' западной долготы, пройдя, по счислению, более тысячи трехсот миль. От самого Сан-Диего нам благоприятствовал попутный ветер, и мы несли все лисели и бом-брамсели. Капитан в первый же день показал, что не склонен шутить и заставит судно нести всю парусину, какую только можно, дабы возместить потерю хода от перегрузки. Таким образом мы часто покрывали за сутки по три градуса широты и еще проделывали некоторый путь по долготе. Дни проходили в обычной матросской работе. Надо было обтягивать стоячий такелаж, ослабевший за длительную стоянку в порту, поставить дополнительные стень-фордуны, лисель-спирты на грота-рее, подготовить бом-брамсели и лисели для постановки при слабых ветрах, заменить часть бегучего такелажа новым, а также готовить новые паруса для Горна. Как я уже говорил, по утрам в свободное время мы занимались своими делами, а ночные вахты проводили, как всегда, или на руле, или на баке

впередсмотрящим, а то и просто подремывали, устроившись на какой-нибудь бухте каната под защитой фальшборта. Я предпочитал прогуливаться в одиночестве по палубе. Каждая попутная волна приближала нас к дому, а полуденные обсервации свидетельствовали о таком продвижении вперед, что при заданном ходе мы могли бы надеяться войти в бостонскую гавань раньше, чем через пять месяцев. Хорошая погода, крепкий попутный ветер и, главное, курс на родной порт — вот самое приятное, что только может быть в морской жизни. В такое время у всех превосходное настроение, все идет как по маслу, и всякую работу исполняют охотно. Во время «собачьей вахты» команда собирается у подветренного борта на баке или же рассаживается у шпиля и заводит морские песни или же столь любимые матросами баллады о пиратах и разбойниках. Кроме того, все рассуждают о доме и о том, что каждый будет делать по возвращении. Вечерами, когда убраны котлы и кружки и мы дымим сигарами и трубками, собравшись у шпиля, прежде всего задается один и тот же вопрос:

— Ну, Дана, какая сегодня широта?

— Четырнадцать нордовая, а посудина делает по семи узлов.

— Того и гляди, дней через пять будем у экватора.

— Вряд ли, пассат не продержится дольше суток, — вставляет какой-нибудь морской волк, указывая ребром ладони в наветренную сторону. — Я-то вижу, какие сегодня облака.

Тут начинаются всевозможные рассуждения о постоянстве ветров, о погоде у экватора, о юго-восточных пассатах, а также подсчитывается, когда же мы будем у Горна. Самые азартные даже берутся определить, сколько дней осталось до подхода к бостонскому маяку, и заключают пари.

— Ты сначала пройди Горн, — замечает кто-то из старых ворчунов.

— Вот именно, до Бостона, может, и доберешься, но сначала узнаешь, чем пахнет в аду, — поддерживает его другой.

Как всегда, на бак просачиваются слухи о том, что говорится на юте. Стюард подслушал, как капитан упомянул Магелланов пролив, а рулевому послышалось, будто капитан сказал пассажиру, что в случае очень плохой погоды придется поворачивать к Новой Голландии и идти домой вокруг мыса Доброй Надежды.

Этот пассажир — первый и единственный у нас на борту за все время плавания, если не считать тех, кого мы возили на побережье между портами, — как ни странно, оказался знакомым мне еще по лучшим временам. Я меньше всего ожидал подобной встречи на Калифорнийском побережье. Речь идет о

кембриджском профессоре Наттэле. Когда я уходил в плавание, он преспокойно оставался на своей кафедре ботаники и орнитологии Гарвардского университета, и вдруг я увидел его в Сан-Диего, на берегу моря; он разгуливал в матросской куртке и широкополой соломенной шляпе, босиком, с закатанными до колен штанами. Он собирал камни и раковины. Оказалось, что профессор пересек континент по сухопутью, а потом на небольшом судне добрался до Монтерея, где узнал, что в одном из портов подветренного побережья стоит судно, отправляющееся в Бостон. Погрузившись сначала на «Пилигрим», он не торопясь посетил все, какие было возможно, гавани и исследовал тамошние деревья, растения, почвы и прочее, а уж потом попал в Сан-Диего на наш «Элерт». Второй помощник с «Пилигрима» рассказал мне, что они везли какого-то пожилого седовласого джентльмена, знавшего меня еще по колледжу, но не смог припомнить его имени. Этот «старикашка» проводил все свое время на берегу, собирая цветы, раковины и прочий «хлам», для которого у него были дюжины всяких ящичков и коробочек. Я перебрал поименно всех, кто только мог, как мне казалось, объявиться здесь, в Калифорнии, но так и не догадался. Однако на следующий день профессор сам подошел к нашей шлюпке; он был в том же одеянии, которое я уже описал, его карманы были набиты образцами, а в руках держал свои башмаки. Я сразу же узнал его, хотя вряд ли что-либо могло удивить меня более, чем эта встреча. Поскольку оказалось, что мы покинули Бостон почти одновременно, нам нечего было рассказать друг другу, а вследствие различия нашего положения на судне, я за все время обратного плавания почти не встречался с ним. Иногда в тихую ночь, когда я стоял за штурвалом, а помощник был на баке, он подходил ко мне, и мы все-таки разговаривали, нарушая при этом правило, которое запрещает общение между пассажирами и командой. Я часто забавлялся, когда матросы, которые гадали, кто таков этот «старикашка», высказывали всяческие предположения. На «Пилигриме» мистера Наттэла окрестили «старым чудаком» за его страсть ко всяким диковинам и даже поговаривали, будто он свихнулся, а родственники, мол, предоставили ему возможность развлекаться как вздумается. Зачем бы иначе богатый человек (а матросы считают богатым всякого, кто не зарабатывает себе на жизнь физическим трудом и носит галстук) оставил христианскую страну и отправился в такое место, как Калифорния, собирать камни и раковины. Этот человек, конечно, был выше их понимания. Впрочем, один из матросов, лучше других разбиравшийся в береговой жизни, объяснил все яснее ясного: «Да вы же ничего не смыслите в таких

ловкачах! Я-то повидал этих из университета. Там собирают всякие чудные штуки и развлекаются ими, а поэтому есть такие люди, которые нарочно выискивают их. Этот тип знает, что делает. Привезет свое барахло в университет, и, если оно окажется лучше того, что у них уже есть, его сделают начальником. Ну а потом кто-нибудь другой раскопает еще что-нибудь почище, и ему придется тогда ехать опять или же сматываться вместе со своим сундучком. У них всегда так делается. Этот старый кролик знает, откуда ветер дует. Надо же, забраться в такие места, что никому и в голову не приходило». Подобное объяснение вполне приемлемо для Джека-матроса, а поскольку оно поднимало репутацию мистера Наттэла и было близко к истине с точки зрения простых людей, я не стал возражать.

Кроме нашего пассажира и команды, на борту судна находилась еще кое-какая живность, впрочем, ее количество быстро сокращалось. Через каждые четыре дня мы забивали бычка, и поэтому мяса нам не хватило даже до экватора. Правда, в каюте ели баранину, а то и курятину, но такие деликатесы никогда не попадают в матросский котел [59]. Свиней же благодаря тому, что они — хорошие мореходы, оставили «на потом». С нами была одна престарелая свинья, родоначальница многочисленного потомства, которая дважды ходила вокруг мыса Доброй Надежды и один раз огибала Горн. У нас она едва не подохла. Однажды темной ночью во время длительного снегопада с градом мы услышали пронзительные вопли и стоны животного, а когда подошли к нему, то увидели, что свинья вот-вот околеет от холода. Пришлось взять соломы и старый парус и закутать нашу свинью в углу хлева, где она и оставалась до тех пор, пока снова не наступила теплая погода.

Среда, 18 мая. 9°54' северной широты, 113°17' западной долготы. Северо-восточные пассаты иссякли, и мы вошли в экваториальную зону с переменными ветрами, иногда приносящими дождь. За все время плавания в этих широтах ночные вахты доставили нам изрядное беспокойство, ибо вследствие неустойчивости и слабости ветра нам то и дело приходилось брасопить реи и работать с парусами, дабы не упустить ни малейшего его дуновения. Едва потянет слева по корме, сразу же раздается: «Фока-брасы левого борта!» Когда становится тихо, словно на деревенском пруду, рулевой стоит с поднятой ладонью, нащупывая ветер. «Увалить немного!» «На фоке обстенило, сэр!» — кричит вдруг впередсмотрящий. Снова отдаются брасы; лисели убираются с такой поспешностью, что потом не хватает и получаса, чтобы привести их в порядок; реи

брасопятся до предела, и судно ложится на правый галс круто к ветру. Теперь надо расчищать лисели и укладывать снасти. А когда это сделано и вы присматриваете для себя местечко помягче, чтобы вздремнуть, раздается новая команда: «Пошел на корму, обрасопить реи прямо!» И опять ставим лисели правого борта. Так продолжается до восьми склянок, когда вызывают вахту, ставят лаг, сменяются рулевые, и мы идем вниз.

Воскресенье, 22 мая. 5°14' северной широты, 116°45' западной долготы. Уже две недели как мы в море. Остающиеся до экватора пять градусов широты можно пройти при хорошем ветре за двое суток, но нас преследуют мертвые штили, которые моряки прозвали «ирландскими ураганами». Сегодня почти весь день шел дождь, и мы, воспользовавшись воскресеньем, заткнули шпигаты, чтобы палуба наполнилась дождевой водой, вынесли на нее все наше белье и устроили великую стирку. Потом все разделись до подштанников и, вооружившись мылом и кусками старой парусины вместо мочалок, принялись намыливать и скрести друг друга, чтобы отскоблить, как мы говорили, калифорнийскую сажу (от нашего обычного мытья в соленой воде было мало толку). Капитан весь день не показывался на палубе, и мы веселились, как на древних сатурналиях. Сам старший помощник схватился с двумя тершими его парнями, и они начали окатывать друг друга водой. Потом шпигаты открыли и спустили мыльную пену за борт, палуба тут же наполнилась чистой водой, в которой мы стали ополаскиваться. К общему удивлению, мыло и пресная вода свели с кожи у многих то, что считалось до сих пор загаром. На следующий день ярко светило солнце, и судно покрылось от носа до кормы всевозможной одеждой, вывешенной для просушивания.

По мере приближения к экватору ветер стал заходить к осту, погода прояснилась, а через двадцать дней после выхода из Сан-Диего, то есть в

субботу, 28 мая, около трех часов пополудни мы пересекли экватор. Еще через сутки вошли в необычный для этих широт сильный юго-восточный пассат. Этот ветер обычно «работает» от оста или от зюйд-оста, и то, что он подул от ост-зюйд-оста, было большой удачей для нас, так как нам следовало идти курсом зюйд-тень-вест. Реи были обрасоплены так, что работали все паруса от бом-кливера до контр-бизани, включая брам-лисели на фоке и гроте. Этот ветер держался в течение суток, не меняя направление ни на румб, и дул как раз с такой силой, чтобы можно было нести бом-брамсели. За все это время мы не притронулись почти ни к одному брасу. Продвижение наше было столь успешно, что через семь дней после того, как мы получили ветер, то есть в

воскресенье, 5 июня, судно достигло 19°29' южной широты и 118°01' западной долготы, пройдя за неделю тысячу двести миль. Наше доброе судно опять становилось самим собой, и его ход увеличился после отплытия из Сан-Диего больше чем на треть. Команда перестала жаловаться, а помощники с видимым удовлетворением через каждые два часа ставили лаг. Действительно, шли мы великолепно — устойчивый ветер, в небе пассатные облака и несравненная, умеренная тихоокеанская погода — когда не жарко, но и не холодно. Каждый день ярко светило солнце, а по ночам — луна и звезды; на южной части небосклона появились новые созвездия, а привычные для нас на севере исчезали. Пропали Полярная звезда и Большая Медведица, появился Южный крест, и каждую ночь мы ждали, когда откроются Магеллановы облака. «Теперь увидим Полярную, — сказал кто-то, — уже по ту сторону Горна». Без сомнения, она будет для нас желанным обитателем небосклона, ибо, как говорят матросы при возвращении из-за Горна или мыса Доброй Надежды, увидеть Полярную звезду в небе — значит скоро ступить на родную землю.

Несший нас на своих крыльях пассат был таким же ровным, как и во время плавания «Пилигрима» в Калифорнию, когда он держался, не ослабевая, от Хуан-Фернандеса до самого экватора. Теперь же он в течение трех недель неизменно дул нам справа в корму, так что мы даже не прикасались к брасам. Однако мы шли почти на тысячу двести миль западнее «Пилигрима», поскольку капитан, рассчитывая на сильные юго-западные ветры, преобладающие зимой в южных широтах, решил полностью использовать пассат и взял так сильно к весту, что мы прошли в двухстах милях от острова Дюси.

Эта погода напомнила мне об одном незначительном происшествии, случившемся на «Пилигриме» в тех же широтах. Мы ходко шли на фордевинд, неся верхние и нижние лисели по обоим бортам. Дело было темной ночью, сразу же после полуночи. Кругом стояла истинно гробовая тишина, нарушавшаяся лишь всплесками воды. Маленький бриг резво бежал под всеми парусами. Подвахта была внизу, а наша вахта, кроме меня и рулевого, спала на палубе с подветра у баркаса. Второй помощник, который относился ко мне с симпатией, пришел на бак, чтобы поболтать со мной, а потом вернулся на ют, а я возобновил свое всегдашнее бдение у шпиля. Вдруг раздался громкий вопль, доносившийся, как мне показалось, из-под форштевня. Безмолвие ночи и темнота, окутывавшая пустынный океан, только усиливали тот ужасный эффект, который произвел этот звук, сообщив ему нечто сверхъестественное. Я замер на

месте с бьющимся сердцем. Вахта проснулась, матросы вскочили на ноги, с недоумением глядя друг на друга. «Боже, что это?» — воскликнул второй помощник, не спеша направляясь на бак. Первая моя мысль была о шлюпке с потерпевшими крушение, на которую мы могли наскочить в темноте. Раздался новый вопль, но уже не такой громкий. Он словно встряхнул нас, и все мы, собравшиеся на баке, стали смотреть за борт, но ничего не увидели и не услышали больше. Что тут было делать? Ложиться в дрейф и будить капитана? В это время один из матросов заметил, что в кубрике горит свет и, заглянув в люк, увидел, что все матросы подвахты выскочили из коек и, сгрудившись вокруг спящего товарища, трясли его изо всех сил, чтобы вывести несчастного из кошмарного сна. Первый вопль перепугал их не меньше нашего, и поначалу они тоже не знали, что делать — бежать ли наверх или оставаться на месте, пока второй крик, раздавшийся с койки их товарища, не выявил причину тревоги. Парню хорошенько влетело за причиненное беспокойство. Когда все выяснилось, мы от души посмеялись.

«Элерт» приближался к Южному тропику и благодаря отменному ветру с каждым днем сокращал расстояние до мыса Горн, перед встречей с которым не было лишним принять даже малейшую предосторожность. Мы осмотрели и подтянули весь такелаж, заменив часть снастей новыми, завели новые прочные ватер-штаги вместо износившихся цепей; выбрали втугую мартин-бакштаги и мартин-штаги: провели совершенно новые фока- и грота-брасы; поставили новые штуртросы из сыромятных ремней, сплетенных в виде троса, а также проделали множество других приготовлений, заботясь о том, чтобы снасти успели вытянуться и обрести гибкость до того, как мы вступим в область холодов.

Воскресенье, 12 июня. 26°04' южной широты, 116°31' западной долготы. Потеряли пассат и идем с переменными, преимущественно западными ветрами. Держим на зюйд, и наш курс почти совпадает с меридианом. Еще через неделю, в

воскресенье, 19 июня, мы достигли 34°15' южной широты и 116°38' западной долготы.

Глава XXXI
Мрачные предвестия

Уже стала ощущаться решительная перемена во всем окружающем. Дни становились все короче, солнце, совершая свой путь над горизонтом, с каждым днем опускалось все ниже и ниже, и почти не грело, а по ночам из-за холода мы не могли больше спать на палубе. В ясные безлунные ночи в небе ярко проступали Магеллановы облака; небо приняло мрачный и враждебный оттенок; время от времени с юга накатывала ужасающе высокая и длинная волна, словно предупреждая о том, что нас ожидает. Впрочем, пока нам сопутствовал крепкий ветер, мы старались нести как можно больше парусов. К середине недели ветер зашел южнее, заставив нас идти круче; судно встретило сильную волну почти прямо по носу и вело себя так, что не могло не вызвать в нас чувство тревоги. Из-за чрезмерной загрузки и глубокой осадки ему недоставало запаса плавучести, что выносило бы его на волну, и оно сильно зарывалось носом, отчего вода гуляла по всей палубе. Каждый раз, когда набегала очень крупная волна, судно ударялось о нее с таким звуком, будто паровой молот забивает сваи. Приняв лавину воды на бак, судно поднималось, оседая на корму, сгоняя воду к шпигатам, которая по пути смывала с кофель-нагелей уложенные на них снасти и уносила с собой все, что было не закреплено. Так продолжалось в течение всей нашей утренней подвахты, насколько мы могли судить по плеску воды прямо над головами и тяжелым ударам волн о форштевень. И нас, лежавших в койках, отделяла от этого беснования стихии только жалкая дощатая обшивка корпуса. В «восемь склянок» мы заступили на вахту. Один из нас стал к штурвалу, другой отправился на камбуз, чтобы раздобыть что-нибудь на обед. Я стоял на баке, и везде, куда только достигал глаз, катились высокие волны с пенящимися гребнями, темно-синие, почти черные, отражая яркие лучи солнца. Судно тяжело переваливалось через эти грозные валы, но потом появилась невообразимо высокая водяная гора, которая, казалось, накроет нас. Я был уже достаточно опытным моряком и «почувствовал ногами», что судно не сможет взойти на нее. Вскочив на недгедсы, я ухватился за фока-штаг и подтянулся вверх. Мои ноги оказались на весу как раз в то мгновение, когда форштевень врезался в самую середину волны и она накрыла судно с носа до кормы. Как только судно вынырнуло, я оглянулся в сторону юта и увидел, что все впереди грот-мачты начисто смыто, кроме

баркаса, который был принайтовлен накрепко к рым-болтам. Камбуз, свинарник, курятник, а также загон для овец, который был устроен у носового люка, исчезли в одно мгновение, и палуба стала гладкой, как свежевыбритый подбородок. У штормовых шпигатов застрял перевернутый камбуз, да еще плавало несколько досок, среди которых барахтались с полдюжины насмерть перепуганных овец. Как только волна прошла, снизу выскочила подвахта посмотреть, что сталось с судном, а из-под камбуза тем временем с трудом выбрались кок и старина Билл. К счастью, камбуз был задержан фальшбортом, иначе им переломало бы кости. Мы собрали овец и посадили в баркас, поставили камбуз на место и, как могли, навели порядок на палубе. Не будь у нас столь высокого фальшборта, все смыло бы за борт, в том числе и кока со стариной Биллом, которого свалило с ног, когда он выбирался из дверей камбуза, держа в руках бачок с мясом для всей команды. Как и подобает настоящему моряку, он держался за бачок до последнего, хотя там уже ничего не было. Когда схлынула вода, мы увидели, что сей сосуд остался на палубе подобно подводному камню, осыхающему во время отлива, — никакая сила не могла сдвинуть его с места. Нас не очень огорчала потеря мяса, и мы утешали себя тем, что в кающе лишились гораздо большего — вид плававших у шпигатов остатков пирога с курицей и оладьев не мог не развеселить матросов. «Это еще что», — сказал кто-то, и так чувствовал каждый.

Мы еще не приблизились и на тысячу миль к широте Горна, а палуба была уже вылизана волнами, хотя они не достигали и половины высоты тех водяных гор, с которыми нам предстояло встретиться у самого мыса. Одни винили капитана, что он перегрузил судно, зная, что нас ждет; другие говорили — зимой у Горна всегда ревут зюйд-вестовые ветры, и, идя на фордевинд, можно не опасаться этих ужасных волн. Когда мы забрались в кубрик, старина Билл, слывший у нас за оракула, поскольку бывал на море во многих переделках, изрек, что, если так пойдет и дальше, нам остается только написать завещания и надеть чистые рубахи. «Ах ты, старый филин! По каждому пустяку пускаешь фальшфейеры! Перетрухнул от купания у шпигата и не понимаешь шуток. Небось все время дрожишь, как бы тебя не сцапал Дэви Джонс?» [60] «Утихомирьтесь, вы! — вмешался кто-то. — Может быть после полудня нас оставят на подвахте». Но и эти надежды не оправдались — когда пробило две склянки, всю команду вызвали наверх крепить все, что было на палубе. Капитан собирался было спустить брам-стеньги, однако к вечеру волнение поутихло, ветер отошел к траверзу, и мы не только не

тронули их, но даже поставили лисели.

На следующий день было приказано отвязывать старые паруса и заменить их новыми. Судно не похоже на сухопутного жителя — оно надевает свой лучший наряд в дурную погоду. Мы вытащили три новых марселя и еще не бывшие в употреблении фок, грот, кливер и фор-стеньги-стаксель с полным комплектом рев антов, нок-бензелей и риф-сезней.

Ветер оставался западным, а погода и море были немного спокойнее, чем в тот день, когда мы приняли на себя большую волну, так что мы покрывали большее расстояние, неся полный комплект парусов, уклоняясь несколько к осту от чистого зюйда, ибо капитан, рассчитывая воспользоваться западными ветрами, зашел так далеко на вест, что хотя мы и были всего в милях пятистах от Горна по широте, но по долготе нас отделяло от него тысяча семьсот миль. Остаток недели мы продолжали идти с попутным ветром и по мере продвижения постепенно склонялись на ост.

Воскресенье, 26 июня. Воспользовавшись ясным днем, капитан взял высоту луны и меридиональную высоту солнца, что дало 47°50' южной широты и 113°49' западной долготы. Согласно моим вычислениям, мыс Горн был на ост-зюйд-осте и до него оставалось тысяча восемьсот миль.

Понедельник, 27 июня. В первую половину дня ветер сохранялся попутным, а так как мы шли на фордевинд, не чувствовалось особого холода, и на палубе можно было работать в обычной одежде и в коротких куртках. Впервые после выхода из Сан-Диего нам установили дневную подвахту, поэтому мы, расспросив третьего помощника о нашей широте и высказав все обычные догадки и предположения относительно того, сколько остается еще идти до Горна, завалились в койки, намереваясь вздремнуть. Мы спали «самым полным ходом», когда три удара по крышке люка и команда «Все наверх!» вытряхнули нас из коек. Что могло случиться? Дуло вроде бы не очень сильно, а через сходной люк проглядывало ясное небо. И тем не менее вахта убирала паруса. Сначала подумали, что показалось какое-нибудь судно, и мы ложимся в дрейф, чтобы потолковать с ним; мы даже успели порадоваться этому, так как со дня выхода в море ни разу не видели ни паруса, ни земли. Но тут же загремел голос старшего помощника (он превратился в «бессменного вахтенного», то есть появлялся на палубе в тот же миг, когда его вызывали), кричавшего что-то матросам, скатывавшим лисели. Одновременно помощник нетерпеливо спрашивал кого-то, где же наша вахта. Мы не стали дожидаться повторного приглашения и взлетели по трапу на палубу. Справа по курсу, закрывая море и

небо, висела стена тумана, которая двигалась прямо на нас. Я уже повидал подобное во время плавания на «Пилигриме» и знал, что это такое. На нас была только легкая летняя одежда, но не было времени на переодевание, и мы в ней так и остались.

Парни из другой вахты стояли на марсах и убирали лисели. Нам не оставалось ничего иного, как «спускать и брать на гитовы» пока все лисели, а также бом-брамсели, бом-кливер и крюйс-брамсель не были свернуты. Судно несколько приспустилось, чтобы встретить шквал, продолжая нести фор- и грот-брамсели — нашего «старика» было не так-то просто испугать среди бела дня, и он намеревался держать парусину до последней минуты. Но первый же порыв ветра доказал ему, что со шквалом шутки плохи. Сильный ветер с дождем и снегом не позволял дышать; даже самым стойким из нас пришлось повернуться к нему спиной. Судно лежало почти на борту. Мачты и такелаж трещали и скрипели; стеньги изгибались дугой, словно прутья.

— Фор- и грот-брамсели на гитовы! — закричал капитан, и все бросились исполнять его команду.

Палуба накренилась чуть ли не на сорок пять градусов, судно, как бешеный конь, перескакивало через волны; вся его носовая часть была окутана белым облаком брызг и пеной. Мы отдали фалы, спустили брам-реи, и через несколько минут паруса были взяты на гордени и гитовы.

— Убирать, сэр? — спросил старший помощник.

— Отдать все марса-фалы! — прокричал вместо ответа капитан, до предела напрягая голос.

Марса-реи пошли вниз, были разобраны и обтянуты рифталями, и мы, вскарабкавшись на наветренный борт, вскочили на дрожащие ванты. Яростный ветер, гнавший почти горизонтально град и снежную крупу, буквально вдавливал нас в снасти, и лишь с большим трудом удавалось поворачиваться к нему лицом. Один за другим мы разошлись по реям. И здесь пришлось тяжело. Наши новые паруса еще не были выхожены, и новые нок-бензели и рифсезни обледенели и стали жесткими, как проволока. На нас были только легкие куртки и соломенные шляпы, так что мы сразу промокли до нитки, а с каждой минутой становилось все холоднее. Занемевшие от стужи руки едва слушались нас. Притянув парус к рею, мы долго не могли обнести наветренный нок-бензель, хотя и в этом не было нашей вины, так как на ноке стоял сам Джон-француз — матрос, лучше которого никто не работал на реях. Перегнувшись через рей, мы били кулаками по парусу, поскольку он уже обледенел. Наконец раздалась команда «Выбирать с подветра!», и мы наложили сезни и притянули рифбант к подветренному бензелю. «Крепи вторую!» — и, взяв первый

риф, мы собрались уже спуститься вниз, но тут старший помощник закричал: «Два рифа! Два!» — и нам пришлось тем же манером брать и второй. После этого мы спустились и, стоя по колено в воде, выбрали фалы, чтобы поставить марсель. Затем опять полезли наверх, теперь на грот-марса-рей и зарифили парус точно так же. Я уже говорил, что нас сильно убыло, и в довершение всех несчастий два дня назад плотник поранил себе ногу топором и поэтому не мог подниматься по вантам, и теперь в такую погоду мы не могли управляться одновременно больше, чем с одним марселем, и, конечно, каждому приходилось работать за двоих. С грот-марса-рея мы перешли на грота-рей и зарифили грот, но, едва спустившись на палубу, услышали новую команду: «Пошел наверх! Зарифить глухо крюйс-марсель!» Это касалось меня, и, будучи ближе всех к вантам, я оказался первым на рее у наветренного нок-бензеля. Сразу же за мной поднялся англичанин Бен и занялся подветренным нок-бензелем, а за нами вскарабкались остальные и начали колотить руками по парусу. Старший помощник очень кстати послал нам на подмогу кока и стюарда. Сейчас я только могу представить себе, сколько времени потребовалось, чтобы наложить другие бензели, ибо, стараясь изо всех сил, причем товарищи помогали мне подбирать нижнюю шкаторину, я никак не мог провести свой конец, пока не почувствовал, что начинают подбирать пузо паруса. Таким образом мы брали один риф за другим, пока, наконец, крюйс-марсель не был зарифлен наглухо. Затем мы спустились и выбрали фалы. Тем временем успели убрать кливер, поставить стаксель, и судно благодаря уменьшенной парусности выпрямилось и стало управляемым. Однако два брамселя еще болтались на бык-горденях, хлопая и дергаясь с такой силой, что, казалось, вот-вот вырвут мачты. Мы взглянули наверх и поняли, что наша работа еще не кончена. И действительно, едва старший помощник увидел нас на палубе, как тут же последовала команда: «Четверо по вантам, крепить брамсели!» Двое полезли на фок и двое на грот. Ванты, весь стоячий такелаж и наветренная сторона мачт и реев были покрыты коркой льда. Когда мы забрались на рей, мои руки так закоченели, что я не смог бы развязать узла даже на сезне ради спасения собственной жизни. Мы оба несколько секунд висели, перегнувшись через рей и колотя по парусу, пока не восстановилось кровообращение в пальцах. Но уже в следующее мгновение наши руки пылали нестерпимым огнем. Моим напарником был молодой парень, Джордж Сомерби, который пришел на судно прямо из бостонской школы, тогда он был слабым, тщедушным пареньком ростом «не выше стопорного кнопа» и «не крепче горелой бумаги». Теперь же он стал

«длинным, как стеньга, и мог свалить и съесть быка». Мы дружно молотили кулаками по парусу и после шести — восьми минут изнурительной возни с заледеневшим как железо брамселем все-таки подобрали его и туго скрутили, стараясь сделать это как можно надежнее, так как достаточно хорошо знали нашего старшего помощника, который наверняка вызвал бы нас с подвахты в любое время, если парус вырвало бы еще раз.

Я все время поджидал удобного случая сбегать в кубрик, чтобы надеть теплую куртку и зюйдвестку; однако, когда мы спустились на палубу, оказалось, что восемь склянок уже пробило и другая вахта уже внизу, так что нам предстоит два часа «собаки», да еще множество работы. Ветер перешел в устойчивый шторм от зюйд-веста, но мы еще не спустились к югу, чтобы обогнуть Огненную Землю на безопасном расстоянии с попутным ветром. Палуба была покрыта снегом, и непрерывно мело снежную крупу. Видимо, мыс Горн намеревался приветить «Элерт» особо. И посреди всего этого и еще до наступления темноты нам предстояло свернуть и снять лисели, после чего снова идти наверх, чтобы убрать лисель-спирты на всех реях, а затем скойлать галсы, шкоты и фалы. Изрядная работа для четырех-пяти матросов, да еще во время шторма, когда ветер едва не стряхивает тебя с рея, а снасти настолько заледенели, что их почти невозможно согнуть. Я с полчаса висел на ноке фор-марса-рея, пытаясь свернуть и прихватить брам-лисель-галс и нижние фалы. Мы кончили уже затемно и немало обрадовались, когда пробило четыре склянки — сигнал для нас спуститься на два часа в кубрик, где каждый получил кружку горячего чая с хлебом и холодным мясом и, самое главное, смог переодеться в теплую, сухую одежду, подходящую для такой погоды, взамен нашей летней, которая насквозь промокла и заледенела.

Эта неожиданная перемена погоды, к которой мы оказались столь малоподготовленными, для меня была особенно неприятной оттого, что я уже несколько дней испытывал легкую зубную боль, а работа на холоде под проливным дождем вряд ли была лучшим лекарством. Вскоре боль усилилась и распространилась по всему лицу, так что еще до окончания вахты я пошел к старшему помощнику, заведовавшему «медицинским сундуком», чтобы получить хоть какое-нибудь лекарство. Однако ящик этот выглядел так, как ему полагалось выглядеть в конце долгого рейса, и в нем не нашлось ничего подходящего, кроме нескольких капель настойки опиума, которая хранилась на крайний случай. Посему оставалось лишь набраться терпения, насколько хватит сил.

Когда пробило восемь склянок и мы снова вышли на палубу,

снег уже прекратился и кое-где виднелись звезды, хотя облака были еще черными и по-прежнему штормило. Незадолго до полуночи я полез наверх и спустил крюйс-бом-брам-рей, проявив при этом немалую ловкость, чем заслужил похвалу старшего помощника, который выразился, что все сделано так, «как и полагается быть на порядочном судне». Следующие четыре часа на подвахте не принесли мне облегчения, и от зубной боли я не мог ни на минуту заснуть. В четыре часа пришлось снова заступать на вахту, хотя настроение у меня было подавленное, и я со страхом думал о предстоящей непосильной работе в течение всего дня. Непогоду и тяжкий матросский труд можно переносить, если только у вас есть достаточный запас бодрости и здоровья. Ничто в подобных обстоятельствах не действует хуже, чем физическая боль и недосыпание. Впрочем, работа не оставляла времени для размышлений. Вчерашний шторм, встреченные нами несколько дней назад огромные волны, необходимость спуститься на десять градусов южнее — все это довело до сознания капитана, что впереди нас ждут испытания, отнюдь не пустячные. Было приказано спустить брам-стеньги. Соответственно были убраны брам- и бом-брам-реи, а также и бом-утлегарь. Все это сняли, связали вместе и закрепили на палубе около баркаса. Снасти скружили в бухты и спустили вниз. И не было ни одного матроса, который не радовался бы, глядя, как опускается на палубу этот рангоут, — ведь пока эти реи на мачтах, при малейшем ослаблении ветра ставят брамсели, а когда налетает шквал со снегом, их надо спешно убирать, спуская реи и карабкаться вверх по обледенелым вантам в самые зубы шторма, дующего от Южного полюса. До чего необычно выглядело наше благородное судно без верхнего рангоута и той огромной массы парусов, которая всего лишь несколько дней назад покрывала его подобно облаку от клотиков и почти до воды, нависая далеко за бортами. Судно словно обнажилось по пояс, подобно борцу, приготовившемуся к схватке. Вид его вполне гармонировал с мрачным обликом всего окружающего — штормом, ветром и снегом на самом краю земли, где почти постоянно господствует ночь.

Пятница, 1 июля. Мы почти вышли на широту мыса Горн и, поскольку нам предстояло пройти еще более сорока градусов на восток, легли на фордевинд, воспользовавшись западным штормовым ветром и держа курс на ост-тень-зюйд. Можно было рассчитывать, что мы достигнем Горна через семь — десять дней. Я не спал уже двое суток и от непрестанного холода и сырости щека моя сильно раздулась, отчего лицо стало чуть ли не вдвое шире; я с трудом открывал рот и почти не мог есть. Посему

стюард попросил капитана выдать для меня хоть немного риса, но получил вполне недвусмысленный ответ: «И не подумаю, черт меня побери! Скажи ему, пусть жрет солонину и сухари, как все остальные». По правде говоря, ничего другого я и не ждал. Однако я не умер от голода, так как мистер Браун был не только хорошим моряком, но и порядочным человеком и всегда относился ко мне доброжелательно. Он сам принес на камбуз кастрюлю риса и велел коку приготовить для меня кашицу потихоньку от «старика». При хорошей погоде или во время стоянки в порту я не вставал бы с койки, пока не выздоровел. Но теперь, когда не утихали штормы, я понимал, что у нас не хватает рабочих рук, и потому стоял вахту и выполнял как мог все, что полагается делать матросу.

Суббота, 2 июля. Взошло солнце, но стояло оно слишком низко над горизонтом, для того чтобы хоть сколько-нибудь согреть нас и дать возможность оттаять нашим парусам и такелажу. Все-таки один вид светила доставил нам удовольствие. С запада дул устойчивый «риф-марсельный бриз». Холодный прозрачный воздух через несколько часов стал влажным и вызывал неприятный озноб в теле. Рулевой подслушал, как капитан сказал нашему пассажиру, что за утро термометр упал на несколько градусов и это можно объяснить только близостью льдов, хотя подобное явление редко наблюдается в этих широтах в такое время года. В двенадцать часов мы спустились вниз и только успели окончить обед, как в люк просунулась голова кока — он приглашал нас выйти на палубу полюбоваться прекрасным пейзажем.

— С какого борта, доктор? [61]

— Слева по курсу.

И действительно, в нескольких милях от нас на поверхности океана возвышалась какая-то огромная бесформенная масса ярко-синего цвета, покрытая снегом. Это был айсберг, да к тому же очень крупный, как утверждал один матрос, бывавший в Северном океане. Насколько достигал глаз, вода отливала глубокой синевой, и набегавшие высокие волны искрились на солнце. Посреди них и возвышалась эта гора, ущелья и долины которой были скрыты в глубокой тени, зато ярко блестели ее зубчатые утесы. На палубе собралась вся команда, матросы разглядывали айсберг, восхищались каждый по-своему его красотой. Никакое описание не может передать необычности и великолепия этого зрелища. Громадные размеры айсберга — он, вероятно, был не меньше двух-трех миль в окружности и несколько сотен футов высоты, — медлительное движение, при котором его основание то поднималось из воды, то вновь

погружалось (пики айсберга покачивались где-то среди облаков), разбивающиеся о его «склоны» волны, громоподобный треск, исходящий от этой махины, когда от нее откалывались огромные глыбы льда и обрушивались в воду — все это, вместе взятое, производило впечатление истинного величия, а близость айсберга рождала еще и легкое чувство страха. Я уже говорил, что этот гигант был цвета индиго, а его основание обросло, словно бахромой, замерзшими водяными брызгами. Ближе к вершине толща льда уменьшалась, становилась прозрачной, и там глубокая темная синева сменялась белизной снега. Айсберг неторопливо двигался на север, и мы постарались пройти его на безопасном расстоянии. Этот исполин был виден до конца дня, а, когда мы оказались у него с подветра, всякое движение воздуха почти прекратилось, и почти всю ночь судно пролежало в дрейфе рядом с ним. Луна, как назло, не появлялась, но было все-таки довольно светло, и мы могли ясно различать контуры айсберга, который величаво колыхался на фоне усыпанного звездами неба, то заслоняя, то вновь открывая их. Несколько раз за время нашей вахты слышался такой треск, словно айсберг раскалывается по всей длине. Отваливавшиеся при этом глыбы с оглушительным грохотом рушились в воду. К утру поднялся свежий ветер, мы забрали ход и оставили ледяную гору за кормой. А когда рассвело, она совершенно исчезла из виду. На другой день, то есть в

воскресенье, 3 июля, сохранялся крепкий ветер, воздух был влажным и холодным. В течение дня мы видели несколько айсбергов разной величины, но не подходили ни к одному из них столь близко, как накануне. Некоторые из них, насколько можно было судить, нимало не уступали вчерашнему по величине, а может быть и превосходили его. В полдень наша широта была 55°12' южная, а счислимая долгота — 89°05' западная. К вечеру ветер отошел южнее и несколько сдвинул судно с курса, перейдя вскоре в жестокий шторм. Однако это не очень обеспокоило нас, так как не было ни дождя, ни снега, и мы шли под глухо зарифленными парусами.

Понедельник, 4 июля. В Бостоне сегодня празднуют День независимости [62]. Какая пальба, какой звон колоколов, какое ликование во всех уголках нашего отечества! Дамы (которые не поехали в Нэхэнт подышать свежим воздухом и полюбоваться океаном) разгуливают с зонтиками по улицам, где прохаживаются щеголи в белых панталонах и шелковых чулках. Сколько съедается в этот день одного мороженого и какое количество льда привозят в город издалека, чтобы продать его и кусками, и вразвес! Самый крошечный из всех наблюдаемых ледяных

островов мог бы обогатить бедного Джека-матроса, окажись он с ним в Бостоне. Нам, увы, было не до веселья. Только успевали поворачиваться, чтобы не замерзнуть самим и не давать обледенеть судну. Однако все помнили о празднике, и каждый, кто в шутку, кто всерьез, загадывал какое-нибудь желание. Солнце светило ярко только в середине дня, да и то часто скрывалось за бешено мчавшимися по небу черными тучами. В полдень мы уже были на 54°27' ю. ш. и на 85°05' з. д., так что значительно продвинулись к осту, хотя и потеряли несколько по широте из-за противного ветра. В светлое время, то есть между девятью утра и тремя часами дня, можно было насчитать вокруг нас тридцать четыре ледяных острова самой разной величины; иные казались не более корпуса судна, а другие столь же огромны, как и первый увиденный нами. По мере продвижения судна эти острова становились меньше, зато многочисленнее, а на закате впередсмотрящий заметил с марса к юго-востоку от «Элерта» большие полосы плавучего льда, называемые «ледяными полями». Они намного опаснее, чем крупные ледяные острова, так как последние хорошо видны на большом расстоянии и можно вовремя отвернуть от них. Ледяные поля покрывают поверхность океана на сотни миль; их составляют большие и мелкие, плоские и ломаные льдины, среди которых то тут, то там попадаются целые острова величиной с добрый корпус судна, с которыми очень трудно разминуться. Находясь среди ледяных полей, приходится быть постоянно настороже, так как льдины могут в любую минуту пробить борт, и, случись это с нами, мы встретили бы свою смерть, ибо никакая шлюпка (даже если бы нам и удалось ее спустить на воду) не в состоянии долго продержаться при таком море, не говоря уже о том, что человек не сможет выжить на столь утлой посудине среди ледяного океана. В довершение всех бед, сразу после заката ветер перешел на чистый ост и превратился в противный шторм с градом, снежной крупой и плотным туманом, так что видимость упала до половины корпуса судна. Наша надежда на преобладающие штормы от юго-западной четверти была потеряна, и теперь, находясь в семистах милях от Горна, мы вынуждены были бороться со встречным штормом среди окружающих нас льдов и в таком густом тумане, что замечали льдины только тогда, когда они оказывались у нас почти под форштевнем. В четыре часа пополудни (уже совсем стемнело) среди жесточайшего шквала с градом и дождем команду вызвали наверх убирать паруса. На сей раз мы успели облачиться в полную «оснастку мыса Горн» — высокие сапоги, зюйдвестки, теплые штаны и куртки, а кое-кто натянул поверх всего этого и клеенчатые костюмы. Хотя на

палубе мы надели рукавицы, но при подъеме на мачты их приходилось снимать и работать голыми руками, так как мокрые рукавицы быстро обледеневают — и тогда ухватиться за что-нибудь невозможно, а упасть за борт — очень просто, от этого наши пальцы да и лица были иссечены градинами. На судне все обледенело — корпус, рангоут и такелаж. Ценой невероятных усилий нам удавалось койлать снасти, не говоря уж о том, чтобы вязать узлы. Парусина тоже заледенела. Мы по очереди, по одному зараз, закатали нижние паруса, крюйс-марсель и фор-стеньги-стаксель, после чего на фор- и грот-марселе взяли все рифы. Судно легло в дрейф под одним фоком, грот был взят на гитовы, но в любую минуту он мог быть поставлен, если бы пришлось срочно выходить на ветер, избегая встречи с каким-нибудь айсбергом. Ночь прошла в тягостном ожидании. Не ослабевая дул жестокий ветер с дождем, градом и снегом. К тому же туман облепил нас, как навоз, а вокруг был почти сплошной лед. Капитан всю ночь не сходил вниз и держал кока на камбузе, чтобы тот каждые два часа готовил ему кофе. Кое-что перепадало и помощникам, но команда не получила ничего. Капитан отсыпается весь день, а ночью выходит на ют, когда ему вздумается. В каюте он пьет бренди, а на палубе кофе. Зато Джек-матрос до умопомрачения работает и денно и нощно по шею в холодной воде, и ему нечем согреться. По контракту на судне не разрешается употреблять спиртное, и, конечно же, как и на прочих судах, все трезвенники сосредоточивались в кубрике. Ведь матрос от одной чарки может захмелеть, не то что капитан, которому, кроме полной свободы пить что угодно, предоставлено еще и право распоряжаться жизнями. Матроса никогда не убедишь во вреде рома, если тот дозволяется капитанам и помощникам. Напротив, такой запрет многие почитают за еще одно притеснение. И дело вовсе не в том, что матросы не могут жить без спиртного. Мне не приходилось видеть ни одного моряка, который даже после многомесячной разлуки с винными лавочками не предпочел бы в холодную ночь кружку горячего кофе или шоколада всему рому на свете. Любой из них готов подтвердить, что ром согревает лишь ненадолго, но если матросам не дают ничего взамен, то они вздыхают и о нем. Мгновенно разливающееся по телу тепло, некоторое развлечение во время долгой и тоскливой вахты, которое представляет собой сама выдача полпинты, и уж одно то, что можно предвкушать, обсуждать предстоящее «событие», — все это придает рому в глазах моряков такое значение, которое совершенно непонятно людям, не носившим матросской куртки. У нас на «Пилигриме» во время ночной и утренней вахты, а также после каждого

зарифливания марселей матросам всегда раздавали грог. Хоть я никогда раньше не употреблял ром и вряд ли вообще приобщусь к нему, тем не менее я охотно выпивал свою порцию вместе с остальными единственно ради согревания и чтобы хоть чем-то разнообразить монотонное течение вахты. Но, как я уже сказал, на судне не было ни одного матроса, который не выплеснул бы весь этот ром собакам (я десятки раз слышал, как матросы говорили это) ради кружки горячего кофе, шоколада или даже нашей всегдашней «живой воды» [63]. Сухой закон, несомненно, лучшая из реформ, осуществленных ради благополучия матроса, но когда его лишают грога, надо непременно выдавать что-нибудь взамен. В настоящее время на всем этом греют руки только судовладельцы. Именно этим объясняется столь внезапное увеличение числа «сухих» судов в торговом флоте, удивившее даже самых горячих поборников трезвости. Если бы каждому коммерсанту, исключающему грог из списка своих расходов, пришлось бы возместить его таким количеством кофе или шоколада, каким можно согреть всякий раз беднягу Джека-матроса в штормовую ночь, когда он спускается на палубу с марса-рея, то боюсь, что последний недолго оставался бы на прежнем греховном пути. Восемь ночных часов наша вахта провела на палубе, и все это время мы пристально вглядывались в темноту. На баке с каждого борта стояло по человеку, один матрос находился на фока-рее, третий помощник — на сходном люке и два матроса — на юте. Старший помощник появлялся повсюду и командовал, когда капитан спускался вниз. Каждый раз при виде приближающейся большой льдины подавал свой голос впередсмотрящий, и нос судна сразу же катился в сторону от нее. Иногда мы брасопили реи. Впрочем, работы было немного — в основном приходилось смотреть вперед, и поэтому самые зоркие стояли на баке. Время от времени с бака раздавались монотонные крики впередсмотрящего:

— Еще одна льдина!

— Впереди лед!

— Лед с подветренного борта!

— Руль на ветер!

— Так держать!

К этому времени холод и сырость довели мое лицо до такого состояния, что я не мог ни есть, ни сомкнуть глаз, и, когда рассвело, матросы стали уговаривать меня спуститься в кубрик и полежать день-другой, чтобы не свалиться надолго. Сменившись с вахты, я пошел в кормовой кубрик и, сняв шляпу и размотав шарф, показал свое лицо старшему помощнику. Он велел мне тотчас же ложиться и не вылезать из койки, пока не спадет

опухоль. Кроме того, он приказал коку сделать для меня припарку и обещал поговорить обо мне с капитаном.

Я отправился к себе в кубрик и, закутавшись в одеяла, пролежал в полузабытьи почти сутки, совершенно отупев от боли. Я слышал, как вызывают вахту, как матросы взбегают по трапу; иногда до меня доносились звуки возни на палубе, обычно после крика «Лед!», но я уже ни на что не обращал внимания. Через сутки боль стала затихать, и я погрузился в долгий сон, который несколько восстановил мои силы. Все же опухоль не спадала, и все лицо так болело, что я пролежал еще два или три дня. За все это время погода почти не изменилась — те же встречные ветры с дождем и снегом, а если ветер и становился попутным, то густой туман и плотный лед не позволяли увеличивать ход. На четвертые сутки льдины пошли совсем густо, и в довершение всего нас накрыло сплошным туманом. С востока ревел жесточайший шторм, снова принесший снег с дождем. Все предвещало полную опасностей тяжелую ночь. После наступления темноты капитан призвал всю команду на ют и сказал, чтобы никто не покидал палубу, так как судно подвергается теперь величайшему риску — в любое мгновение льдина может проломить борт, не говоря уже о столкновении с айсбергом. Никто не мог поручиться, что «Элерт» продержится на поверхности океана до следующего утра. Затем все заняли свои места. Услышав, в каком положении мы оказались, я принялся натягивать на себя одежду, чтобы быть вместе со всеми, но тут в кубрик спустился старший помощник и велел мне ложиться, сказав, что если мы пойдем ко дну, все равно ни один не спасется, а от стояния на палубе я могу сделаться инвалидом на всю жизнь. Это было первое человеческое слово, услышанное мной от начальства. Капитан же не только ничего не сделал для меня с того дня, как я свалился, но даже не справился обо мне.

Выслушав приказание старшего помощника, я опять забрался на койку, но никогда еще мне не приходилось проводить столь ужасной ночи, и за всю свою жизнь я не страдал так от болезни, как тогда. Если бы я только мог находиться вместе с другими на палубе, видеть и слышать хоть что-то, разделять с товарищами все труды и невзгоды! Лежать в одиночку взаперти в темной дыре, оказаться неспособным к каким-либо действиям — вот самое страшное испытание для человека. Несколько раз я поднимался, решившись идти на палубу, однако всякий раз тишина напоминала мне о том, что и наверху я вряд ли могу быть полезен, кроме того, я понимал, что рискую усугубить свое состояние, и это удерживало меня. Я никак не мог отделаться от мысли, что моя голова упирается в обшивку у самого носа судна

и что она может быть в любую минуту пробита льдиной. Я заболел впервые после выхода из Бостона, и трудно было выбрать для этого более неподходящее время. Мне казалось, что я согласился бы претерпевать до самого конца плавания чуть ли не «египетские казни», лишь бы чувствовать себя здоровым и полным сил только на одну эту ночь. Но и для тех, кто стоял на палубе, она была не менее ужасна. Восемнадцать часов вахты под ледяным дождем и пребывание в постоянном страхе довели людей до полного изнеможения. Когда в девять они сошли вниз завтракать, то почти замертво повалились на свои рундуки, а некоторые настолько окоченели, что лишь с трудом могли сидеть. За всю вахту им не дали ни капли хоть какого-нибудь согревающего питья (зато капитан пил кофе через каждые четыре часа). Правда, старшему помощнику удалось стащить кружку кофе для двух матросов, который те выпили, прячась за камбузом, пока сам благодетель лично сторожил, чтобы их не застукал капитан. Никому не позволялось покидать свой пост, и ничто не нарушало ужасного однообразия ночи. Только однажды был поставлен грот-марсель, чтобы увалиться под ветер от большого айсберга, быстро надвигавшегося на судно. Некоторые парни впали в сонное оцепенение и спали буквально стоя, а наш молодой третий помощник, мистер Хэтч, стоявший на не защищенном от ветра носовом люке, настолько окоченел, что у него отказались сгибаться колени, и он не мог спуститься вниз после вахты. Благодаря бдительности впередсмотрящих и сноровистости рулевых судно благополучно обходило все айсберги и льдины, попадавшиеся на его пути, исключая разве что совсем мелкие обломки льда. А ведь океан был покрыт ими на много миль вокруг. К рассвету наступил мертвый штиль, туман несколько рассеялся, а с запада потянул ветер, перешедший вскоре в настоящий шторм. Теперь, при попутном ветре и относительно ясной погоде, положение наше облегчилось. Тем не менее судно продолжало лежать в дрейфе, что вызвало недоумение всей команды. «Почему мы стоим?», «Чего ждет капитан?» — раздавалось со всех сторон, и вот уже это переросло в недовольство и ропот. Когда день так короток, нельзя упускать ни минуты, да еще при долгожданном попутном ветре. Час шел за часом, но не обнаруживалось никаких признаков того, чтобы капитан собирался что-нибудь предпринимать. Командой овладело беспокойство, и на баке пошли всяческие пересуды. Матросы были вконец измотаны ночной вахтой и желали только одного — поскорее уйти от этой ужасной погоды, и всякое промедление было для них невыносимо. Некоторые утверждали, что капитан смертельно напуган и боится идти дальше. По

мнению других, со страху он сильно перебрал коньяка с опиумом, а потому не может исполнять своих обязанностей. Судовой плотник, отличавшийся рассудительностью и доскональным знанием морского дела, отчего и пользовался большим влиянием в команде, явился в кубрик и стал внушать матросам, что всем надо пойти и спросить капитана, почему мы лежим в дрейфе, и потребовать от имени команды, чтобы он приказал ставить паруса. Это казалось вполне разумным, и было решено, если до полудня ничего не переменится, идти всем на ют. Наступил полдень, но мы продолжали дрейфовать. Снова начали совещаться, и кто-то предложил сместить капитана и передать командование старшему помощнику, который якобы сказал, что, будь его воля, он не посмотрел бы ни на какой лед и еще до темноты был бы на полпути к Горну. Раздражение людей было столь велико, что никто не пытался воспрепятствовать подстрекательству к открытому бунту. Плотник удалился к себе в твиндек, намекнув, что, если в течение нескольких часов все останется по-прежнему, нужно что-то предпринимать. После его ухода мы снова принялись обсуждать наше положение, но я наотрез отказался поддерживать товарищей. Ко мне присоединился еще один матрос, которому приходилось слышать о подобной истории с капитаном, повлекшей серьезные последствия. Нас поддержал Стимсон, и мы втроем решили держаться в стороне. Это заставило остальных по крайней мере отложить исполнение задуманного, хотя они и говорили, что не намерены долго топтаться на месте.

Так продолжалось до четырех часов, когда было приказано собрать команду на палубе. Все дело разрешилось в течение десяти минут. Оказывается плотник поторопился и, не заручившись согласием остальных, подступился к старшему помощнику с вопросом, не согласится ли тот заменить капитана, если последний будет смещен. Старший помощник, исполняя долг службы, сообщил обо всем капитану, после чего незамедлительно и была созвана вся команда. Но не последовало ни жестоких мер, ни хотя бы угроз или ругательств — над капитаном возобладало чувство общей опасности, смирившее его крутой нрав. Он обратился к команде вполне спокойно и почти доброжелательно, сказав, что не может поверить, будто кто-то мог решиться на такое дело, ведь они всегда были хорошими матросами — соблюдали дисциплину и выполняли свой долг. А если у кого есть какие претензии, пусть скажут открыто. Неужели его можно заподозрить в трусости? Разве он когда-нибудь боялся нести как можно больше парусов? И теперь, как только он сочтет возможным, судно сразу снимется с дрейфа. Потом капитан

прибавил несколько слов касательно долга каждого в нынешнем затруднительном положении, присовокупив к этому, что готов забыть о случившемся. Плотнику же он посоветовал вспомнить, кто командует кораблем, и пригрозил, что если тот скажет еще хоть слово, то будет раскаиваться до самой смерти.

Речь капитана возымела самое благоприятное действие, и все спокойно разошлись по местам.

Следующие два дня ветер дул то с юга, то с востока, а в короткие промежутки времени, когда он становился попутным, плотность льдов не позволяла двигаться вперед. Все же погода была не столь ужасной, как прежде, и команда могла работать в две вахты. Что касается меня, то, несмотря на быстрое улучшение моего состояния, я все еще не поднимался с койки. Да и проку от моего присутствия на палубе было бы немного. После двухнедельного воздержания от пищи (если не считать небольшого количества риса, который мне удалось протолкнуть в рот за последние два дня) я стал слаб, как младенец. Решительно нет ничего хуже, чем валяться больным в кубрике. Это самое отвратительное в нашей собачьей матросской жизни, особенно в плохую погоду. Тогда кубрик плотно задраен, чтобы в него не проникали ни вода, ни холодный воздух; не с кем даже перемолвиться словом — вахта или на палубе, или спит по своим койкам; в тусклом свете единственной лампы, качающейся под бимсом, едва различаются предметы, а читать и вовсе невозможно; с карлингсов и бимсов капает, по бортам течет, вокруг громоздятся матросские рундуки и кучи мокрой одежды, и посреди этой тьмы лежать, не вставая, совсем безотрадно. К счастью, я не нуждался ни в лекарствах, ни в посторонней помощи. Не знаю, что было бы со мной, окажись я совсем недвижимым. Конечно, матросы всегда помогают друг другу, но ведь никто не нанимается на судно сиделкой. Наши торговые суда постоянно плавают с неполной командой, и если кто-то заболевает, то ухаживать за ним некому. Матросу полагается быть здоровым всегда, а если он свалился, то его положение становится хуже, чем у паршивой собаки. Ведь кто-то должен заменять заболевшего у штурвала, кому-то приходится стоять вместо него впередсмотрящим, и чем скорее он снова выйдет на палубу, тем лучше для всех.

Поэтому, едва почувствовав, что ноги опять держат меня, я натянул всю теплую одежду и вылез наверх. За те немногие дни, которые я провел в кубрике, все вокруг сильно переменилось. Палуба, борта, мачты, реи и такелаж были покрыты коркой льда. Из парусов оставались только два наглухо зарифленных марселя. Снасти, паруса и все прочее настолько задубели, что казалось

невозможным хоть что-нибудь сдвинуть с места. Мачты, лишенные брам-стеньг, выглядели обрубками и придавали судну какой-то совсем безнадежный вид. Взошло яркое солнце. С палубы сбросили снег и посыпали ее золой, чтобы можно было ходить, иначе ноги разъезжались как на стекле. Из-за холода мы не могли делать приборку и поэтому оставалось только прогуливаться по палубе взад-вперед, чтобы согреться. Ветер оставался противным, к осту океан был сплошь покрыт ледяными полями и айсбергами. Сразу после четырех склянок нам приказали брасопить реи, а сменившийся рулевой сообщил, что капитан держит на норд-норд-ост. Что могло случиться? Поползли самые фантастические слухи. Одни говорили, будто он идет зимовать в Вальпараисо; по мнению других — хочет выйти из льдов, чтобы пересечь Тихий океан и возвратиться домой вокруг мыса Доброй Надежды. Но вскоре выяснилась истинная причина перемены курса — мы шли к Магелланову проливу. Это известие сразу облетело судно и задало работу всем языкам. Никто из нашей команды не бывал там, зато у меня в сундучке нашлась книга о плавании нью-йоркского судна «Э. Дж. Донэлсон», которое несколько лет назад прошло Магеллановым проливом. Его капитан описывал все в самых радужных красках. Вскоре у нас не было ни одного человека, который не прочел бы книгу, и, конечно же, высказывались самые разные мнения. Решение нашего капитана было по крайней мере хорошо тем, что дало нам пищу для разговоров и размышлений и хоть чем-то нарушило однообразие нашей унылой жизни. Поймав попутный ветер, мы шли теперь вполне сносно, оставляя позади самые тяжелые льды. Это, во всяком случае, было вполне ощутимым преимуществом.

За время болезни мускулы у меня на руках заметно ослабли, и, когда я снова взялся за снасти, мне поначалу приходилось туговато. Но уже через несколько дней ладони обрели прежнюю твердость, а как только я смог просунуть себе в рот кусок солонины и сухарь, все мои бедствия кончились.

Воскресенье, 10 июля. Широта 54°10', долгота 79°07'. Взошло яркое солнце. Льды куда-то исчезли, и все вокруг словно повеселело и приняло бодрый вид. Мы повытаскивали наверх наши штаны и куртки и развесили их на снастях, чтобы хоть немного подсушить, пользуясь недолгими часами тепла. С разрешения кока весь камбуз был увешан чулками и рукавицами. Вынесли также сапоги и смазали их густой смесью из дегтя, олифы и сала. А после обеда всю команду поставили работать с якорями. Мы завели фиш-тали, вывалили фиш-балку и через два-три часа тяжелых трудов оба якоря были готовы к аварийной

отдаче. Кроме того, мы приготовили еще два верпа, на фор-люке свернули в бухту швартов и расчистили лотлинь. С возобновлением работ к нам вернулась бодрость духа, а когда мы налегли на тали, чтобы выбрать якорь до места, все дружно подхватили «А ну, ребята, веселей!». Старший помощник от удовольствия только потирал руки и выкрикивал: «Вот так, парни, это дело! Нечего хоронить себя прежде времени!» Даже капитан, услышав песню, вышел наверх и, став неподалеку от рулевого, заметил пассажиру: «Теперь хоть похоже на живую команду. Они всегда горланят эту песню, пока у них хватает народа хоть на самый захудалый хор».

Якоря и канаты готовились для прохождения пролива, который отличается необычайной извилистостью и сильными течениями, отчего там часто приходится становиться на якорь. Это, конечно, никак не радовало нас, ибо из всех работ в холодном климате нет ничего хуже возни с якорным устройством. Тяжелые якорные канаты приходится тянуть по палубе голыми руками; когда тросы и буйрепы выходят на палубу, с них стекает вода, которая попадает вам в рукава и тут же замерзает. Сниматься или становиться на якорь в любой час дня и ночи, пристально всматриваться вперед, чтобы не прозевать рифы, мель или же перемену течения, — все это лишь часть тягот такого плавания, выпадающих на долю матроса. К сожалению, кто-то из наших матросов достал неизвестно откуда обрывок старой газеты, в которой сообщалось о плавании через пролив бостонского брига (кажется, это был «Перувиэн»), который потерял там все свои канаты и якоря, дважды выскакивал на мель и едва дошел до Вальпараисо. Это было выставлено как аргумент против успешного рейса «Э. Дж. Донэлсона» и заставило нас смотреть в будущее уже с меньшей надеждой, тем более что никто из нашей команды не ходил через пролив, а у капитана, как говорили, не было необходимых карт. Впрочем, мы были избавлены от дальнейших сомнений по этому поводу, так как на следующий день, когда судно, по нашим расчетам, подходило уже к мысу Пиллар, у самого входа в Магелланов пролив, от оста принесло шторм с густым туманом, который не позволял видеть вперед даже на половину длины судна. Это положило конец нашему плану, поскольку туман и сильный противный ветер отнюдь не самые благоприятные обстоятельства для входа в путаный и опасный пролив. По всей вероятности, штормовая погода могла продержаться еще долгое время, а лавировать вблизи берега неделю или две было крайне опасно. Поэтому мы перебрасопили реи на левый галс и опять взяли курс к мысу Горн.

Глава XXXII
Вокруг мыса Горн

При нашей первой попытке обогнуть мыс Горн мы, достигнув его широты, находились почти в тысяче семистах милях западнее, но когда шли к Магелланову проливу, так сильно продвинулись на восток, что при второй попытке до проклятого мыса оставалось не более четырехсот-пятисот миль. Это вселяло в нас немалую надежду избегнуть льдов, ибо, как мы полагали, продолжительные восточные штормы отогнали их на запад. Под двумя зарифленными марселями и фоком судно резво бежало, в полветра, держа курс на юг. Каждый раз, выходя на вахту, мы чувствовали, что воздух стал еще холоднее, а волна выше. Льда пока не было видно, и мы надеялись пройти по чистой воде. Но однажды днем около трех часов, когда наша вахта наслаждалась «сиестой» [64] в кубрике, раздался истошный крик:

«Все наверх! Поворачивайся быстро! Не одеваться! Иначе врежемся!»

Выскочив из коек, мы взлетели по трапу на палубу. Капитан громким и резким голосом, словно речь шла о жизни и смерти, отдавал команды; мы кинулись на корму к брасам, не тратя ни секунды даже на то, чтобы посмотреть вперед. Руль был положен круто под ветер, и судно стало медленно совершать поворот фордевинд. Снасти утратили всякую гибкость, и мы едва успели перебрасопить обледенелые реи; все трещало и скрипело, как будто отдирали вмерзшие в лед доски. Все-таки судно повернуло довольно сносно, брасы были закреплены, и мы легли на другой галс, оставив слева за кормой выступавший из тумана огромный айсберг, который был много выше наших мачт. По обе его стороны неясно просматривались массы льда, вздымаемые океанской волной. Теперь мы были в безопасности и шли на север. Однако опоздай со своим криком зоркие впередсмотрящие, задержись мы на две-три минуты, и всем нам неминуемо пришлось бы прыгать на лед, предоставив останкам нашего старого доброго судна дрейфовать в Южном океане. Несколько часов мы шли к северу, но потом ветер опять зашел и пришлось опять повернуть через фордевинд и продвигаться то на юг, то на восток. Всю ночь напролет с разных точек на палубе велось зоркое наблюдение, и как только впереди с какого-нибудь борта видели лед, сразу же перекладывался руль, брасопились реи, и судно уклонялось в сторону. Ставшие привычными крики: «Лед прямо по носу!», «Лед слева по курсу!», «Еще айсберг!» — за

которыми следовали одни и те же команды, словно вернули нас к тем трудным дням неделю назад. Во время моей вахты, продолжавшейся с двенадцати до четырех, штормовой ветер, секущий наши лица снегом, дождем и градом, опять зашел, и в течение четырех часов судно лежало в дрейфе под глухо зарифленным фор-марселем. Потом заштилело, но дождь лил потоками и не прекращался до самого рассвета, когда наконец задуло от веста и прояснилось. Тут мы увидели, что впереди по курсу вся поверхность океана буквально забита льдом. Это положило конец нашему продвижению, мы снова сделали поворот через фордевинд и опять пошли на норд-ост, но не с целью вернуться к Магелланову проливу, а для того, чтобы продвинуться как можно больше к востоку и сделать еще одну попытку обогнуть мыс. Капитан решился любой ценой провести судно вокруг Горна, а, по словам третьего помощника, никогда еще не бывало, чтобы он не добивался своего.

Благодаря попутному ветру, мы скоро ушли от ледяных полей, и к полудню на поверхности плавали только редкие льдины. Сверкало солнце, освещая глубокую синеву океана с белыми бурунами на гребнях высоких волн, нагоняемых крепким зюйд-вестом. Наше одинокое судно мчалось по открытой воде, словно радуясь освобождению из ледяного плена. Разбросанные там и сям айсберги всяческих форм и размеров отражали яркие солнечные лучи и, подгоняемые штормовым ветром, медленно двигались на север. Это было не только полной противоположностью всему виденному нами за последние дни, но и являло собой зрелище, полное красоты и жизни. Даже при небогатой фантазии легко представить себе эти плавающие горы некими живыми существами, которые оторвались от неподвижных льдов и теперь под действием ветра и течения, кто в одиночку, а кто в компании, устремились в теплые края. Ни одному художнику еще не удавалось запечатлеть истинное великолепие айсберга. На известных мне картинах изображены какие-то неповоротливые громады, хотя в действительности айсберг производит неизгладимое впечатление своей медлительностью, своим величавым движением, когда снег завихряется вокруг его пиков, а сама ледяная гора словно тяжело вздыхает и поскрипывает. Это относится к большим айсбергам, тогда как небольшие или находящиеся на значительном удалении ледяные горы, дрейфующие в спокойном море, при свете дня выглядят как волшебные плавучие острова из сапфиров.

Постепенно мы изменили курс с норд-остового на остовый. Пройдя около двухсот миль и приблизившись насколько было возможно к западному берегу Огненной Земли, мы окончательно

потеряли льды из виду и в третий раз повернули на юг, чтобы снова попытаться обогнуть мыс. Погода оставалась ясной и холодной со штормовым западным ветром, и судно быстро приближалось к широте Горна. Как-то после полудня стоявший на фор-марсе матрос закричал вдруг не своим голосом: «Парус!» Ни земли, ни паруса мы не видели со дня выхода из Сан-Диего, и лишь тот, кому довелось бороздить пустынные просторы океана, может представить себе вызванное этой новостью возбуждение.

— Парус! — орал выскочивший из камбуза кок.

— Парус! — надрывался матрос, откидывая крышку люка, ведущего в кубрик, чтобы его услышала подвахта, которая в одно мгновение вывалила на палубу.

— Парус! — кричал сам капитан, вызывая через сходный люк на юте нашего пассажира.

Радостно было не только увидеть судно и находящиеся на нем человеческие существа в этих забытых богом местах, но это подавало надежду узнать, есть ли лед дальше к осту, и выверить нашу долготу, поскольку у нас уже давно сломался хронометр, а после долгого дрейфа мы совсем запутались в счислении. Не удивительно, что наше небольшое сообщество пришло в сильное возбуждение, и мы уже строили всевозможные предположения и догадки, как вдруг снова раздался новый крик впередсмотрящего:

— Еще один парус прямо по носу!

Это было довольно странно, но в конце концов тем лучше, и никто не усомнился в реальности существований замеченных парусов. Однако через некоторое время матрос с марса крикнул, что это, наверное, земля. «В глазах у тебя земля! — отрезал старший помощник, наблюдавший горизонт в подзорную трубу. — Это ледяные горы, тут не ошибешься, даже если смотреть через дыру в ящике!» Спустя несколько минут его слова подтвердились сполна, и вместо желанного судна мы увидели то, чего более всего опасались. Впрочем, встретившиеся нам айсберги скоро остались за кормой в двух милях, и к заходу солнца горизонт был уже чист во всех направлениях.

Пользуясь попутным ветром, мы вскоре пересекли широту мыса Горн и, пройдя достаточно далеко на юг, чтобы обогнуть его на безопасном расстоянии, повернули к востоку, имея все основания надеяться всего через несколько дней лечь курсом на север уже по ту сторону материка. Однако злой рок, казалось, витал над нами. Не прошло и четырех часов после перемены курса, как наступил мертвый штиль. Небо сразу заволокло тучами, и от оста налетело несколько шквалов со снежными зарядами. А еще через час мы уже лежали в дрейфе под глухо зарифленным грот-марселем, и нас несло по ветру таким

жестоким штормом от оста, какого нам еще не приходилось испытывать. Словно злой гений этих мест при виде того, как мы едва не проскользнули у него между пальцами, обрушился на нас с десятикратной яростью. Матросы говорили, что каждый порыв ветра высвистывает в вантах старому судну: «Не пройти! Не пройти!»

Так мы дрейфовали целых восемь дней. Временами — обычно около полудня — наступал штиль; один или два раза в том месте, где должно было находиться солнце, появлялось на несколько мгновений нечто похожее на большой медный шар, а с запада начиналось легкое струение воздуха, вселявшее надежду на попутный ветер. В первые дни, почувствовав эти слабые порывы ветра, мы бросались к парусам и вытряхивали из марселей рифы, но вскоре убедились, что это лишь прибавляет нам ненужной работы, так как все равно возобновлялся шторм от тех же румбов, что и прежде. Снега и града стало выпадать меньше, но не было недостатка в том, что еще хуже при холоде, — я имею в виду пронизывающий дождь. Конечно, снег слепит глаза, но если уж выбирать самую отвратительную погоду, то нет ничего более подходящего, чем ливень при температуре воздуха, близкой к нулю. Во время снежного шквала вы никогда не промочите одежду (для матроса это очень важно), зато от непрерывного дождя нет спасения — он пронизывает до костей. У нас уже давно не осталось ничего сухого (ведь у матроса только одно средство для просушки одежды — солнечная погода), и приходилось надевать то, что отсырело меньше. После каждой вахты, спустившись в кубрик, мы снимали с себя одежду и сразу же выжимали ее; для этого двое брались с каждого конца, например, за штаны и выкручивали их изо всех сил. То же проделывали с куртками, чулками, рукавицами и прочим. Потом вся наша амуниция развешивалась по переборкам для проветривания. Затем на ощупь мы выбирали то, что казалось не таким сырым, и, натянув на себя (так как в любой момент всю команду могли вызвать на палубу), валились по койкам, заворачивались в одеяла и сразу же засыпали, пока не раздавались три удара по крышке люка и гнетущий душу крик: «Эй, первая вахта! Восемь склянок! Слышали новости?» — сопровождаемый угрюмым ответом снизу: «Да! Да!»

Подъем, и мы опять наверху. Там непроницаемый мрак и обычно или мертвый штиль с непрекращающимся дождем, или чаще всего жестокий встречный шторм и почти горизонтально секущий дождь, который иногда переходит в снегопад с градом. На палубе между бортами гуляет вода, и поэтому ноги все время мокрые — ведь сапоги не отожмешь, как пару подштанников, и

никакая пропитка или смазывание не спасает от влаги. Итак, наши ноги всегда в сырости и холоде, но это далеко не самое страшное во время зимнего плавания вокруг Горна. При смене вахты не произносится никаких лишних слов. Меняются рулевые, старший помощник занимает свое место на юте, а впередсмотрящие идут на бак. У каждого из них только тесная площадка под ногами, где можно сделать всего несколько шагов взад-вперед либо повернуться туда-сюда между двумя кофельнагелями, поскольку скользкая от воды и льда палуба не подходящее место для прогулок. Но двигаться все-таки необходимо, чтобы хоть как-то убить время, и один из нас придумал подходящее для этого средство — посыпать палубу песком. Как только дождь немного затихал, ют, а также часть средней палубы и бак посыпали песком, и мы целыми часами разгуливали по двое, коротая бесконечно долгие вахты. Нам казалось, что между склянками проходит не тридцать положенных минут, а целый час или два, и вожделенные восемь ударов ждешь целую вечность. Теперь нас занимало только одно — как ускорить течение времени. Мы были рады любой перемене, лишь бы она нарушала тягостную монотонность нашей жизни. Два часа у штурвала, полагавшиеся каждому через вахту, и те ожидались с нетерпением. Самое безотказное средство убить время — долгая «травля» — и та уже не помогала, все истории были выслушаны по многу раз и запомнились каждому слово в слово. Мы до мельчайших подробностей знали жизнь каждого из нас, и теперь говорить нам было в буквальном смысле совершенно не о чем. Что касается песен и шуток, то никто не был расположен к веселью, и сам смех вызвал бы у нас неприятные ощущения, да его и не потерпели бы. Даже обычные разговоры о ближайшем будущем почти прекратились. Мы уже не говорили: «Когда мы будем дома», а лишь вскользь: «Если мы будем дома», а потом, словно по какому-то молчаливому уговору, и вообще перестали упоминать об этом.

При таком положении дел немалым событием для нас была кое-какая перестановка вахтенных. Один матрос повредил руку и слег на два-три дня (ведь от холода малейший порез или ссадина превращаются в рану), и на его место заступил плотник. Для нас это явилось приятной неожиданностью, и даже возник спор, кто будет у него напарником. Поскольку Щепка был человеком «с образованием», и мы с ним нередко беседовали, он выбрал меня. Хотя он был финном, однако хорошо говорил по-английски и обстоятельно рассказывал мне о своей стране — обычаях, торговле, городах, а также о своих скитаниях в море, о переезде в Америку и женитьбе на землячке-портнихе, с которой

познакомился в Бостоне. Мне же было почти нечего поведать ему, разве что о моей уединенной жизни дома, и, несмотря на все наши старания, за пять или шесть вахт мы полностью «выговорились», и я «передал» его другому матросу из нашей вахты.

Что касается меня, то я изобрел целую систему, позволявшую с некоторой пользой убивать нескончаемые часы вахты. Каждый раз, выходя на палубу и прохаживаясь взад-вперед, я начинал повторять про себя в последовательном порядке всевозможные сведения, накопленные моей памятью: таблицы умножения, мер и весов, цифры на языке обитателей Сандвичевых островов, названия штатов с их столицами, графства Великобритании, имена английских королей и прочее и прочее. Когда я делал долгие паузы, это занятие можно было растянуть на две первые склянки. Затем наступал черед Десяти заповедей, тридцать девятой главы книги Иова и некоторых других мест из Писания. После этого неизменно следовал мой любимый «Отверженный» Каупера; торжественный ритм и мрачное настроение этих строк, а также сюжет поэмы весьма гармонировали с тоскливой монотонностью вахты. Кроме того, я декламировал про себя из Каупера строки, обращенные к Мэри, «Разговор с вороном» и небольшой отрывок из «Застольной беседы». Обилие стихов одного поэта объяснялось тем, что у меня в сундучке лежал томик его произведений. Прочитав на память эти сочинения, а также «Ille et nefasto» Горация и «Erl König» Гёте, я позволял себе далее свободно выбирать стихи или отрывки из прозы, сохранившиеся в моей памяти. Благодаря такому методу можно было скоротать самую долгую вахту, однако этому в немалой степени способствовали периодическая смена рулевых, постановка лага или обычная прогулка к бачку, чтобы напиться воды.

Наши подвахты тоже не отличались большим разнообразием. Теперь мы не занимались ни стиркой, ни шитьем и даже не читали книг, а только ели, спали и поднимались на вахту, то есть вели, если можно так выразиться, настоящую «горновскую» жизнь. Носовой кубрик не отличался комфортом, и когда мы сходили вниз, то сразу же заваливались по койкам. Сходный люк приходилось держать закрытым, чтобы к нам не проникала вода, зато воздух тоже не попадал, и в этой сырой и душной дыре, где мы все жили, была такая атмосфера, что болтавшаяся под бимсом лампа едва мерцала. Но, как ни странно, я никогда еще не чувствовал себя таким здоровым, как в течение этих трех недель. Все мы ели как лошади: сменившись с вахты и сойдя вниз, первым делом лезли в хлебный мешок и котел с мясом. Утром и вечером каждый выпивал свою кварту чая, и твердый сухарь с

куском холодной солонины и кружка горячей жидкости были для нас слаще амброзии и нектара богов. Мы потеряли человеческий облик, и если бы такая жизнь продлилась не месяц, а год, мы уже мало чем отличались бы по умственному развитию от снастей и рангоута. За все это время ни к одному из нас не прикасалась бритва, а на наши лица не попадало иной влаги, кроме дождя и морских брызг, — ведь пресная вода выдавалась строго по рациону, а кому захочется раздеться догола и мыться на палубе соленой водой посреди льдов и снега.

Восемь дней непрестанно штормило от оста, но вот ветер стал временами отходить чуть заметно к югу и усилился еще более. Благодаря тому, что мы уже спустились достаточно далеко на юг, пора было брасопить реи и понемногу прибавлять парусности. Впрочем, каждая такая перемена ветра длилась недолго, и всякий раз он возвращался на свой прежний румб. Тем не менее мы успевали понемногу продвигаться на восток. Однажды ночью после очередного такого изменения ветра, когда мы долго и тяжко трудились всей командой, нам пришлось «достаивать» вахту и ставить грот, который уже висел на бык-горденях. Однако ветер задувал все сильнее и сильнее, снег и дождь с яростью тысячи фурий сыпались на палубу в кромешной темноте. Грот трепало и било с громоподобным треском, и вышедший на палубу капитан приказал скатать его. Старший помощник собрался было вызвать наверх и подвахту, но его остановил капитан, сказав, что если людей постоянно поднимать с коек, они вконец измотаются, а сейчас достаточно и тех, кто находится на палубе. Мы полезли на рей, и я никогда не забуду, что нам пришлось вытерпеть. В нашей вахте число людей сильно уменьшилось, и, не считая рулевого, нас было всего пятеро, включая и третьего помощника, а потому мы начали закатывать парус с одного нока. Рей, на котором мы висели, был весь покрыт ледяным панцирем, сезни и тросы на шкаторинах задеревенели, а сам парус гнулся ничуть не легче, чем лист обшивочной меди. Ветер перешел в настоящий ураган с дождем и снежными зарядами. Нам пришлось бить по парусу голыми руками — никто не решился надеть рукавицы, потому что стоило лишь поскользнуться и не ухватиться вовремя за что-нибудь рукой, и одним человеком в команде стало бы меньше, ведь упавшему за борт рассчитывать на помощь не приходилось — все шлюпки были намертво закреплены на палубе. Нам пришлось пустить в ход все пальцы, кои дал нам создатель. Несколько раз нам удавалось затащить парус на рей, но он вырывался прежде, чем его успевали закрепить. Чтобы завязывать узлы на сезнях, приходилось перегибаться через рей, но они никак не

затягивались, а нам то и дело приходилось колотить руками по парусу, чтобы не отморозить пальцы. Через некоторое время, показавшееся нам вечностью, мы кое-как закатали парус с наветренного нока, но теперь оставался подветренный, где работать было еще труднее, так как туда сдуло почти всю парусину. Пока мы крепили парус у ноков, его пузо опять вырвалось, и с ним пришлось немало повозиться. Наконец все было закреплено, и стоило это нашей вахте полутора часов, проведенных на рее. Мы лезли наверх, когда отбили пять склянок, а спустились незадолго до восьми. Это не назовешь быстрой работой, но если принять во внимание погоду, а также нашу малочисленность (нас было только пятеро), к тому же наш грот был лишь вполовину меньше грота шестидесятипушечного корабля «Индепенденс», где команда состоит из семисот матросов, то не следует удивляться нашей медлительности. Мы были рады спуститься наконец на палубу, и еще больше — добраться до коек. «До конца дней не забуду я этот грота-рей, — сказал один пожилой матрос. — Это почище „рыбалки!“ Шутка шуткой, но скатывать грот у Горна будет почище смертоубийства».

Следующие два дня дул устойчиво ветер от южных румбов. По всей вероятности, мы значительно продвинулись вперед и могли рассчитывать в скором времени подойти к мысу, если уже не вышли к нему. Однако мы не доверяли своему счислению, поскольку капитан никак не мог взять полуденную высоту солнца. Оставалось только надеяться, что погода прояснится и позволит сделать обсервацию или же мы увидим землю, а может быть, даже встретим какое-нибудь судно.

Пятница, 22 июля. Жестокий шторм с юга, паруса глухо зарифлены, а наветренные брасы слегка потравлены. Облака приподнялись над водой и начинают расходиться. В полдень я вместе с мистером Хэтчем и двумя другими матросами работал в кормовом кубрике, наполняя хлебный ящик из бочки, как вдруг яркий луч солнца брызнул к нам через сходной трап и световой люк, озарив все вокруг и наполнив наши сердца радостью. Мы не видели ничего подобного уже много недель. Даже на самых грубых и невыразительных лицах отразилось волнение. Мы услышали громкие крики на палубе, и старший помощник что-то прокричал капитану в каюту. Мы не разобрали слов, но капитан, свалив по дороге стул, одним прыжком выскочил наверх. Нам было трудно понять, что там происходит, а судовая дисциплина не позволяла покидать свое место. Впрочем, мы понимали, что, раз команду не вызывают наверх, нам не грозит никакая опасность. В это время из буфета показалось черное лицо

стюарда, и мистер Хэтч спросил его, что же все-таки случилось.

— Земля, сэр! Верное слово, земля! Капитан говорит, что это и есть тот самый мыс Горн!

Мы налегли на свою работу и, окончив ее, поспешили на палубу. На левом траверзе был виден берег, медленно уходящий за корму. Все смотрели на него как завороженные: капитан и помощники — с юта, кок — из своего камбуза, а матросы — с бака.

Увиденная нами земля оказалась островом Статен, который расположен немного восточнее мыса Горн. Никогда еще мне не приходилось видеть столь пустынного и унылого места — опоясанный утесами и льдами остров был почти лишен растительности, и лишь кое-где во впадинах между холмами и скалами темнел чахлый кустарник. Этот остров как нельзя лучше подходил для того, чтобы стоять на границе двух океанов среди штормов и снегов вечной зимы, далеко за пределами человеческой цивилизации. Однако, несмотря на свой мрачный вид, он ласкал взор, и не потому только, что это была первая встреченная нами земля, но, главным образом, как знак того, что мы уже миновали мыс Горн и вступили в Атлантику. Кроме всего прочего, мы без всякой обсервации установили свою долготу и широту.

Мистер Наттэл развеселил всех, заявив, что ему хотелось бы побывать на острове и исследовать это место, куда, может быть, еще не ступала нога человека. Капитан ответил на это, что если задержать здесь судно хоть на минуту, то все мы отправимся осматривать остров, но только это будет уже на том свете.

Постепенно земля уходила все дальше и дальше за корму, и на закате перед нами расстилался уже Атлантический океан.

Глава XXXIII
Вперед, на север!

Обычно при обратных рейсах из Тихого океана вокруг мыса Горн при выходе в Атлантику держат значительно восточнее Фолклендских островов, но поскольку установился сильный и ровный зюйд-вест, да и высокие широты нам уже порядочно надоели, капитан решил не медля повернуть к северу и пройти между этим архипелагом и материком. В восемь часов после смены рулевых было приказано держать на чистый норд, и всю команду вызвали наверх брасопить реи и ставить паруса. В одно мгновение по всему судну разнеслась весть, что капитан повернул бушприт к Бостону и показал Горну корму. Воистину, для нас это была минута общей радости. Все приободрились, и даже оба наших больных вылезли наверх помогать на фалах. Ветер дул чисто от зюйд-веста со штормовой силой, что, не будь он попутным, нельзя было бы нести ничего, кроме одного глухо зарифленного паруса. Но мы шли на фордевинд, и поэтому матросов послали вытряхнуть рифы из марселей и поставить зарифленный фок. А когда мы начали поднимать марса-реи, то так дружно затянули «Веселей, ребята!», что, наверное, нас было слышно на полпути до острова Статена. После того как прибавили парусов, судно ринулось вперед, и капитан, видя, что все идет хорошо, крикнул с юта: «Еще один риф долой из фор-марселя!» Двое прыгнули на ванты; обледенелые риф-штерты и нок-бензели были раздернуты, матросы стали на фалы, и весь парус наполнился штормовым ветром. Команда оставалась на палубе и следила за маневром. Теперь уже нельзя было добавить ни одного дюйма парусины. Попутная волна была такой высокой, что два человека с трудом удерживали штурвал. Из-под форштевня летели брызги пены, достигая чуть не до сходного трапа. Судно мчалось с бешеной скоростью, но все пока шло хорошо Были заведены и выбраны втугую контр-брасы, на бакштаги наложены тали, и все сделано достаточно надежно и прочно. Капитан быстро расхаживал по палубе, поглядывая то вверх, то в наветренную сторону. Старший помощник стоял у сходного трапа и, потирая руки, громко выкрикивал: «Ура, старое ведро! Видно, все бостонские девки тянут тебя на буксире!» Мы же смотрели с бака, что делается с рангоутом, и пытались определить, какой у нас ход. Неожиданно капитан скомандовал: «Мистер Браун, прикажите поставить марса-лисель! Не удержится — пусть летит ко всем чертям!» Старший помедлил

лишь мгновение, но он был не тем человеком, который уступит кому-нибудь в лихости. «Ура, ребята! Выстрелить марса-лисель-спирт! Пошел наверх! Я пошлю вам туда все, что надо!» Мы прыгнули на ванты и, спустив вниз гордень, подняли на нем необходимый такелаж, провели галсы и фалы, разошлись по рею и прочно их закрепили, а затем спустили нижние фалы, использовав их как контр-брасы. Стояла ясная звездная ночь. Ветер пронизывал холодом, но каждый старался изо всех сил, хотя некоторые и считали, что «старик» рехнулся. Мы изготовили новый марса-лисель с одним взятым рифом, и это последнее обстоятельство вызвало множество насмешек. Матросы говорили, что, коли дело дошло до зарифления лиселя, его вообще незачем ставить. Конечно, постановка лиселя при зарифленных марселях была совершенным новшеством, но тем не менее это имело свой смысл, ибо если марсель был зарифленным, то и лисель тоже нельзя было не зарифить и, кроме того, если бы лисель сорвало, мы потеряли бы только один парус, а при незарифленном марселе могло бы снести всю мачту.

Пока мы работали на рее, внизу вынесли лисель, прикрепили его к лисель-спирту и, выжидая удобного момента, помалу подтягивали их фалами к блоку. Но едва старший помощник отдал «кошачьи лапки» [65] на нирале и мы начали растягивать парус к ноку, как лисель-спирт сразу изогнулся, словно хлыст, и мы ждали, что он сейчас треснет. Однако же, будучи изготовленным из прочной горной ели, лисель-спирт выгнулся наподобие китового уса, но никакая сила не могла сломать его. Наш плотник сказал, что за всю свою жизнь не видывал ничего подобного. Совместными усилиями всей команды мы дотянули галсовый угол до нока, после чего втугую выбрали шкот контр-брасы и наветренные брасы, ослабив тем самым напряжение на лисель-спирте. Каждая каболка тросов и каждая нитка парусины были напряжены до предела. С дополнительным парусом судно рванулось вперед как одержимое. Поскольку поставленные паруса находились в носовой части судна, они как бы поднимали его из воды, и оно буквально прыгало с волны на волну. Никогда еще со дня спуска на воду судно так не погоняли. Даже если бы дело шло о жизни или смерти всех нас, на нем нельзя было бы поставить еще ни одного стежка парусины.

Убедившись, что «Элерт» держит все поставленные паруса, старший помощник отправил команду вниз, и на палубе осталась лишь наша вахта. Двое рулевых с трудом удерживали рыскавшее судно в пределах трех румбов от нужного курса. Старший помощник расхаживал по палубе, поглядывая то вверх на паруса, то через борт на летящие пенистые брызги, и приговаривал,

ударяя себя по ляжкам: «Браво, старая кляча! Теперь ты почуяла, куда тебя гонят!» И когда судно подпрыгивало на волне, чуть ли не выскакивая из воды и сотрясаясь всем корпусом до самого киля, так что мачты и реи трещали и щелкали, он выкрикивал: «Пошла, родная! Теперь ты идешь что надо! Раз ты трещишь, значит держишься!» Мы же, как положено, стояли, приготовившись в любой момент к отдаче концов, уборке парусов и расчистке снастей, если бы что-то случилось. В четыре склянки бросили лаг, показавший добрых одиннадцать узлов, и если бы не высокие волны, набегавшие с кормы и все время сбивавшие судно с курса, вышло бы еще больше. Наступил мой черед идти к штурвалу вместе с молодым кеннебекским парнем по имени Джек Стюарт, и в течение двух часов наши руки не отдыхали ни минуты. Нам сразу же пришлось сбросить куртки, так как, несмотря на холод, мы стояли, обливаясь потом, в одних рубахах, пока не пробило восемь склянок, возвестивших, к нашей радости, о смене рулевой вахты. Мы завалились на койки и мгновенно заснули, не обращая внимания на непрерывный рокот воды под форштевнем и плеск волн, перехлестывавших через полубак, подобно водопаду.

В четыре часа мы были опять вызваны на палубу. Судно несло те же паруса, а шторм если и переменился, то лишь к худшему. Лисель даже не пытались убрать, да теперь это было слишком поздно. Стоило только тронуть хоть один галс или фал, парус сразу же разлетелся бы на мелкие куски и неминуемо увлек бы за собой еще что-нибудь. Единственно разумным было оставить все, как есть, и надеяться, что шторм спадет, а если нет, то ждать, когда слабейшее дерево или снасть лопнет, и тогда уже можно убрать лисель. Больше часа судно неслось с такой скоростью, что казалось, будто волны впереди него сбиваются в кучу, а через блинда-рей вода перекатывала как сквозь плотину. Перед рассветом немного поутихло, и судно пошло легче, но мистер Браун не собирался давать ему передышки. Уповая на дальнейшее успокоение стихии, он приказал изготовить нижний лисель. Это был неимоверной величины парус, который один забирал столько ветра, что даже «Летучему Голландцу» хватило бы на целую неделю. Вскоре все было приготовлено, лисель-спирт поднят, оттяжки заведены и вызваны «бездельники» — кок, стюард и плотник, чтобы помогать на фалах. Однако шторм бушевал с такой силой, что мы ставили этот лисель почти час. При этом был потерян шкот и едва не переломился поворотный выстрел. Почувствовав новый парус, судно опять рванулось как бешеное и стало рыскать из стороны в сторону пуще прежнего. От рулевых, которые, прилагая большие усилия, с трудом вращали

штурвальное колесо, валил пар. К утру шторм разыгрался сильнее, а солнце встало, скрытое завесой облаков. Неожиданно судно резко накренилось и наветренного рулевого отбросило от штурвала в сторону, и он покатился через всю палубу к борту, но старший помощник успел подскочить на его место. Упавший матрос быстро вскочил на ноги и тоже вцепился в рукоятки штурвала, и им удалось выправить руль как раз вовремя, чтобы не дать судну кинуться к ветру, хотя, когда оно привелось, лисель-спирт смотрел под сорок пять градусов. Не было никакого сомнения, что на «Элерте» больше парусов, чем он может нести. Уже подумывали, как бы поубавить лишнюю парусность, но тут судно опять сильно накренилось, оттяжки не выдержали и поворотный выстрел ударил по нижним снастям. При этом вырвало шкотовый блок, и марса-лисель-спирт изогнулся таким образом, что вряд ли кто-нибудь поверил бы этому, не увидев собственными глазами. Я смотрел на него, когда лопнули оттяжки, и он, подобно пружине, изогнулся дугой и тотчас же вернулся в прямое положение. Гитов лопнул, едва мы взялись за него. Утку, на которой крепились фалы, вырвало, и нижний лисель снесло и захлестнуло вокруг блинда-рея и ватер-штагов. Не менее получаса потребовалось, чтобы расчистить все это, и судно продолжало идти только с марса-лиселем, что было тем пределом парусности, когда уже нельзя поставить ни одного лишнего дюйма парусины.

Весь день и всю следующую ночь мы шли под теми же парусами. Шторм нисколько не утихал, на руле мы стояли по двое, зато для остальной вахты не было других дел, кроме наблюдения за горизонтом. К полудню второго дня, то есть в

воскресенье, 24 июля, мы достигли 50°27' южной широты и 62°13' западной долготы, продвинувшись за сутки на четыре градуса к северу. Теперь, когда за кормой остались Фолклендские острова и мыс Горн, судно шло к экватору. Каждый час приближал нас к дому и теплой погоде. Сколько раз, находясь среди сплошных льдов, когда все вокруг наводило лишь тоску и уныние, мы твердили себе, что предел наших желаний — обогнуть Горн и лечь курсом на север по другую сторону материка. И вот все это сбылось. Вокруг расстилался открытый океан, и было столько ветра, сколько душе угодно. Даже судно, казалось, радовалось не меньше нашего своему освобождению. При каждой смене вахты матросы, выходившие на палубу, непременно спрашивали: «Ну, как наши дела?» В ответ им сообщали наш ход с неизменной присказкой: «А бостонские девки опять всю вахту тащили нас на буксире!» День ото дня солнце все выше поднималось над горизонтом, ночи укорачивались, и

каждое утро мы ощущали заметную перемену температуры. Лед, покрывавший рангоут и такелаж, начал стаивать, и в скором времени его можно было увидеть лишь на марсах и вокруг чиксов. Как только штормы остались позади, из марселей сразу вытряхнули рифы и поставили столько парусов, сколько могло нести судно. Каждый раз, когда команду посылали на фалы, мы затягивали песню и дружно выбирали снасти.

Так, по мере приближения к теплым широтам, мы добавляли парус за парусом, и уже через неделю после того, как прошли Горн, были подняты брам-стеньги, поставлены брам- и бом-брам-реи, и судно снова обрело свои прекрасные очертания.

Южный крест и Магеллановы облака опускались все ниже и ниже к горизонту, а наше продвижение по широте было столь стремительным, что каждую ночь на южной части небосклона исчезало какое-нибудь созвездие, но взамен на севере восходило другое.

Воскресенье, 31 июля. К полудню мы были на 36°41' южной широты и 38°08' западной долготы и, следовательно, прошли за десять дней расстояние в две тысячи миль, допуская при этом и перемены курса. Подумать только — мы не уступали пароходу.

С утра судно приняло вид, свидетельствовавший, что это наше первое воскресенье при теплой погоде. Ясный восход обещал прекрасный день. Как обычно, по воскресеньям мы были свободны от работ и принялись всей командой наводить порядок в кубрике. Вытащили наверх накопившуюся за последний месяц мокрую и грязную одежду, вооружились щетками, ведрами с водой, швабрами и скребками и орудовали ими до тех пор, пока палуба не стала белой, как мел. Повсюду была чистота, и все приведено в должный порядок. Затем на верхней палубе разложили постельные принадлежности для просушки и проветривания, наполнили водой большую кадку, и началась великая стирка. Рубахи, тельники, подштанники, штаны, куртки, чулки всевозможных цветов и покроев, сырые и грязные, а иногда даже заплесневевшие от долгого лежания в мокрой куче, выстирывались, выбивались, опускались на штертах на полчаса за борт для выполаскивания и потом подвешивались к такелажу. Отсыревшие башмаки и сапоги выставлялись на солнце, и все наше судно стало похоже на задний двор особняка в день большой стирки. Покончив с одеждой, мы занялись собственными персонами. Небольшой запас пресной воды, сэкономленной на ежедневных выдачах, слили в ведра, и было устроено, как выражаются матросы, «пресноводное мытье». Конечно, одно и то же ведро проходило через несколько рук, но ополаскиваться все равно приходилось соленой морской водой, поэтому пресную

использовали только для того, чтобы растворить слой грязи, которым мы покрылись за пять недель, но даже такому мытью все были рады. Мы намыливали и скребли друг друга полотенцами и кусками парусины, а потом обливались из ведер. Далее последовали бритье и расчесывание волос. И когда, проведя таким образом всю первую половину дня, мы расселись наконец на баке в чистых парусиновых штанах и рубахах, выбритые, причесанные, и занялись чтением, шитьем и неторопливой беседой, греясь в теплых лучах солнца, овеваемые ровным и сильным ветром, который дул слева, с кормы, и наполнял наши многочисленные лисели, — мы снова ощутили все то приятное, что есть в матросской жизни. Перед закатом всю одежду, уже сухую, сняли с такелажа и аккуратно разложили по сундучкам, а зюйдвестки, высокие сапоги и прочее штормовое обмундирование убрали, как мы теперь надеялись, до самого конца плавания.

Несмотря на те восторги, которые выражают многие по поводу красоты парусного судна, приходится сказать, что редко кому доводилось видеть судно, несущее все свои паруса. Входя в порт или выходя из него, оно может одеть, кроме обычных парусов, пару лиселей. Это и называют полной парусностью. На самом же деле все паруса ставятся только в том случае, когда дует легкий устойчивый ветер почти на чистый фордевинд и когда ожидается, что он продержится достаточно долго. Вот тогда, идя под всеми парусами, включая верхние и нижние лисели с обоих бортов, судно действительно являет собой самое великолепное зрелище из числа тех, что имеют отношение к чему-либо движущемуся по лику Земли. Быть свидетелем подобной картины доводилось лишь немногим даже из тех, кто провел долгие годы в море, ибо с палубы невозможно увидеть собственное судно как единое целое.

Однажды ночью, когда мы уже шли тропиками, я полез на нок бом-утлегаря, чтобы закрепить какую-то снасть. Сделав это, я повернулся лицом к судну, улегся на утлегарь и долго оставался в таком положении, наслаждаясь красотой открывшейся мне картины. Благодаря тому, что я оказался как бы вынесенным далеко вперед за пределы палубы, судно стало видно мне словно со стороны — вырастая из воды, опираясь лишь на небольшой темный корпус судна, вздымалась пирамида парусов, распростершая свои крылья далеко в сторону от бортов и упиравшаяся вершиной, как казалось в сумеречном свете ночи, в облака. Океан был гладким, словно озеро. По корме ровно дышал легкий пассат. На темно-голубом небе мерцали тропические звезды, и тишина ночи нарушалась только журчанием воды под форштевнем. Широко и привольно раскинулись паруса: оба

нижних лиселя выступали далеко за пределы палубы; марсели продолжались марса-лиселями, словно крыльями; под ними стояли два брам-лиселя, еще выше — бом-брам-лисели, подобные двум воздушным змеям, пляшущим на одной нитке; и, наконец, маленький трюмсель увенчивал всю пирамиду, касаясь самих звезд, и казалось, он был совершенно недоступен для руки человека. Поверхность океана оставалась зеркально гладкой, а дыхание ветра было столь ровным, что будь все эти паруса высечены из мрамора, то и тогда они не смогли бы быть более неподвижными. Ни единой морщинки на парусине, ни малейшего дрожания у шкаторин. Я настолько углубился в созерцание этого зрелища, что совершенно забыл о бывшем вместе со мной другом матросе, пока он (старый и грубый человек, в прошлом служивший на военных кораблях), глядя на эти мраморные паруса, не произнес: «Как бесшумно несут они судно!»

С возвращением теплой погоды возобновились работы, главным образом по приведению судна в должный вид. Чтобы дать сухопутному жителю представление о том, чем занимаются на судне, можно без преувеличения сказать, что всю первую половину рейса его готовят к плаванию, а вторую — к возвращению в порт, поскольку, по выражению матросов, на нем всегда что-нибудь неисправно, как в дамских часах. Новые крепкие паруса, которые мы несли у Горна, надо было заменять на старые, все еще пригодные в хорошую погоду. Потом пришлось обтянуть весь такелаж с носа до кормы, просмолить стоячий такелаж, отскоблить и окрасить судно изнутри и снаружи, а палубу еще и покрыть лаком, сделать новые аккуратные кнопы, бензели и чехлы. Надлежало привести в порядок каждую часть судна, чтобы порадовать глаз судовладельцев и чтобы ни один «критик» не смог ни к чему придраться, когда мы войдем в бостонский порт. Для этого, конечно, требовалось время, и теперь уже до самого конца плавания всю команду целыми днями держали на палубе. Матросы называют это безжалостным обращением, но судно должно быть в самом что ни на есть лучшем виде, и «Мы идем домой!» оправдывало все.

Эти работы заняли у нас несколько дней, в течение которых не случилось ничего примечательного. К концу недели мы вошли в пассат, дувший от ост-зюйд-оста и с таким постоянством, что можно было не притрагиваться ни к одной снасти. В первый же день авральных работ у нас произошел один из тех незначительных инцидентов, которые сами по себе не заслуживают даже упоминания, но в глазах команды вырастают до размеров большого события, поскольку этим нарушается однообразие плавания и появляется пища для разговоров на

несколько дней вперед. И, по правде говоря, подобные случаи часто не лишены интереса в отношении обычаев на борту судна и характеров людей.

На торговых судах капитан отдает все распоряжения через старшего помощника, предоставляя ему следить за их исполнением. Это настолько прочно укоренившийся обычай, что он сделался почти законом, и ни один благоразумный капитан не нарушает его, если, конечно, старший помощник знает свое дело. Однако в противном случае капитану приходится следить за работами самому. Ничего подобного нельзя было сказать про нашего старшего помощника. Более того, он весьма ревниво относился к любым посягательствам на его власть.

В понедельник утром капитан распорядился выровнять форстеньгу по отвесу, и старший помощник пошел на бак заниматься этим делом. Матросы заложили тали на штаги, полезли наверх с бензелями, набивали одни снасти и ослабляли другие, а сам он, всецело погрузившись в работу, стоял между недгедсами и следил за мачтой. Неожиданно на баке появился капитан и принялся также командовать. Это произвело некоторое замешательство; старший помощник, покинув свое место, подошел к капитану и сказал:

— Если вы явились на бак, сэр, я иду на корму. Здесь достаточно одного из нас.

Это вызвало ответную реплику, на которую последовало яростное возражение. Слово за слово, и дело дошло до того, что оба они сжали кулаки и вообще все это грозило большими неприятностями.

— Я хозяин на этом судне.

— Да, сэр. А я старший помощник и знаю свое место! Оно на баке, так же как ваше — на юте.

— Мое место там, где я захочу! Я командую всем судном, а вы только старший помощник, да и то лишь пока мне это удобно!

— Одно слово, капитан Томпсон, и со мной покончено! Я прекрасно справлюсь с обязанностями матроса. Ведь я не влезал на ют через иллюминатор!

И так далее в подобных же выражениях.

Для нас все это было развлечением, и мы, стоя вокруг и подмигивая друг другу, испытывали наслаждение при виде того, как столкнулись лбами «силы высшего порядка». Наконец капитан увел старшего помощника на корму, и там они еще долго разговаривали, но в конце концов помощник вернулся к исполнению своих обязанностей. Капитан нарушил традицию, и к тому же безо всякой на то причины. Он прекрасно знал, что его помощник превосходный моряк и не нуждается в чьих-либо

советах. Но по букве закона капитан был прав. На борту судна любое его действие считается правильным, и ipso facto [66] не допускается ни малейшего возражения. Это известно каждому помощнику и матросу из статей контракта, когда они подписывают его на рейсе. Тем не менее на торговых судах утвердились и некоторые другие обычаи, входящие в общепризнанную систему взаимоотношений между должностными лицами на борту и пользующиеся авторитетом закона, хотя, конечно, вся полнота власти принадлежит капитану. Помощники командуют до тех пор, пока на это есть воля капитана, а что касается матросов, они обязаны выполнять любую работу. Тем не менее нарушение этих обычаев приводит ко многим неприятным происшествиям на судах, которые нередко затем разбираются юристами на берегу, и надо сказать, что мало кто из них оказывается в силах вникнуть в суть дела, если только не знаком с природой и механикой действия этих обычаев.

Еще одним развлечением послужило происшедшее на полубаке сражение между старшим помощником и стюардом. Они враждовали друг с другом в течение всего плаванья, а однажды, еще в Калифорнии, старший помощник схватил было стюарда, но тот ловко присел и с криком «Ах ты, Браун!» ударил его головой в живот и, приперев к стенке камбуза, ударил еще и еще, так что наш старший помощник даже побелел в лице, а самые тяжелые из его ответных ударов, казалось, не причиняли ни малейшего вреда голове негра. Второй помощник и капитан еле растащили их. Мистер Браун стал жаловаться капитану, присовокупив в конце своей речи: «Хуже того, он даже назвал меня Брауном!» С тех пор выражение «Он назвал меня Брауном!» сделалось на «Элерте» постоянной присказкой. Старший помощник удалился со словами: «Я тебе обещал, и ты свое получил!» Но по всей очевидности, даже он сам не был уверен в том, кто же на самом деле что «получил». Впрочем, мы не сомневались, что мистер Браун не захочет оставаться в столь двусмысленном положении. В тот же день он велел стюарду подать ему стакан воды, но негр заявил на это, что прислуживает одному лишь капитану и никому больше. Здесь «судовой» обычай был вполне на его стороне, однако при ответе он снова позволил себе непростительную бестактность, не назвав помощника «мистером». Это окончательно взорвало старшего помощника, он обозвал стюарда «черномазым отиралой», и они бросились друг на друга. Сцепившись, противники катались по палубе, а мы стояли вокруг и наслаждались необычным зрелищем. Негр опять пытался боднуть старшего помощника головой, но тот прижал его к палубе. Стюард все время выкрикивал: «Отпустите меня, мистер

Браун! Отпустите, а то здесь прольется кровь!» В самый разгар этой сцены на палубу поднялся капитан и растащил их. Стюарда отвели на корму, где он получил с полдюжины линьков. Хоть он и пытался оправдываться, но все слышали его слова о пролитии крови, и этого было вполне достаточно, чтобы заработать порку, а капитан не стал разбираться, что к чему. Мистер Браун посчитал себя вполне реабилитированным в глазах команды и с тех пор оставил стюарда в покое.

Глава XXXIV
Приближаемся к дому

В этот день я буквально чудом остался цел и невредим — случай не столь уж редкий в матросской жизни. С самого утра я работал наверху и почти час провел на фор-брам-рее, который, удерживаясь на месте всего одним узлом, был только что поднят на гордене. Закончив свое дело, я скатал лишние каболки, взял лопатку для клетневания, осторожно ухватился за такелаж брам-стеньги, снял одну ногу с рея и уже собирался оторвать другую, как вдруг узел отдался и рей рухнул вниз. Благодаря тому, что я держался за снасть, со мной ничего не произошло, но все-таки сердце у меня сильно забилось. Стоило узлу распуститься секундой раньше, или задержись я хоть на мгновение, меня швырнуло бы в воду с высоты девяноста — ста футов, а может быть, что еще хуже, прямо на палубу. Подобные происшествия со счастливым исходом моряки всегда обращают в шутку, и того, кому вздумалось бы жаловаться всерьез, просто подняли бы на смех. Матрос и так прекрасно понимает, что его жизнь в буквальном смысле часто висит на волоске, и ему не надо напоминать об этом. Я знаю много случаев, когда человек спасался только благодаря счастливой случайности, и никто не придавал происшедшему ни малейшего значения. Как-то темной ночью у Горна, где невозможно спустить шлюпки, чтобы подобрать упавшего за борт, один из наших парней брал рифы и, поскользнувшись на перте, выпустил из рук риф-сезень. Работавший рядом Джон-француз успел схватить его за воротник и втащил на рей, прикрикнув: «В следующий раз держись крепче, желторотая обезьяна, чтоб тебе провалиться в преисподнюю!» И больше не было сказано ни слова.

Воскресенье, 7 августа. 25°59' южной широты, 27°00' западной долготы. Говорили с английским барком «Мэри-Кэтрин», шедшим из Байи в Калькутту. Это был первый встреченный нами парус, и впервые почти за сто дней мы увидели и услышали голоса других людей. Даже выкрики чужих матросов, тянувших снасти, звучали в наших ушах музыкой. Сам барк оказался старой посудиной с высокой кормой и сильно поднятым полубаком. Как у всех английских «чайных фургонов», его нос и корма были круто обрублены. Барк нес верхние и нижние лисели, но, по словам его капитана, все равно не мог выдавить больше четырех узлов, и они приготовились к долгому плаванию. Мы же шли по шести даже при слабых булинях.

На следующий день около трех часов пополудни встретили большое судно «корветной» постройки под английским флагом с брамселями и трюмселями на всех мачтах. Оно шло курсом зюйд-тень-ост, возможно к мысу Горн. На марсах у него стояли матросы, а своими черными топами, тяжелым рангоутом и многим другим оно походило на военный корабль. Имея хороший ход, «англичанин» являл собой великолепное зрелище, а на бизани гордо развевался флаг св. Георгия. Мы, вероятно, мало в чем уступали ему благодаря нашим широко раскинувшимся с обоих бортов лиселям, которые поднимались пирамидой к бом-брам-лиселям и трюмселям, так что корпус совершенно тонул в облаках парусины.

Пятница, 12 августа. Днем открылся остров Тринидад, находящийся на 20°28' южной широты и 29°08' западной долготы. Погода была великолепная, по морю бежала едва заметная рябь от легкого пассата, а сам остров казался маленьким голубым холмом, возвышающимся посреди стеклянного поля. Говорят, что этот столь мирный на первый взгляд остров долгое время служил убежищем для шайки пиратов, хозяйничавших в тропических морях.

Четверг, 18 августа. В три часа пополудни открылся остров Фернанду-ди-Норонья, лежащий на 3°55' южной широты и 32°35' западной долготы. А в ночь с пятницы на субботу мы в четвертый раз после выхода из Бостона пересекли экватор по долготе 35°. Таким образом, от острова Статена мы шли двадцать семь дней, покрыв более четырех тысяч миль по линии пути с учетом всех перемен курса.

Теперь наша широта росла с каждым днем. Последний привет из южного полушария — Магеллановы облака — уже давно погрузились за горизонт, и на небосводе вставали привычные светила и созвездия Севера — Полярная звезда, Большая Медведица и другие. Ничто, кроме открывшейся земли, не позволяет полнее ощутить радость приближения к дому, чем сверкающее звездами то самое небо, под которым ты родился. Погода стояла томительно душная, с обычным для тропиков палящим зноем, перемежающимся шквалами и ливнями. Но никто не жаловался, памятуя, что каких-нибудь три или четыре недели назад мы бы отдали все, лишь бы оказаться в этих широтах. К тому же у нас было изобилие дождевой воды, которую мы набирали в растянутый горизонтально брезент с положенным посредине ведром. Шквалы налетали с обычным для тропиков постоянством.

Как правило, это происходит так. Представьте себе ярко-синее небо, палящее солнце в зените; матросы в парусиновых

штанах, клетчатых рубахах и соломенных шляпах неторопливо выполняют работы. Судно едва рассекает воду; рулевой, надвинув шляпу на глаза, облокотился о штурвал. Капитан наслаждается в каюте послеобеденным сном; наш единственный пассажир перегнулся через поручни и разглядывает играющего у форштевня дельфина. На юте с подветренного борта парусный мастер занят починкой старого лиселя. Юнги плетут «косичку», тихо поскрипывает крутильная машинка, и матросы, выделывающие шкимушгар, медленно расхаживают с каболками взад-вперед по палубе. Но вот с наветра на горизонте появляется едва заметное, похожее на черную точку облако, и трюмсели немедленно берутся на гитовы. Капитан высовывает голову из сходного люка и, осмотрев горизонт, поднимается на палубу. Облако тем временем растет на глазах и быстро приближается. Корзина с каболками, парус и прочие предметы уже сброшены вниз, световой и сходной люки задраены. По команде: «На бом-брам-фалах стоять!» — рулевой кладет руль на ветер. И тут налетает шквал. Если он не очень силен, мы приспускаем только бом-брам-реи, а судно идет прежним курсом. Но, когда ветер крепчает по-настоящему, приходится брать на гитовы бом-брамсели, посылать матросов наверх скатывать их, спускать брам-реи и убирать бом-кливер. Рулевой, прилагая большие усилия, держит руль на ветер. На нос обрушиваются пронизывающие потоки дождя, но никто не надевает ни курток, ни зюйдвесток — дождевая вода теплая, и матросов ничуть не заботит, что они промокнут. Как только шквал ослабевает, хотя непосвященному и будет казаться, что ветер ревет с прежней силой, раздается команда:

— Привести обратно на курс!

— Есть привести на курс, сэр! [67]

— Пошел брам-реи!

— Ставить бом-кливер!

И не успело еще судно выйти из шквала, как оно опять бежит под всеми парусами. Снова появляется солнце, оно припекает пуще прежнего. Палуба и одежда на матросах уже сухие. Крышки с люков сняты, старый парус снова расстелен на палубе, снова поскрипывает крутильная машинка. Капитан спускается вниз, и ничто уже не напоминает о том, как недавно бушевала стихия.

Подобные шквалы, равно как и мертвые штили, которые длятся по нескольку часов и даже дней, весьма характерны для тропиков Атлантики. Поскольку всю команду целыми днями держали на палубе, вахте разрешалось спать по ночам, исключая рулевого и впередсмотрящего. Правда, формального позволения на это никто не давал, просто смотрели на такое нарушение

дисциплины сквозь пальцы. Мы, конечно, старались наилучшим для себя образом использовать такую поблажку и расползались по самым разным углам, укрываясь под наветренным фальшбортом, за шпилем и в прочих закоулках поуютней. Возможность отдохнуть сверх положенного пришлась очень кстати, ибо при работе всей командой мы могли находиться в кубрике всего четыре часа в течение полутора суток, и поэтому мы не пренебрегали ни одним часом сна. Нашей вахте случалось спать даже в такие ночи, когда хлестал настоящий ливень. Часто при мертвом штиле, сопровождавшемся не сильным, но затяжным дождем, мы, чтобы не лишаться сна, укладывались на бухту троса и, накрывшись курткой, спали крепче, чем голландец под своими перинами.

В течение недели или десяти дней после пересечения экватора происходило непрерывное чередование штилей, шквалов, попутных и противных ветров. Не успевало судно привестись круто к ветру, как через час поднимался легкий попутный ветер, и мы снова ставили лисели по обоим бортам. Так продолжалось

до воскресенья, 28 августа, когда на 12° северной широты мы вошли в северо-восточный пассат. Уже за двое суток до этого в небе появились пассатные облака, и с часу на час мы ожидали, что окажемся под ними. К полудню легкий южный ветер сменился порывистым от норд-оста, заставившим нас убрать лисели и перебрасопиться. А уже через два часа мы лихо неслись вперед по волнам, вздымая фонтаны брызг под крепким норд-остом. В основном нам пришлось идти круто к ветру, чтобы держать курс норд-норд-вест, но иногда ветер отходил немного к осту, и можно было рискнуть, поставив грот-брам-лисель, благодаря чему мы значительно продвинулись к северу.

Воскресенье, 4 сентября. Потеряли пассат на 22° северной широты и 51° западной долготы, то есть у самого тропика Рака.

Несколько дней мы болтались в так называемых «конских широтах» [68], подвергаясь воздействию всевозможной погоды и ветров, а так как мы были на широте Вест-Индии, то пережили и грозы. К тому же сентябрь — месяц ураганов, а мы как раз «повторяли» путь ужасного урагана, который обрушился на Северную Атлантику в 1830 году.

В первую же ночь, после того как мы вышли из пассата (это было на широте Кубы), разразилась настоящая тропическая гроза. С вечера дул легкий попутный ветер, который к полуночи совсем стих и сменился мертвым штилем. Тяжелая черная туча заволокла все небо. Когда к полуночи наша вахта вышла на палубу, вокруг было темно, как в Эребе [69]. Мы убрали все

лисели и бом-брамсели, хотя не ощущалось ни малейшего дуновения ветра. Замершие паруса грузно свисали с реев. Недвижимость всего окружающего и почти осязаемая чернота страшили неизвестностью. Никто не произносил ни слова, но все словно ждали чего-то. На баке появился старший помощник и тихо, почти шепотом, приказал убрать кливер, за которым так же, почти беззвучно, последовали фор- и крюйс-брамсели. Судно оставалось недвижимым, и долгое ожидание вызывало в теле почти физическую боль. Мы слышали, как капитан расхаживает по юту, но ничего не могли разглядеть, кроме собственной ладони, да и то поднесенной к самым глазам. Вскоре опять пришел старший помощник и так же тихо велел взять грот-брамсель на гитовы. Тягостное ожидание и мертвая тишина настолько подействовали на команду, что гитовы и гордени мы выбирали без единого звука. Я вместе с молодым англичанином полез наверх закатывать парус, и, когда мы подтягивали его пузо, старший помощник что-то крикнул нам, но мы ничего не расслышали. Решив, что нас зовут подсобить остальным, мы быстро закрепили сезни и на ощупь спустились на палубу. Команда стояла по местам, и все смотрели наверх, и там, прямо над тем местом, где мы только что находились, на топе грот-брам-стеньги был светящийся шар, так называемый огонь св. Эльма. О нем нас и предупредил старший помощник. У матросов есть примета — если огонь поднимается вверх, то это к хорошей погоде, а если идет вниз, значит непременно будет шторм. Однако для нас он не предвещал ничего хорошего, так как спустился на нок брам-рея, откуда мы вовремя убрались, поскольку человек, на лицо которого упал отсвет огня св. Эльма, считается обреченным. Потом на несколько минут он исчез и появился снова на фор-брам-рее. Померцав там, он потух, но впередсмотрящий на баке почти сразу заметил его на ноке бом-утлегаря. В этот момент мы почувствовали, как редко закапал дождь и заметно сгустилась чернота ночи. Потом послышался далекий рокочущий раскат грома, и на зюйд-весте мелькнуло несколько вспышек. У нас были убраны все паруса, кроме марселей, однако шквал все еще медлил. Несколько дуновений ветра всколыхнули было паруса, но вслед за этим опять все стало неподвижным. Внезапно ужасающая вспышка озарила все вокруг и одновременно с ней раздался оглушительный удар, направленный словно на нас. Прямо над нашими головами словно разверзлось небо, и оттуда хлынул поток воды, подобный низвергающемуся с высот океану. Мы словно окаменели. Удары грома следовали один за другим с такой силой, что, казалось, нам приходит конец. Вся поверхность воды светилась от

непрерывных вспышек. Стена была сплошной лишь считанные минуты, а затем дождь переходил в ливень только время от времени. Однако молнии непрестанно сверкали в течение нескольких часов, разрывая ночную темноту слепящими вспышками. И все это время не было ни единого дуновения ветра, так что судно стояло недвижимо, словно мишень для стрельбы, оставаясь единственным плавающим предметом на поверхности океана на многие мили вокруг. Так мы выстаивали час за часом, пока в четыре не кончилась наша вахта. За все это время вряд ли кто из нас промолвил хоть слово, мы даже не отбивали склянки и столь же беззвучно сменялись рулевые. Проливной дождь то затихал, то снова возобновлялся. Мы стояли на палубе промокшие насквозь и ослепленные молниями, которые пронзали эту «египетскую тьму» нестерпимо яркими вспышками, а раскаты грома, казалось, сотрясали океан. Впрочем, молния редко губит суда, так как электричество поглощается многочисленными выступающими частями рангоута и расположенными всюду металлическими предметами. В четыре часа мы спустились вниз, а на палубе все оставалось по-прежнему. До чего трудно уснуть, когда думаешь, что очередная молния может переломить судно пополам или поджечь его, и когда «могильный» штиль грозит каждую минуту взорваться ураганом, который может начисто снести мачты. Но тот не матрос, кто не засыпает, как только уляжется на койку. И когда в семь склянок привычное «Вахта левого борта, наверх!» подняло нас на палубу, вокруг было ясное солнечное утро, а судно под всеми парусами, подгоняемое легким ветром, не спеша бежало вперед.

Глава XXXV
Новые происшествия

От широты Вест-Индии и до Бермуд, где мы имели западные и юго-западные ветры, постоянно дующие ранней осенью у восточного побережья Соединенных Штатов, нам сопутствовала переменчивая погода; мы пережили и два-три умеренных шторма, которые называются у моряков «риф-марсельными ветрами». Последние настолько характерны, что описание одного из штормов может дать полное представление о прочих. Представьте себе прекрасный полдень — команда работает, кто на рангоуте, кто на палубе, дует крепкий бриз, судно идет круто к ветру с трюмселями, взятыми на гитовы. Обычно во второй половине дня ветер усиливается, облака предвещают шторм. Водяные брызги начинают перехлестывать через полубак и попадают на каболки, которые плетут парни. Старший помощник останавливает работы и очищает палубу раньше обычного. Подается команда вынести бом-брам-фалы на ветер. Обтягиваются стень-фордуны, а на мартин-бакштаг закладываются тали. Кто-нибудь из матросов убирает крюйс-бом-брамсель. Кок уже не сомневается, что предстоит «паршивая работенка» и спешит с ужином. Так оно и есть — старший помощник велит ужинать повахтенно, а не всей командой, как обычно. За едой слышим, как убирают бом-брамсели. Выходим наверх. Ветер тем временем успевает усилиться и гонит встречную волну. Матросы уже не собираются на баке перед «собачьей вахтой», чтобы покурить, спеть что-нибудь или послушать чью-нибудь историю. Подвахта сразу же отправляется вниз и заваливается по койкам, справедливо полагая, что на ночь нелишне и поспать два часа. Меж тем облака становятся все чернее, ветер расходится вовсю, и судно с трудом пробивается сквозь высокую встречную волну, которая заливает полубак. Однако паруса больше не убирают, потому что наш капитан — «выжимала ветра» и, как всякий «выжимала», весьма ревностно относится к своим брамселям. Тем более что поставленный брамсель служит как бы границей между крепким ветром и штормом. Если стоят брамсели, значит, надо думать, что будет обычный ветер, хотя мне не раз приходилось видеть, как мы несли брамсели даже при зарифленных марселях, когда бушприт до половины окунается в воду, а у подветренных шпигатов по колено воды. В восемь склянок никто даже не вспоминает о зарифливании марселей, и подвахта спускается вниз, напутствуемая предупреждением «быть наготове». Мы

расходимся по койкам, ворча на «старика» за то, что он-де не взял рифы, когда сменялась вахта, и теперь нас опять будут дергать наверх и портить нам отдых. Нет смысла засыпать, если тебя все равно скоро поднимут. Слышно, как на палубе свистит ветер, и судно с натужными стонами и скрипами едва влачится вперед. Когда его ударяет о крутую встречную волну, раздается такой грохот, словно мы врезались в скалы. Тусклая лампа в кубрике болтается как маятник, наши пожитки скатываются к подветренному борту. «Неужели этот чурбан второй помощник не сообразил убрать брамсели? Дождется, что у нас снесет все мачты», — ворчит по своему обыкновению старина Билл, который, как большинство старых матросов, не любит, когда с судном неумело обращаются. Тем временем наверху что-то командуют, а с полубака доносится: «Есть, сэр!» О палубу стучат снасти, слышно хлопанье полощущегося по воздуху паруса и те резкие отрывистые звуки, которые издают матросы, когда они выбирают гитовы. «Значит, убирают фор-брамсель!» Сна у нас ни в одном глазу, и мы в точности знаем, что делается на палубе, как если бы и не уходили с нее. Знакомый голос советует с марса вахтенному помощнику подобрать наветренные брасы. Потом прямо над нашими головами на палубу швыряют снасти. По протяжным крикам людей и скрипу тросов мы безошибочно определяем, что уже убран бом-кливер. Но второй помощник все еще держит грот-брамсель, пока бак не накрывает огромная, как целый океан, волна. Возня на палубе свидетельствует, что и этот парус наконец убран. Судну становится легче. Бьют две склянки, и мы пробуем хоть ненадолго заснуть. Но почти сразу же — банг! банг! банг! — раздаются удары по люку и крик: «Все на-а-а-верх!» Мы вскакиваем с коек и, схватив на ходу куртки и зюйдвестки, бросаемся к трапу. Старший помощник опередил нас и уже ревет на баке, как разъяренный бык. Капитан выкрикивает команды на юте, а второй помощник со средней палубы. Судно положило на борт, подветренные шпигаты ушли в воду, весь полубак окутан облаком пены. Бухты бегучего такелажа сорваны с нагелей и перекатываются в струях воды по палубе. Брам-реи спущены до эзельгофтов, паруса неистово полощут и бьются о мачты, а вахта правого борта тянет риф-тали у грот-брамселя. Мы бросаемся к фоку и берем два рифа на фор-брамселе, стараясь опередить вахту правого борта, которая работает на гроте. Вся команда наваливается на грота-галс, а потом, пока скатывается кливер и ставится стаксель, мы, крюйс-марсовые, зарифливаем крюйсель. Когда все закреплено и уложено, раздается команда: «Подвахта вниз!» — и теперь можно еще немного (каких-нибудь полтора часа) поспать. Всю ночную вахту и первую половину утренней

нисколько не стихает, но к рассвету ветер заметно слабеет, и мы не только вытряхиваем по рифу из каждого марселя, но еще и ставим брамсели. А в семь склянок отдаются все рифы, команда работает на фалах, брам-шкоты выбираются хват-талями, ставится бом-кливер, и судно снова оказывается в своей прежней упряжи.

Наш капитан женился всего за несколько недель до выхода из Бостона, и легко догадаться, что после двухлетнего отсутствия он теперь не жалел парусов. Старший помощник тоже не привык никому уступать, а второй, хоть и опасался «выжимать ветер», еще сильнее боялся капитана, отчего временами рисковал больше, чем оба его начальника. Однажды за сутки мы сломали три бом-утлегаря и блинда-рей, не говоря уже о такой мелочи, как несколько лисель-спиртов. Кроме естественного желания поскорее попасть домой, у нас была другая причина гнать судно — на борту объявилась цинга. Одному матросу стало так плохо, что он уже не мог работать, а наш англичанин Бен был еще в более ужасном состоянии, и день ото дня ему становилось все хуже и хуже. Ноги у него распухли так, что он не мог ходить; мышцы утратили упругость, а на коже после надавливания пальцем оставалась вмятина; десны раздуло, и бедняга почти не открывал рта; дыхание стало прерывистым и тяжелым. Он окончательно обессилел и совсем упал духом, ничего не ел и при таком быстром ухудшении здоровья вряд ли протянул бы дольше недели. У нас же не осталось никаких лекарств, да и все равно ничто не могло помочь ему, кроме свежих продуктов и terra firma [70]. Впрочем, цинга на судах теперь не столь распространена, как в прежние времена, и принято считать, что она возникает из-за соленой пищи, грязи, чрезмерного употребления жира (поэтому ею так часто страдают китобои) и, наконец, является следствием бездеятельности. Однако на нашем судне никто не заболел бы по сей последней причине, равно как и по второй, поскольку люди у нас подобрались чистоплотные; мы всегда аккуратно прибирали кубрик, а что касается мытья и перемены одежды, то отличались большей прилежностью, нежели многие береговые жители. Причина болезни заключалась, по всей видимости, только в употреблении солонины и, может быть, в быстром переходе из области жестоких холодов в жаркие тропики.

Рассчитывая на преобладающие осенью у побережья западные ветры, капитан зашел далеко к весту, чтобы пройти между материком и Бермудами. Кроме того, он надеялся встретить какое-нибудь судно, идущее в Вест-Индию или южные штаты. Хотя цинга и не распространялась пока на остальную команду, но

этого следовало опасаться, да и наши больные были совсем плохи.

Воскресенье, 11 сентября. Широта 30°04' северная, долгота 63°23' западная. Бермудские острова в ста пятидесяти милях к норд-норд-весту. На следующее утро около десяти часов раздался крик: «Парус!», и вся команда высыпала наверх посмотреть на встречное судно. Оно оказалось ничем не примечательной бригантиной, шедшей курсом зюйд-зюйд-ост, скорее всего, из северных штатов в Вест-Индию, то есть как раз тем, что нам было нужно. Заметив, что мы хотим переговорить с ней, она легла в дрейф, и мы поспешили приблизиться.

— Эй, на бригантине, откуда вы?

— Идем из Нью-Йорка в Кюрасао.

— Не найдется ли у вас свежей провизии?

— Сколько угодно!

В одно мгновение мы спустили кормовую шлюпку, в нее прыгнули капитан и четверо матросов, и скоро она уже пританцовывала на волне у борта бригантины. Через полчаса шлюпка возвратилась, наполненная картофелем и луком, и суда разошлись, следуя своим курсом. Это был «Солон», приписанный к Плимуту, который направлялся из Коннектикут-Ривер, с заходом в Нью-Йорк, в Центральную Америку с грузом свежего продовольствия. Лук оказался совсем свежим. И второй помощник «Солона», когда он, перегнувшись через борт, передавал связку лука в нашу шлюпку, пошутил, что, мол, девицы нанизали луковицы на нитку специально для нас в день отхода судна. У нас на «Элерте» по ошибке считали, что прошлой зимой были выборы президента, и когда шлюпка уже отвалила, капитан окликнул бригантину и спросил, кто сейчас президент Соединенных Штатов. Эндрю Джексон, ответили ему. Мы, однако, усомнились, что престарелого генерала могли избрать в третий раз, и окликнули их снова, тогда они отвечали — Джек Даунинг, предоставив нам самим разбираться на досуге, где истина.

Один из гребцов нашей шлюпки, некто Джо, выставил себя на посмешище. Он был очень тщеславным парнем и не упускал случая похвастаться по любому поводу. Дело в том, что честь и достоинство любого судна и его команды зависят от продолжительности и характера рейса. В среде моряков почетными считаются плавания в Индию или Китай, а вояж на Северо-западное побережье Америки (на Колумбия-Ривер или в Русскую Америку) за грузом мехов почитается за предприятие романтическое и таинственное, а коли уж судну доведется обойти вокруг света, такой рейс бьет все прочие. Так вот, серьезный сутуловатый старший помощник бригантины перегнулся через

борт и заговорил с людьми в нашей шлюпке: «Откуда идете?» Джо не задержался с ответом: «С Северо-западного побережья». — «С каким грузом?» Это был каверзный вопрос, но Джо и тут не ударил в грязь лицом. «Шкуры» — поспешно сказал он. «Так что и тут, и там одни рога?» [71] — отпарировал помощник самым язвительным тоном. Все в шлюпке затряслись от хохота. Так был посрамлен Джо.

A propos, некто Сэм на «Пилигриме» часто рассказывал нам одну и ту же историю о самонадеянном капитанишке с паршивенького брига, который во время жалкого рейса из Ливерпуля в Нью-Йорк, осмелился окликнуть в море солидного «индийца», возвращавшегося домой под всеми лиселями с загоревшей под южным солнцем командой в широкополых шляпах, с обезьяной и попугаем, сидевшими на вантах. «Индиец» уверенно покачивался на волнах на прямом курсе от самой Святой Елены, и не было вовсе никакой необходимости останавливать его, но тщеславие капитана брига все же заставило его сделать это, однако затем он все-таки струхнул и поэтому пропищал тоненьким, жалким голоском: «Что за судно, будьте любезны?» В ответ в рупор промычал могучий бас: «„Бэшоу“ из Кантона, иду в Бостон. Сто десять суток в море. Откуда вы?» — «Всего лишь из Ливерпуля, сэр», — проверещал капитанишка самым извинительным и подобострастным голосом... Однако комизм этого может оценить только тот, кто хорошо знаком с ритуалом переговоров между судами в море. Дело в том, что совершенно недопустимо при этом употреблять «сэр», а «всего лишь из» — смеху подобно.

Было как раз время обеда, и стюард, взяв для обитателей юта несколько связок лука, отдал нам остальное и в придачу еще бутылку уксуса. Мы сложили лук у себя в кубрике и не стали варить, а решили съесть его сырым с мясом и хлебом. Это была воистину пища богов! Сочный и хрусткий сырой лук, еще не расставшийся с запахом земли, после долгого употребления одной лишь солонины бодрил нас, словно свежая кровь — гончую. Мы поедали луковицы дюжинами, за обедом, завтраком и ужином и набивали ими свои карманы, чтобы грызть во время вахты. Но нужнее всего они были для заболевших цингой. Один из них еще мог еле-еле жевать и, благодаря сырому картофелю с луком, скоро поправился. Зато другой едва открывал рот, и коку пришлось толочь сырые картофелины, чтобы выжать из них сок, которым он поил несчастного. Тот глотал этот сок чайными ложками, и вначале он вызвал у него судороги и резкие боли. Однако больной продолжал принимать каждый час по ложке сего снадобья, в нем возродилась надежда на выздоровление, и вскоре

он поправился настолько, что стал самостоятельно ходить и есть протертый лук и картофель. Его выздоровление шло так быстро, что через десять дней после нашей встречи с «Соло-ном» он уже работал наверху и скатывал бом-брамсель.

С отличным зюйд-вестом мы проскользнули между Бермудскими островами и материком и, несмотря на предостережение, которое заключено в старой морской поговорке, то и дело вспоминаемой теми, кто считал, что мы все-таки попадем в шторм прежде, чем окончится рейс, —

Пропустят Бермуды на этот раз —
Штормом встретит мыс Гаттерас, —

мы прошли этот мыс при хорошей погоде и начали считать уже не дни, а часы, оставшиеся до той самой минуты, когда мы отдадим якорь в бостонской гавани.

На нашем судне все было в отменном порядке, благодаря тому, что команда непрестанно занималась судовыми работами с рассвета дотемна, исключая только воскресенья, с того самого времени, как началась теплая погода по «эту» сторону Горна.

Среди береговых жителей распространено ошибочное мнение, что судно находится в самом лучшем состоянии при выходе в плавание, а возвращается в порт после долгого отсутствия «с помятыми волнами ребрами и парусами в дырах, худое, тощее, ограбленное ненасытным ветром».

В действительности это совсем не так. Если на возвратном пути с судном ничего не случилось и не стоят зимние холода, когда затруднена работа на мачтах, его всегда приводят к концу рейса в образцовый порядок. И наоборот, в день отплытия такелаж на судне обычно не обтянут, мачты нуждаются в подкреплении, палуба и борта остаются грязными, как во время погрузки. При возвращении прекрасная погода в тропиках позволяет навести безукоризненную чистоту. Ни одно торговое судно не может сравниться по своему внешнему виду с судном, возвращающимся из Ост-Индии или из-за мыса Горн. Репутация капитанов и старших помощников зависит от того, как выглядит их судно при входе в родной порт. Поэтому весь наш стоячий такелаж был обтянут втугую и просмолен, после чего началось «скобление» всего судна, включая мачты, реи и выстрелы. За борт спустили беседку, и мы скоблили корпус до самой воды, обдирая попутно ржавчину с цепей и болтов. Два дня при спокойной погоде у экватора ушли на то, чтобы произвести наружную покраску. При этом по бортам были наведены порты, на корме с особой тщательностью отделаны резные украшения,

изображавшие Нептуна на колеснице с трезубцем в руке, влекомого морскими конями, а также восстановлена позолота у рога изобилия, служившего носовым украшением. Затем было покрашено все, от клотиков до ватервейсов: реи — черной краской, марсы и топы мачт — белой; ютовые поручни — черной, белой и желтой; фальшборт — зеленой; планширь — белой; ватервейсы — свинцовой и т. д. Якоря, рым-болты и все оковки были зачернены угольной смолой, а стюарда поставили драить медь на штурвале, шпиле, колоколе и пр. Каюту также отскребли и выкрасили, но на кубрик краску тратить не стали — Джек-матрос и так прекрасно обходится. После этого наступила очередь палубы, которую даже покрыли лаком. Одновременно за борт полетел весь хлам, в том числе старые смоляные бочки, которые в одну из темных ночей подожгли и сбросили в воду. Они пылали у нас за кормой, освещая океан на несколько миль вокруг. Добавьте ко всему этому еще и такелажные работы: выделку кнопов, голландских огонов, сплесней, бензелей, обшивок и оплеток, которые должны были свидетельствовать о безукоризненном порядке на борту. И наконец, самые последние приготовления заключались в подвешивании якорей за бортом, извлечении на палубу швартовов и осмотре диплота.

Четверг, 15 сентября. Утром температура воздуха и совершенно иной вид, который приняла поверхность воды, обилие на ней плавающих водорослей и гряда облаков прямо по курсу свидетельствовали, что мы подошли к границе Гольфстрима. Это замечательное течение, пересекающее в северо-восточном направлении почти весь Атлантический океан, всегда собирает над собой плотный слой облаков и является областью постоянных штормов. Нередко суда, идущие в этой части океана под всеми парусами при легком ветре и ясном небе, совершенно неожиданно попадают в сильное волнение при сплошной облачности. Один матрос рассказывал мне, как однажды во время рейса из Гибралтара в Бостон его судно подходило к Гольфстриму при совершенно ясной погоде с легким попутным ветром, неся верхние и нижние лисели. Неожиданно они увидели впереди по курсу длинную гряду тяжелых черных туч, которые, казалось, лежали на самой воде. И из этой пелены появилось судно под глухо зарифленными марселями, со спущенными бом-брамреями. Они тоже начали убирать один парус за другим, пока не уменьшили парусность до такого же состояния. После двенадцати — четырнадцати часов болтанки в бурном море их судно вышло из этой штормовой полосы и снова пошло с бом-брамселями и трюмселями под безоблачным небом. По мере нашего приближения к Гольфстриму небо заволакивалось тучами,

волнение усиливалось, появились все признаки надвигающегося шторма. Хотя ветер был только крепким, но дул он от норд-оста против течения, образуя отвратительную короткую зыбь, на которой судно сильно бросало, так что нам пришлось спустить бом-брам-реи и убрать верхние паруса. Термометр, регулярно опускавшийся в воду, показал в полдень семьдесят градусов [72], то есть ее температура была значительно выше температуры воздуха, что всегда бывает на самой середине Гольфстрима. Работавший на бом-брам-стеньге юнга спустился на палубу весь бледный и сказал, что от тошноты совсем не может оставаться на мачте, но ему стыдно говорить об этом вахтенному помощнику. Он попытался еще раз влезть наверх, но так и не смог работать, потому что чувствовал себя не лучше «дамы из пассажирской каюты». По его словам, в других рейсах он никогда прежде не страдал морской болезнью. Один из старых матросов, стоявший на брам-рее, рассказывал потом, что ему все время было не по себе, и он с радостью спустился, когда закончил свое дело. На бом-брам-стеньгу послали другого, но и тот не выдержал больше часа. Однако работа должна быть все-таки сделана, и старший помощник послал меня. Некоторое время я держался, но в конце концов почувствовал себя совсем скверно, хотя с самых первых дней плавания не чувствовал тошноты ни при какой погоде. Тем не менее я остался на месте и сошел, только закончив работу, на что ушло больше двух часов. Можно с уверенностью сказать, что никогда еще судно не вело себя подобным образом. Его кидало с борта на борт, а паруса, казалось, нисколько не уменьшали размахов качки. Верхушки мачт вычерчивали в небе невообразимые кривые и подчас за одно мгновение описывали дугу более сорока пяти градусов. У меня не было приступов морской болезни, и я спустился с мачты с безразличным видом, хотя отнюдь не испытывал неудовольствия от возвращения на относительную твердь палубы. А всего через несколько часов все было уже позади, и, когда солнце склонялось к горизонту в сторону Американского континента, гряда черных штормовых туч растворилась в сумерках у нас за кормой.

Глава XXXVI
Ура, родная земля!

Пятница, 16 сентября. 38° северной широты, 69°00' западной долготы. Отличный юго-западный ветер. С каждым часом мы подходим все ближе и ближе к земле. Во время «собачьей вахты» все матросы толкутся на палубе, и разговоры идут только об одном — о возвращении: когда откроется берег, успеем ли прийти до воскресенья, как теперь выглядит Бостон, сколько платят матросам и тому подобное. Все пребывают в наилучшем настроении, плавание уже почти окончилось — и дисциплина заметно ослабевает, поскольку нет необходимости отдавать приказы резким тоном, когда и так все охотно исполняется. Забыты ссоры и обиды, непременные спутники долгого плавания, и те самые люди, которые чуть ли не бросались друг на друга с кулаками, сейчас строят планы совместного «круиза» на берегу. Появившийся на баке старший помощник сообщил матросам, что мы будем на Джорджес-Банке уже завтра, еще до полудня. Он тут же отпустил несколько шуток и пообещал свезти парней в Марблхед в настоящей карете.

Суббота, 17 сентября. Весь день ветер оставался слабым, что несколько задерживало нас, однако к вечеру задул свежий бриз и быстро понес судно к берегу. В шесть часов мы предполагали, что ляжем в дрейф из-за густого тумана, но не последовало никакой команды, и судно продолжало идти своим курсом. В восемь сменилась вахта, а мы так и неслись под верхними и нижними лиселями среди непроглядной темноты, словно нас запихали в мешок. Когда пробили две склянки, на палубе появился капитан и что-то сказал старшему помощнику. После этого лисели были убраны, и на блинда-рее выставили матроса с лотом, а еще троих — на крамболе, фока-вант-путенсах и грот-русленях, которые стояли с изготовленными бухтами лотлиня.

— На баке все готово?

— Готово, сэр!

— По-ш-е-е-л!

Тяжелый свинцовый лот падает в воду. Вытравлено восемь — десять саженей лотлиня, но... пронесло. Глубина здесь больше, чем высота креста на соборе св. Петра! Матросы выбирают лотлинь, койлают его в бухту. Брасопим прямо реи грота и бизани, опять растягиваем лисели, и через несколько минут судно уже не идет, а летит. В четыре склянки снова бросают лот, и он достигает дна на шестидесяти саженях. Ура родной земле!

Выбираем лот; капитан, поднеся саму гирю к фонарю, видит, что она облеплена черным илом. Лисели убираются, и всю ночь судно идет с уменьшенной парусностью при ослабевающем ветре.

Глубины у Американского побережья по мере приближения к нему меняются настолько равномерно, что по одним только их замерам и заборам грунта мореплаватель может с такой же уверенностью сказать, где он находится, как если бы он наблюдал землю собственными глазами. Черный ил — это грунт у Блок-Айленда. При подходе к Нантакету он сменяется темным песком. Потом идет песок с белыми ракушками, а у Джорджес-Банки он становится совсем белым. Согласно пробе грунта, мы были мористее Блок-Айленда и, следовательно, шли чисто на ост к Нантакетской отмели и Южному проливу. Но вскоре ветер совершенно стих, и мы заштилели в густом тумане на все воскресенье. В полдень

воскресенья, 18 сентября, Блок-Айленд, по счислению, находится в пятнадцати милях на четверть румба к весту от норд-веста, однако из-за устойчивого непроницаемого тумана ничего не было видно.

Закончив работы на палубе, умывшись и переодевшись, мы устроили себе развлечение: перетряхнули свои сундучки, чтобы приготовить одежду для берега, а все износившееся и уже ни на что не пригодное — выбросить за борт. По воде поплыли шерстяные шапочки, в которых мы шестнадцать месяцев таскали калифорнийские шкуры; парусиновые куртки, надевавшиеся при смолении; изодранные, латаные и перелатанные рукавицы и шерстяные штаны с огромными заплатами, перенесшие все превратности «горновской» погоды. Мы швыряли их за борт без малейшего сожаления, ибо ничто не доставляет такого удовольствия, как расставание с тем, что напоминает о перенесенных мучениях. Все сундучки были приготовлены к переселению на берег, мы доели последнюю «замазку», которая полагалась нам на «Элерте», и занялись обсуждением береговых дел, словно судно уже стояло у причала.

— Кто пойдет со мной через неделю в церковь?

— Я, — отвечает Джек, который всегда со всем согласен.

— А я, как только встану на землю обеими ногами, — говорит Том, — натяну башмаки на пятки, застегну уши назад — и прямым курсом в лес, чтобы этой соленой воды и близко не было.

— Брось врать-то! Вот ошвартуешься в пивной старика Барнса с подветра от стойки, так небось недели три не увидишь дневного света!

— Ни за что! — протестует Том. — С грогом покончено, я

отправляюсь домой, а там посмотрим, может быть, меня наймут дьяконом.

— Ну, а я, — говорит Билл, — покупаю квадрант и нанимаюсь штурманом на хингэмский пакетбот.

Гарри Вайт клянется, что снимет комнаты в Тремонт-Хаузе и начнет жизнь джентльмена. Ведь его жалованья хватит недели на две, а то и больше.

Подобные рассуждения помогали провести время в ожидании ветра, который рассеял бы туман и дал нам возможность продолжать путь.

К ночи потянул умеренный бриз, однако туман оставался таким же густым, и мы продолжали держать на ост. В середине первой вахты впередсмотрящий заорал «Руль на ветер!» таким голосом, что мы сразу поняли — нельзя терять ни секунды. И сразу же из тумана прямо на нас надвинулась громада встречного судна. Оно в тот же миг привелось к ветру, и мы разошлись буквально бортами, так что наш бизань-гик чиркнул у него по корме. Вахтенный помощник едва успел окликнуть их, но в ответ прокричали лишь что-то о Бристоле. Возможно, это был китобой из Бристоля в Род-Айленде. Туман держался всю ночь при очень легком ветре, и мы шли на фордевинд курсом на ост буквально на ощупь. Каждые два часа бросали лот, и переход от черного ила к песку показал, что мы приближаемся к южной Нантакетской отмели. В понедельник утром глубины стали возрастать, а вода сделалась темно-голубого цвета; грунт представлял собой белый песок с ракушками. Это были верные признаки Джорджес-Банки. Мы немедленно повернули на норд, полностью полагаясь на замеры глубины, несмотря на то что уже двое суток не имели обсерваций и еще не видели земли; хотя ошибка даже в восьмую долю мили могла привести нас к посадке на мель. Весь день сохранялся слабый ветер. В восемь часов от встречной рыбацкой шхуны мы узнали, что находимся почти на широте Чатемского маяка. Перед самой полуночью с берега потянул легкий бриз, сообщивший нам порядочный ход, и в четыре часа, полагая, что уже прошли мыс Рейс, мы привелись к ветру и легли на вест-норд-вест — прямо на Бостонский маяк. Мы сразу же начали палить из пушек, запрашивая лоцмана. Наша вахта сменилась, но никто не мог уснуть из-за грохота выстрелов на палубе. Впрочем, это ничуть не огорчало нас, ведь мы были уже в заливе Мэн и могли рассчитывать, что при благополучном стечении обстоятельств уже следующей ночью нам не придется выскакивать каждые четыре часа на палубу.

С рассветом все встали, не ожидая команды, чтобы взглянуть на землю. В сером утреннем тумане неясно различались силуэты

двух рыбачьих суденышек. А когда взошло яркое солнце, осветились низкие песчаные дюны Кейп-Кода, лежавшие у нас слева по корме, и прямо по носу — широкий Массачусетский залив, ровную поверхность которого то тут, то там бороздил парус. Приближаясь к входу в гавань, словно к фокусу призмы, мы видели все больше и больше судов, и скоро бухта уже кишела скользящими во всех направлениях парусами. Для нас это было волнующее зрелище, ведь мы провели многие месяцы в океане и не видели ничего, кроме двух таких же одиноких, как мы, судов, а если считать за два года, то можно добавить трех-четырех «купцов» на диком и пустынном берегу. Здесь же сновали маленькие каботажники, курсирующие между городками на Южной стороне: несколько больших судов подтягивались к входу в гавань; где-то далеко, за мысом Энн, виднелся дым парохода, стлавшийся по воде узким черным облаком. Мы возвращались к своим домам, и вокруг множились признаки цивилизации, благополучия и мирной жизни, от коих мы были столь долго оторваны. Уже ясно различался высокий берег мыса Энн и утесы Коэссета. Перед входом в каждый заливчик, словно часовые в белых мундирах, стояли маяки, а в Хингэмской долине можно было рассмотреть даже дымы, поднимавшиеся из труб в ясном утреннем воздухе. Один из наших парней был сыном корзинщика, и его лицо осветилось радостью, когда он увидел вершины холмов, окружающих место, где он родился и вырос. Около десяти часов, подпрыгивая на волнах, к нам подошел небольшой бот. Высадив лоцмана, он сразу же отвалил, спеша перехватить другие входящие суда. Мы шли теперь в пределах видимости телеграфных станций, и на фок-мачте были подняты сигнальные флаги — наши позывные, так что через полчаса судовладельцы у себя на бирже или в конторе уже знали о приходе своего судна, а хозяева бординг-хаузов, спекулянты и прочие «акулы» с Энн-стрит почуяли поживу — ведь пришел «горновский» корабль, и его команда получит расчет сразу за два года.

Ветер продолжал оставаться довольно слабым, и нас всех отправили на мачты снимать чефинги [73]. Баттенсы, оплетки, маты, кожи и всякого рода клетневина полетели вниз, оставив такелаж чистым и аккуратным. И наконец все завершилось покраской трюм-стеньг. Меня послали на фок с ведерком белил и кистью, и я обработал стеньгу от клотика до огонов бом-брамсельного такелажа. К полудню мы совсем заштилели у «внутреннего» маяка. С Хингэма доносилась пушечная пальба, как объяснил нам лоцман, — по случаю происходившего там смотра. Судя по всему, у нас было мало надежды стать на якорь до наступления ночи. Около двух часов от веста слегка задуло, и мы

двинулись в лавировку против ветра. Одновременно с нами в том же направлении шел какой-то бриг, и мы попеременно расходились с ним на встречных галсах. От двух до четырех как раз подошла моя очередь заступить на руль, и так я отстоял свою последнюю вахту у штурвала; в общей же сложности мне пришлось управлять нашими двумя судами почти тысячу часов. Начавшийся тем временем отлив замедлил наше продвижение, и вся вторая половина дня ушла на то, чтобы выйти на траверз «внутреннего» маяка. Мы видели несколько судов, выходивших из порта, и среди них большой красавец корабль с выровненными реями. Он пронесся мимо нас с попутным ветром, как скаковая лошадь, и матросы на его реях проворно выстреливали лисель-спирты. К закату ветер стал порывистым и временами крепчал так, что лоцман велел убрать бом-брамсели, но тут же стихло и, желая привести нас в порт до усиления отливного течения, он был вынужден снова поставить их. Чтобы постоянно не гонять людей вверх-вниз по вантам, на каждом марсе оставили по человеку, чтобы отдавать или убирать парус по команде. Я занял свое место на фок-мачте, и пока мы шли между Рейнсфорд-Айлендом и крепостью, раз пять ставил бом-брамсель. На одном из галсов мы настолько приблизились к берегу, что казалось, будто строения рейнсфорд-айлендского госпиталя, его красивые гравийные дорожки и зеленые лужайки лежали под ноками наших реев. Проход здесь так узок, что наш бом-утлегарь проплыл над самыми стенами внешних укреплений острова Джордж; одновременно мы имели возможность удостовериться в господствующем положении фортов: «Элерт» три или четыре раза поворачивался к ним бортом, так что хватило бы одной пушки, чтобы разнести нас на куски.

Все мы жаждали войти в гавань еще до темноты и сегодня же перебраться на берег, однако отлив все сильнее препятствовал нам, почти не давая возможности двигаться вперед. Лоцман приказал взять якорь на кат и, сделав два длинных галса в бейдевинд, благодаря чему мы оказались на рейде с подветренной стороны крепости, взял марсели на гитовы и отдал якорь, который впервые после отплытия из Сан-Диего — то есть через сто тридцать пять дней — коснулся грунта. А через полчаса мы уже стояли в бостонской гавани с аккуратно скатанными парусами. Наше долгое плавание завершилось. Нас окружала знакомая картина. Город окутался темнотой, и в окнах засветились огни. В девять часов послышался знакомый перезвон колоколов.

Едва мы кончили скатывать паруса, как очаровательная прогулочная яхта подошла к нашему борту, и младший партнер

фирмы, владевшей «Элертом», мистер Хупер, прыгнул на борт. Я был в это время на крюйс-марса-рее и сразу узнал его. Он подал капитану руку и спустился в каюту, а через несколько минут вышел опять на палубу и спросил у старшего помощника обо мне. Последний раз, когда мы виделись с ним, я был в костюме гарвардского студента, и теперь он не мог скрыть своего удивления при виде спустившегося с мачты загрубевшего парня в парусиновых штанах и красной рубахе, с длинными волосами и лицом, темным, как у индейца. Мы пожали друг другу руки, после чего мистер Хупер поздравил меня с возвращением и отменно здоровым видом. Он тут же присовокупил, что все мои друзья тоже в добром здравии, ибо всего несколько дней назад он разговаривал с кем-то из нашего семейства. Я от души поблагодарил его за эти известия, тем более что я сам не решился бы спросить об этом.

Капитан отправился в город на яхте вместе с мистером Хупером и оставил нас еще на одну ночь на судне. Подходить к причалу мы должны были с утренним приливом с лоцманом на борту.

Все уже настолько почувствовали себя дома, что за ужином почти никто не притронулся к нашим обычным сухарям и солонине. Многие, особенно те, кто впервые ходил в плавание, едва заснули. Что касается меня, то по какой-то необъяснимой перемене настроения я испытывал совершенное безразличие ко всему окружающему. Год назад, когда мы таскали шкуры, одна мысль о том, что через двенадцать месяцев я снова увижу Бостон, вызывала во мне невероятно сильное волнение. Но теперь, когда я оказался здесь наяву, то почему-то не испытывал тех чувств, которых ожидал, а вместо них наступила полная апатия. Нечто подобное рассказал мне один матрос о своем возвращении домой после первого плавания на Северо-западное побережье, длившегося пять лет. Он покинул дом мальчишкой, и когда после стольких лет тяжелой жизни они вышли в обратный рейс, то волнение не позволяло ему ни говорить, ни думать о чем-либо другом, как о возвращении на родину, о том, как он перепрыгнет через борт и побежит домой. Но когда судно ошвартовалось у причала и распустили команду, он тоже совершенно неожиданно потерял интерес ко всему окружающему. Спустившись вниз, он переоделся, набрал воды и не спеша умылся; затем еще раз перебрал вещи в сундучке, набил трубку и закурил. Оглядывая кубрик, в котором он так долго жил и где теперь, кроме него, не было ни души, он ощутил настоящую тоску. И лишь когда его брат (узнавший о приходе судна) пришел за ним и рассказал обо всех семейных делах, он смог направиться к дому, который

столько лет оставался для него недостижимой мечтой. По всей вероятности, долгое ожидание чего-либо сопровождается таким нервным перенапряжением, что когда желаемое исполняется, то в человеке словно что-то цепенеет. Так же случилось и со мной. Быстрое продвижение судна, открывшийся берег, заход в гавань и знакомые картины до крайности возбудили мой ум, а затем абсолютная неподвижность окружающего, когда уже нечего было больше ждать и не надо было исполнять никакой физической работы, повергли меня в состояние тупого безразличия. Но на следующее утро, когда наверх вызвали всю команду и мы занялись уборкой палубы и приготовлениями к швартовке, а также стали заряжать пушки для салюта, мои тело и душа вновь пробудились от сна.

Около десяти часов потянул морской бриз, лоцман дал команду сниматься, матросы стали на шпиль, и под протяжное «Пошел!», разносившееся по нашему судну в последний раз среди безлюдных холмов Сан-Диего, якорь вышел из воды. Попутный ветер и прилив подхватили судно, и оно, неся бом-брамсели и трюмсели, с развевающимися кормовым и сигнальными флагами и вымпелами, под грохот пушек быстро и аккуратно подошло к городу. Около самого причала мы легли в дрейф, отдали якорь, и не успел он еще коснуться грунта, вся палуба заполнилась людьми: таможенниками, торговцами, частными лицами, наводящими справки о своих знакомых, всевозможными «отиралами» и, конечно же, посыльными бординг-хаузов, торопящимися не упустить клиентов. Ничто не может сравниться с любезностью этих людей и тем вниманием, которое они оказывают вернувшемуся из долгого плавания матросу. Двое или трое хватали за руки и уверяли, что хорошо знают меня, так как я жил у них раньше, и теперь они страшно рады моему возвращению. А вот и их визитные карточки, а на набережной уже ждет тележка, чтобы отвезти мои вещи. Они охотно помогут перетащить сундучок на берег, а если на судне случится какая задержка, то можно принести бутылку грога. Мы едва отделались от них, когда надо было лезть на мачты убирать паруса, теперь уже в последний раз. После этого оставалось лишь завести швартов на берег и стать к шпилю. С песней, которая разбудила половину Северной стороны, мы подтянули судно к причалу. Колокола на городской башне пробили час как раз в тот момент, когда вокруг битенгов был заведен последний шлаг швартового троса и команда распущена. Через пять минут на нашем добром «Элерте» не осталось ни души, кроме старика сторожа, присланного из конторы.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Два года и целая жизнь

«Я не видел города прекрасней, чем Петербург. Он намного превосходит Париж и по ширине улиц, и по изяществу жилых домов, которые большей частью построены из кирпича, а сверху оштукатурены так, что выглядят каменными» — так в 1781 году писал домой секретарь Фрэнсиса Даны, первого американского посланника в России. Хотя официальной аудиенции у Екатерины II Фрэнсис Дана не удостоился, однако начало дипломатическим отношениям между Россией и США тогда было все-таки положено, и, кто такой Фрэнсис Дана, у нас знали и помнили.

А в следующем столетии, в 1840-х годах, на страницах русских журналов можно было встретить имя его сына Ричарда Генри Даны, поэта-романтика.

Однако самый знаменитый представитель того же семейства — Ричард Генри Дана-младший (1815 — 1882 годы) — остался у нас практически не известен. Это и был внук посла, сын поэта, автор книги «Два года на палубе» (1840).

Книгу Даны литераторы-историки называют иногда путевым дневником, иногда — романом. Сейчас подобные произведения относят к художественно-документальной прозе, полагая, что в этом жанре литературы все должно быть достоверно и в то же время преображено, обобщено по законам творческого вымысла. Установить, так ли было на самом деле, как описано в книге, уже едва ли возможно: возвращаясь из плавания, Дана потерял свои дневники. Это, собственно, и побудило его воссоздать картину морских странствий, которая была признана в своем роде классической.

Вот как сложилась судьба автора и его книги. Ричард Генри Дана-младший, ушедший в плавание простым матросом, принадлежал, как мы уже упоминали, к американской элите. Можно также добавить, что за его плечами насчитывалось пять поколений, не только носивших то же имя, но живших все на той же земле — в так называемой Новой Англии, в штате Массачусетс, в Кембридже, где находится Гарвард, старейший американский университет. Английская колонизация Америки началась, как известно, с юга, а здесь, на северо-востоке, обосновалась эмиграция преимущественно идейная — люди, покидавшие Старый свет по соображениям духовным, прежде всего религиозным, которые были тесно переплетены с интересами общественными и политическими. Чего же здесь

искали пилигримы, по крайней мере те из них, которые, подобно Дане, гордились своей принадлежностью к Новой Англии и своими глубокими корнями в американском, новом Кембридже? Уже сами эти географические названия отображают их основные помыслы — создать улучшенную копию их исконной родины. Идеал, чреватый, прямо скажем, глубокими противоречиями. Дана-младший, представитель шестого поколения обитателей Новой Англии, испытал это на себе. Свою жизнь, несмотря на литературный успех, он считал неудавшейся. Ведь свою книгу «Два года на палубе» он написал в ранней молодости как бы между прочим, а стремился главным образом к деятельности государственной, дарованной ему, можно сказать, по наследству. А его, потомственного лидера, оттесняли в сторону, укоризненно или насмешливо именуя «аристократом».

Хорош «аристократ» (сердился в ответ Дана), который два года прослужил палубным матросом, хорош «аристократ», который выступал в защиту рабов, хорош «аристократ», у которого, наконец, нет ни состояния, ни привилегий! Так оно и было в действительности — плавал матросом, защищал беглых невольников, не имел больших владений или состояния, а также привилегий. Привилегий не было, но претензии оставались. Как говорили о Дане злые языки, «прослужил два года матросом, а потом всю жизнь провел в закрытом клубе, предаваясь воспоминаниям в избранном кругу друзей». Это, конечно, преувеличение хотя и реальной, но парадоксальной ситуации, в которой оказались «отцы Новой Англии», а также их потомки — вдохновители войны за независимость. Они же, по существу, не хотели порывать с Англией, желая видеть свое государство устроенным по британскому образцу, где «истинным джентльменам» жилось бы удобно и хорошо. Вот почему колыбель Даны, Новая Англия, сыгравшая на заре американской революции действительно ведущую роль, со временем все больше становилась своеобразной провинцией, хотя и высокоразвитой, однако отъединенной от основной массы столь пестрого американского населения.

Круг друзей Даны был поистине исключительным. Это определялось его принадлежностью к особой среде. Кто был секретарем его отца? Сын Джона Адамса — вице-президента, а потом и президента Соединенных Штатов. Адамс-младший сам со временем стал президентом, а Дана-младший дружил с его сыном, послом. Где учился Дана? Конечно же, в Гарварде. Его соучеником был Оливер Уэнделл Холмс, врач и поэт, отец Оливера Уэнделла Холмса-младшего, будущего генерального судьи США. С кем породнился Дана? Со своим непосредственным

и многолетним соседом по Кембриджу — с Лонгфелло. Дочь знаменитейшего американского поэта вышла замуж за Ричарда Генри Дану-третьего. Этот круг так и именовали браминами — «высшей кастой». Сознание кастовости им, безусловно, было свойственно, и настолько, что Дана уклонился от встречи с приехавшим из-за океана Диккенсом, ссылаясь на то, что: «Уж чересчур все хотят с ним познакомиться». Ведь брамины из Новой Англии держались особняком, хотя и участвовали в распространении идей свободы и демократии.

И было бы исторической ошибкой не воздать должное их гражданской, просветительской деятельности. Но если мы зададимся вопросом, почему же в России Дану в свое время все-таки не заметили, то одной из причин, быть может, был некоторый снобизм, иначе говоря, высокомерие, некая стерильность его великодушия. Дана числится среди основателей целой группировки, призывавшей к освоению «свободных земель». Однако сам вдохновитель в этом освоении не участвовал и фактически не представлял себе, какая то была кровавая мясорубка. Действительно, выступавший в защиту невольников Дана только пожал плечами, когда Линкольн опубликовал свою Прокламацию об освобождении рабов. Прокламация показалась ему неясной, половинчатой, и она такой и была, но все же это был политический документ громадного практического значения. А что сделал сам Дана, когда уже после одержанной победы его привлекли к расследованию дела Джефферсона Дэвиса, президента Конфедерации южных штатов? Дана посоветовал дела не поднимать, и крупнейший государственный преступник так и не был судим. Вот что всерьез имелось в виду, когда Дану-младшего, как и других новоанглийских браминов, называли «аристократами»: их идеалом была некая сословная благоустроенность, мыслимая по тем временам и нравам разве что для людей, имевших возможность собираться каждую субботу в одном из «лучших домов Бостона» (или соседнего с ним Кембриджа, штат Массачусетс).

Если у Даны не сложилась яркая политическая жизнь, то ему удались сравнительно краткий жизненный эксперимент и книга, ему посвященная. Это стало возможным потому, что в его произведении удачно отражены наиболее привлекательные черты его натуры, незаурядной, отзывчивой, хорошо культивированной.

Обстоятельства были таковы. На втором году обучения в Гарварде у Даны резко ухудшилось зрение. В некоторых источниках указывается, что у него, кроме того, начались нелады с университетским начальством, но главное — заболевание глаз, возможно, так называемый «весенний катар», болезнь возрастная

и характерная для юношей. А возможно, это было осложнение после кори. Как бы там ни было, учение следовало прервать на длительный срок и заняться здоровьем. А средств на лечение в Европе у семьи тогда не было. Оставалось два «домашних» варианта — либо слоняться без дела в Кембридже, либо плыть пассажиром вдоль американских берегов. Но плыть пассажиром — то же бездействие, особенно если нельзя много читать, — так рассудил Дана. И он решил стать матросом. Конечно, на время. Вообще все это было устроено именно в порядке опыта и оговорено Даной-старшим со знакомыми капитанами. Но при любых благоприятных условиях это был смелый замысел, подлинное приключение, авантюра в исходном значении этого слова, означающего смелое предприятие.

Североамериканский континент в ту пору еще оставался неосвоенным, наполовину неведомым для самих американцев. Восточное побережье и часть Среднего Запада — все, что к тому времени, когда на палубу торгового судна ступил Дана, составляло территорию Соединенных Штатов. Большая часть Юга, в том числе Техас, еще принадлежала Мексике. Пройти через континент в западном направлении могла только военная экспедиция. В Калифорнии, куда в конце концов прибыл Дана, государственные границы вообще не были отчетливо определены, над этой территорией осуществляли контроль различные и весьма многочисленные миссии, которые когда-то были религиозными, а впоследствии стали военными и торговыми, — миссии английские, испанские и, пожалуй, в последнюю очередь американские. Таким образом, юный новоанглийский брамин отправлялся в плавание с чувством первооткрывателя. И уж, конечно, то, о чем он впоследствии рассказал, для большинства его читателей было привлекательно своей познавательной новизной.

Ко всему прочему следует добавить, что и Панамского канала тогда не существовало, поэтому Дана, как заправский мореплаватель, обогнул Южноамериканский континент, пройдя вокруг знаменитого мыса Горн, причем дважды — туда и обратно.

Цель, ради которой Дана отправился в море, была им достигнута — он вылечился. Затем окончил Гарвардский университет, стал юристом, и вот тогда, в ожидании судебных дел, которые он должен вести, он и написал свою путевую книгу. Надо сказать, что рекламу он себе создал весьма эффективную. Когда книга обрела успех, недостатка в клиентуре он не испытывал. Однако не следует думать, будто клиентов привлекала просто литературная слава Даны. Нет, по книге было видно, что автор человек основательный, правдивый, он же не

вымыслами какими-нибудь читателей потчует, а дело говорит, рассказывает все, как было в действительности, сопровождая свое повествование разумными и в то же время ненавязчивыми суждениями.

Рукопись по достоинству оценили родственники и друзья, а также крупный нью-йоркский издатель. Оценил, однако ни вида, ни слуха не подал. Когда же Дана обратился к нему с письмом, желая наконец узнать о судьбе своего произведения, тот ответил, что, пожалуй, издаст эту рукопись, но, не надеясь на успех, готов уплатить лишь за право публикации — без последующей платы с тиража. А в дальнейшем тиражи пошли вверх и, как стороной узнал Дана, издатель нажил на его книге тысяч десять, уплатив ему всего лишь двести пятьдесят долларов.

Для того чтобы лучше представить себе, чем же могла поразить читателей-современников книга Даны, следует проделать простой опыт — открыть для сравнения любой «морской» роман самого известного литературного соотечественника Даны (и, понятно, его знакомого) — Джеймса Фенимора Купера. Сам Дана в предисловии осторожно намекнул, что его книга по стилю совсем не куперовский «Красный корсар». Но сравнение получится особенно наглядным, если рядом с повестью «простого матроса» положить «Мерседес из Кастильи». Этот роман Купера о путешествии Колумба и «Два года на палубе» Даны вышли одновременно, но, кажется, что принадлежат разным эпохам!

И дело не только в стиле. Море в то время играло огромную роль в жизни страны, служило средством передвижения, источником существования, театром военных действий. Соответственно «морская» литература, как художественная, так и документальная, затрагивала центральные национальные проблемы. Фенимор Купер создавал не только «морские» романы, он писал также историю флота, где четко прослеживается мысль, что история американского флота — это история Соединенных Штатов. Но в документальном или романтическом жанре автор «Красного корсара», «Лоцмана» или «Мерседес из Кастильи» писал о прошлом, к тому же, как говорили, на языке «поэзии соленых волн». Не будем преуменьшать выдающихся достоинств поэзии тех времен, которая, кстати, производила в свое время на читателей сильнейшее впечатление. И вдруг Ричард Генри Дана своей книгой развеял магические чары, устранил всякую дистанцию во времени и пространстве, открыв перед читателем картину морской жизни как обычной повседневности.

Задача Даны — привлечь внимание к жизни на море, в то же время не идеализируя, не героизируя ее. Небольшое судно,

затерянное в океане, — клеточка общества, и потому, вступив на палубу, естественно посмотреть и обсудить, как решаются здесь те же злободневные проблемы, что и на суше. Вес каждой детали жизни на судне, попадающей в поле зрения повествователя, определяется ее универсальным значением — нравственным, политическим и, наконец, хозяйственным. Речь идет о людях, работающих в море и в то же время живущих в обществе, а нравы общества, его возможное совершенствование составляют предмет постоянного пристального внимания Даны, потомка пилигримов-преобразователей, прибывших в Новый свет исключительно ради дерзкого эксперимента — обновления человечества. Многие надежды отцов-пилигримов уже развеялись как иллюзорные, но все же их потомок остается проповедником и воспитателем, хотя и ненавязчивым. Он внимательно присматривается к этой особой породе людей, к морякам, понимая, что особые условия их существования и труда тем отчетливее обостряют проблемы, решение которых не может не волновать каждого достойного гражданина.

Страницы, где описываются произвол капитана и телесные наказания на «Пилигриме», произвели в свое время потрясающее впечатление. И не только потому, что о грубости морских нравов никто прежде не говорил во весь голос, а потому, что это оказалось доложено так просто, ясно и непосредственно, как повседневный факт.

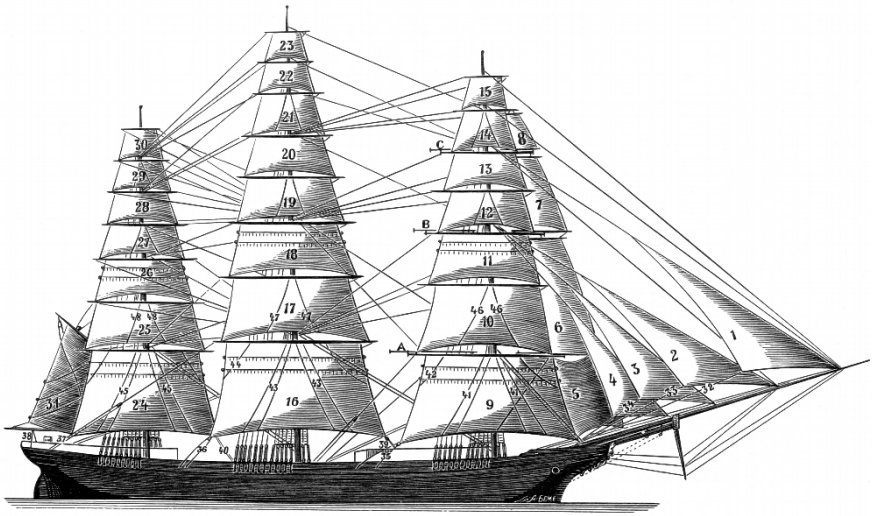
Позиция «простого матроса», от лица которого ведется повествование, была выдержана автором книги с большим умением и тактом. Конечно, ведь перед нами не простой матрос, а новоанглийский брамин, оказавшийся на время на его месте, и это не просто формальная подмена. Дана и так извинялся перед своими читателями за то, что им, возможно, было допущена излишняя грубость выражений и непритязательность описаний, а реальность морской службы была в действительности куда более суровой. Но как этап «Два года на палубе» сыграли роль весьма значительную.

Прямо по следам Даны шел еще один крупнейший «морской» писатель, довольно широко у нас известный — Герман Мелвилл. Он высоко ценил Дану, подружился с ним, хотя взгляд Мелвилла оказался не только более жестким, но и по-иному направленным. Если Дана был просветителем, проповедником, реформатором, убежденным, что все дело в улучшении условий морской службы и царящих там нравов, то Мелвилл, потрясший читателей картинами человеческого неистовства, стремился гораздо глубже заглянуть в природу добра и зла. Продвигаясь в освоении литературно-символического «моря» дальше, автор «Белого

бушлата» и «Моби Дика» всегда оглядывался на Дану как на лидера, проложившего ему путь. Нет никакого сомнения, что это впервые публикуемое в нашей стране произведение Ричарда Генри Даны в силу своих больших познавательных и художественных достоинств будет с интересом встречено нашими читателями.

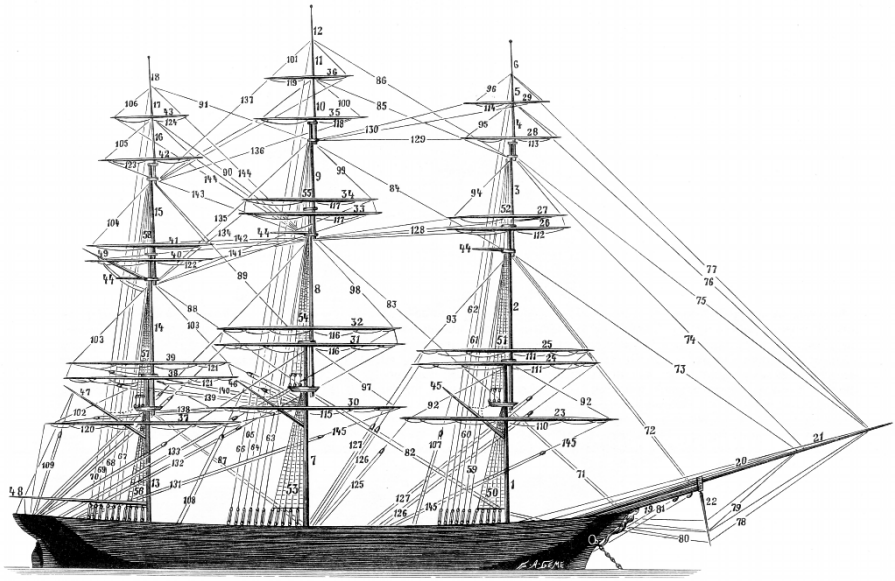
Д. М. Урнов, доктор филологических наук

ПРИЛОЖЕНИЯ



Паруса и их бегучий такелаж

1. Бом-кливер; 2. Кливер; 3. Средний кливер, или кливер № 2; 4. Фор-стеньги-стаксель; 5. Ундер-лисель; 6. Фор-марса-лисель; 7. Фор-брам-лисель; 8. Фор-бом-брам-лисель; 9. Фок; 10. Нижний фор-марсель; 11. Верхний фор-марсель; 12. Нижний фор-брамсель; 13. Верхний фор-брамсель; 14. Фор-бом-брамсель; 15. Фор-трюмсель; 16. Грот; 17. Нижний грот-марсель; 18. Верхний грот-марсель; 19. Нижний грот-брамсель; 20. Верхний грот-брамсель; 21. Грот-бом-брамсель; 22. Грот-трюмсель; 23. Грот-мунсель; 24. Бизань; 25. Нижний крюйсель; 26. Верхний крюйсель; 27. Нижний крюйс-брамсель; 28. Верхний крюйс-брамсель; 29. Крюйс-бом-брамсель; 30. Крюйс-трюмсель; 31. Контра-бизань; 32. Бом-кливер-шкот; 33. Кливер-шкот; 34. Шкот кливера № 2; 35. Фока-шкот; 36. Грота-шкот; 37. Бизань-шкот; 38. Контр-бизань-шкот; 39. Грота-галс; 40. Бизань-галс; 41. Фоковые бык-гордени; 42. Фоковые нок-гордени; 43. Гротовые бык-гордени; 44. Гротовые нок-гордени; 45. Бизань-бык-гордени; 46. Фор-марса-бык-гордени; 47. Грот-марса-бык-гордени; 48. Крюйс-марса-бык-гордени; А. Фор-марса-лисель-спирт; В. Фор-брам-лисель-спирт; С. Фор-бом-брам-лисель-спирт.



Рангоут, стоячий и бегучий такелаж судна корабельного вооружения

1. Фок-мачта; 2. Фор-стеньга; 3. Фор-брам-стеньга; 4. Фор-бом-брам-стеньга; 5. Фор-трюм-стеньга; 6. Флагшток; 7. Грот-мачта; 8. Грот-стеньга; 9. Грот-брам-стеньга; 10. Грот-бом-брам-стеньга; 11. Грот-трюм-стеньга; 12. Флагшток; 13. Бизань-мачта; 14. Крюйс-стеньга; 15. Крюйс-брам-стеньга; 16. Крюйс-бом-брам-стеньга; 17. Крюйс-трюм-стеньга; 18. Флагшток; 19. Бушприт; 20. Утлегарь; 21. Бом-утлегарь; 22. Мартин-гик; 23. Фока-рей; 24. Нижний фор-марса-рей; 25. Верхний фор-марса-рей; 26. Нижний фор-брам-рей; 27. Верхний фор-брам-рей; 28. Фор-бом-брам-рей; 29. Фор-трюм-рей; 30. Грота-рей; 31. Нижний грот-марса-рей; 32. Верхний грот-марса-рей; 33. Нижний грот-брам-рей; 34. Верхний грот-брам-рей; 35. Грот-бом-брам-рей; 36. Грот-трюм-рей; 37. Бегин-рей; 38. Нижний крюйс-марса-рей; 39. Верхний крюйс-марса-рей; 40. Нижний крюйс-брам-рей; 41. Верхний крюйс-брам-рей; 42. Крюйс-бом-брам-рей; 43. Крюйс-трюм-рей; 44. Рожки салингов; 45. Фор-гафель; 46. Грота-гафель; 47. Бизань-гафель; 48. Бизань-гик; 49. Верхний бизань-гафель; 50. Фок-ванты; 51. Фор-стень-ванты; 52. Фор-брам-ванты; 53. Грот-ванты; 54. Грот-стень-ванты; 55. Грот-брам-ванты; 56. Бизань-ванты; 57. Крюйс-стень-ванты; 58. Крюйс-брам-ванты; 59. Фор-стень-фордуны; 60. Фор-брам-бакштаги; 61. Фор-бом-брам-бакштаги; 62. Фор-трюм-бакштаги; 63. Грот-стень-бакштаги; 64. Грот-брам-бакштаги; 65. Грот-бом-брам-бакштаги; 66. Грот-трюм-бакштаги; 67. Крюйс-стень-бакштаги; 68. Крюйс-брам-бакштаги; 69. Крюйс-бом-брам-бакштаги; 70. Крюйс-трюм-бакштаги; 71. Фока-штаги; 72. Фор-стень-штаги; 73. Кливер-леер; 74. Фор-брам-штаг; 75. Бом-кливер-леер; 76. Фор-бом-брам-штаг; 77. Фор-трюм-штаг; 78. Бом-утлегарь-штаг; 79. Мартин-штаг; 80. Мартин-бакштаги; 81. Ватер-штаги; 82. Грота-штаги; 83. Грот-стень-штаги; 84. Грот-брам-штаг; 85. Грот-бом-брам-штаг; 86. Грот-трюм-штаг; 87. Бизань-штаги; 88. Крюйс-стень-штаг; 89. Крюйс-брам-штаг; 90. Крюйс-бом-брам-штаг; 91. Крюйс-трюм-штаг; 92. Фока-топенанты; 93. Фор-марса-топенанты; 94. Фор-брам-топенанты; 95. Фор-бом-брам-топенанты; 96. Фор-трюм-топенанты; 97. Грота-топенанты; 98. Грот-марса-топенанты; 99. Грот-брам-топенанты; 100. Грот-бом-брам-топенанты; 101. Грот-трюм-топенанты; 102. Бегин-топенанты; 103. Крюйс-марса-топенанты; 104. Крюйс-брам-топенанты; 105. Крюйс-бом-брам-топенанты; 106. Крюйс-трюм-топенанты; 107. Фор-трисель-эрнс-бакштаги; 108. Грот-трисель-эрнс-бакштаги; 109. Бизань-эрнс-бакштаги; 110—124. Перты; 125. Фока-брасы; 126. Нижние фор-марса-брасы; 127. Верхние фор-марса-брасы; 128. Нижние и верхние фор-брасы; 129. Фор-бом-брасы; 130. Фор-трюм-брасы; 131. Грота-брасы; 132. Нижние грот-марса-брасы; 133. Верхние грот-марса-брасы; 134. Нижние грот-брам-брасы; 135. Верхние грот-брам-брасы; 136. Грот-бом-брасы; 137. Грот-трюм-брасы; 138. Бегин-брасы; 139. Нижние крюйс-марса-брасы; 140. Верхние крюйс-марса-брасы; 141. Нижние крюйс-брам-брасы; 142. Верхние крюйс-брам-брасы; 143. Крюйс-бом-брасы; 144. Крюйс-трюм-брасы; 145. Шкентели брасов.

Краткий словарь морских терминов и выражений

Бак — на парусных судах, от которых сохранилось это название, — все пространство верхней палубы от форштевня до фок-мачты.

Бакштаг — курс парусного судна, при котором его диаметральная плоскость составляет с линией ветра угол более 90° и менее 180°.

Бакштаги — снасти стоячего такелажа, поддерживающие с боков рангоутные деревья.

Бейдевинд — курс судна, при котором его диаметральная плоскость составляет угол менее 90° с направлением ветра.

Беседка, иногда люлька — сиденье из доски, укрепленной на тросах, либо просто из троса, связанного двойным беседочным узлом.

Бизань-мачта — кормовая, самая задняя мачта у судов, имеющих три мачты и более.

Бить склянки — бить в судовой колокол определенное число ударов; каждый удар склянки соответствует получасу; счет идет от полуночи, повторяясь каждые четыре часа (от одной до восьми склянок).

Бом-брам-фал — снасть бегучего такелажа бом-брам-рея. Бом-брам-фалом ставится бом-брамсель путем подъема бом-брам-рея.

Борг — снасть, на которой висит нижний рей. Обычно борг бывает цепной, но встречается на мелких судах и тросовый.

Брам-фал — снасть бегучего такелажа брам-реев, с помощью которой поднимают и спускают брам-реи. Кроме того, им же поднимают реи при постановке брамселей.

Брасопить реи — ворочать реи брасами в горизонтальном направлении или, иначе говоря, если рей был прямо, то повернуть его брасами так, чтобы один его нок был впереди, другой пошел назад.

Брасы — снасти бегучего такелажа, закрепленные к нокам реев, с помощью которых поворачивают реи в горизонтальном направлении. Само поворачивание реев называется брасопкой их.

Бриг — двухмачтовое судно с прямым вооружением, но имеющее гафель на гроте.

Бригантина — судно с двумя мачтами (фок и грот). Фок-мачта с прямым вооружением (реями), как у брига, а грот-мачта с вооружением, как у шхуны.

Бросаться к ветру — говоря о парусном судне: быстро

восходить к линии ветра.

Булинь — снасть у нижних парусов и у марселей. Ими оттягивают наветренную боковую шкаторину паруса, чтобы он забрал больше ветра.

Бушприт — горизонтальный или несколько наклонный деревянный брус круглого сечения, выдающийся впереди форштевня.

Быть на ветре — быть ближе к тому месту, откуда дует ветер.

Ватервейс — на деревянных судах широкая толстая доска палубного настила, идущая вдоль бортов.

Вельбот — гребная и парусная шлюпка с одинаково острыми обводами носа и кормы.

Верповать — тянуть, тащить парусное судно посредством последовательного завоза верпа (вспомогательного якоря) в гаванях и на рейдах.

Впередсмотрящий — вахтенный матрос на баке, наблюдающий за всем происходящим в море впереди по курсу судна.

Выбрать слабину — подтягивать снасть так, чтобы она не провисала.

Выбрать конец — втянуть конец.

Вывалить — выдвинуть, вывести за борт, к борту. Вывалить шлюпку — приподнять с кильблоков и вывести шлюпку на шлюпбалках за борт.

Вымбовка — деревянный рычаг, служащий для вращения шпиля вручную.

Выстрел — длинное рангоутное дерево, укрепленное концом снаружи борта против фок-мачты.

Выхаживать — выбирать якорь-цепь отданного якоря и сам якорь при помощи шпиля или брашпиля.

Гакаборт — верхняя закругленная часть кормовой оконечности судна.

Галс — курс судна относительно ветра. Снасть или тали, удерживающие на должном месте нижний наветренный угол паруса.

Галфвинд — курс парусного судна, при котором его диаметральная плоскость составляет с направлением ветра угол в 90° (практически 80—100°). Про судно, идущее в галфвинд, говорят — судно идет в полветра.

Гитовы — снасти бегучего такелажа; служат для уборки парусов, ими подтягиваются шкотовые углы паруса к рее.

Гордень — снасть, проходящая через одношкивный

неподвижный блок.

Гордень у паруса — снасть бегучего такелажа, с помощью которой подтягивают нижнюю шкаторину паруса к рею.

Грот-мачта — вторая от носа, обычно самая высокая мачта на двухи трехмачтовых судах.

Дюйм — прежняя русская мера длины, равная 25,4 мм.

Заваливать, завалить — повернуть, убрать к борту или внутрь судна вынесенные за борт выстрелы, шлюпбалки, стрелы и т. п.

Заводить, завести — подавать, основывать; например, завести снасть, продернуть ее в блок.

Заходить — говоря о ветре — становиться круче.

Кабельтов — мера длины, равная 0,1 морск. мили, или 185,2 м.

Каболка — свитая из волокон пеньки по солнцу нить; из каболок спускаются (вьются) пряди, а из последних — тросы.

Кат-балка — поворотная балка, служащая для поднятия якоря от клюза до верхней палубы с помощью кат-талей, заложенных за скобу якоря.

Катиться под ветер — говорят о парусном судне, когда оно уклоняется под ветер.

Курсы корабля относительно ветра — угол между направлением ветра и диаметральной плоскостью судна; они выражаются, как правило, в румбах и иногда переводятся в градусы, имеют названия: противный, бейдевинд, галфвинд, бакштаг и фордевинд.

Лавировать — продвигаться на парусном судне к цели переменными курсами вследствие неблагоприятного направления ветра. *Лаг* — инструмент для определения скорости хода судна. *Лига* — мера длины, равная 3 морск. милям. *Линь* — тонкий трос, выделанный из пеньки высшего качества. *Лотлинь, лот* — прибор для измерения глубины моря. *Морская миля* — морская мера длины, равная 1852 м. *Мористее* — дальше от берега.

Найтовать — связывать, обвивая тросом два или несколько предметов. Трос при этом способе связки называется найтов. Принайтовать — привязать, положив найтов.

Нижние паруса — так обычно называют фок, грот на судах с прямым вооружением.

Нок — так называются концы всех реев, задние концы гиков,

верхние концы гафелей и внешние концы выстрелов. Кроме того, ноком называется внешний конец бушприта, утлегаря и бом-утлегаря.

Нок-бензель — бензель, которым принайтавливается парус к ноку рангоутного дерева.

Обрасопить (отбрасопить) — обрасопить паруса в бейдевинд — повернуть реи с помощью брасов таким образом, чтобы паруса стояли в бейдевинд. Обрасопить паруса по ветру — повернуть реи так, чтобы паруса занимали наивыгоднейшее положение относительно ветра.

Обстенить паруса — положить паруса на стеньгу, т. е. поставить их так, чтобы ветер дул в их переднюю сторону и тем самым прижимая их к стеньгам. При таком положении парусов парусное судно будет иметь задний ход.

Оклетневать снасть — положить на снасть клетень, т. е. обмотать ее тонким линем с помощью лопаточки или полумушкеля.

Остойчивость — способность судна выпрямляться, т. е. возвращаться в первоначальное положение, после его наклонения.

Перты — тросовые подвески под реями, на которых стоят люди при креплении парусов.

Поворот оверштаг — поворот судна, идущего под парусами, против ветра.

Поворот через фордевинд — поворот парусного судна по ветру.

Подветренный борт — борт, противоположный тому, на который дует ветер.

Приводить, привестись — держать круче к ветру. Привести к ветру означает взять круче, подняться, иметь курс относительно ветра, ближе крутому бейдевинду.

Приспускаться, приспуститься — идя под парусами бейдевинд, увеличить угол между курсом и направлением ветра. Катиться под ветер означает держать полнее.

Рангоут — круглые деревянные или стальные трубчатые части вооружения судов, предназначенные для несения парусов. К рангоуту относятся: мачты, стеньги, реи, гики, гафели, бушприт, утлегарь и т. п.

Риф-бант — полоса парусины, нашиваемая на парус параллельно его нижней шкаторине для увеличения прочности паруса в тех местах, где основан риф-штерт или сезни.

Рыскать — броситься к ветру.

Рыскливость — свойство парусного судна произвольно уклоняться в ту или другую сторону от курса.

Стеньга — рангоутное дерево, служащее продолжение мачты и идущее вверх от нее.

Суперкарго — лицо, отвечающее за груз.

Счисление — определение места судна без навигационных и астрономических наблюдений.

Табанить — грести в обратную сторону, чтобы дать шлюпке задний ход.

Такелаж — все снасти на судне, служащие для укрепления рангоута и для управления им и парусами.

Такелаж бегучий — снасти, которые служат для уборки и постановки парусов, для подъема и спуска рангоута. Термином «бегучий такелаж» обозначают все подвижные снасти, при посредстве которых выполняют работы, связанные с тягой, выбиранием, травлением.

Такелаж стоячий — такелаж, который служит для поддержки и укрепления рангоута. Будучи раз заведенным, стоячий такелаж всегда остается неподвижным.

Топ — верхний конец всякого вертикального рангоутного дерева, например мачты, стеньги и т. п.

Траверз — направление, перпендикулярное диаметральной плоскости судна.

Травить — ослаблять, выпускать, увеличивая длину какого-либо троса или цепи.

У валиться — уклониться под ветер, т. е. направить судно более полным по отношению к ветру курсом.

Узел — мера скорости, точнее, количество отрезков, равных 1/120 мили, проходимых судном за 1/2 минуты (т. е. за 1/120 часа) или количество морских миль, проходимых судном в час. Скорость 10 узлов — то же, что идти со скоростью 10 морских миль в час.

Узлы — служат для быстрого и надежного временного соединения конца с концом или с каким-либо предметом.

Управляемость — способность судна «слушаться» руля.

Фал — снасть бегучего такелажа, служащая для подъема подвижных реев, парусов, кормового флага и т. п.

Фальшборт — продолжение борта выше открытой верхней палубы, служит также ограждением, предохраняющим от падения

за борт.

Фок-мачта — первая от носа мачта на судах с двумя и большим количеством мачт.

Фордевинд — курс судна, когда ветер дует прямо в корму.

Форштевень — носовая деталь судового набора, являющаяся продолжением киля вверх.

Фут — единица длины в системе английских мер; равен 12 дюймам, или 0,3 м.

Ходкость — способность судна развивать определенную скорость хода в зависимости от силы ветра (у парусных судов).

Шкаторина — кромка паруса, обшитая ликтросом. *Шкимушгар* — линь, выделанный из пеньки низшего качества. *Шкот* — снасть бегучего такелажа, которой растягиваются нижние углы парусов.

Ют — часть палубы от бизань-мачты на многомачтовых или от грот-мачты на двухмачтовых парусных судах до гакаборта.

notes

Примечания

1

См. краткий словарь морских терминов и выражений, помещенный в конце книги. — *Здесь и далее примечания редакторов.*

2

См. схемы парусников, помещенные в конце книги.

3

Шанти — трудовая песня матросов во времена парусного флота.

4

По преимуществу *(фр.)*.

5

По должности, по обязанности, официально *(лат.)*.

6

«Собачьи вахты» — полувахты.

7

Ироническое название «Заповеди» американских моряков торгового флота прошлого века, в которой содержались прописные истины о положении матросов на судне.

8

Магеллановы облака (Большое и Малое) — две ближайшие к нам галактики.

9

Проба крестом, перен. — решающий опыт *(лат.)*.

10

Поэма Сэмуэла Тейлора Кольриджа «Сказания старого моряка».

11

Гавайские острова.

12

Перекличка часовых (*исп.*).

13

Форт *(исп.)*.

14

Слово «затемнить» часто употребляется на кораблях. Для матроса оно очень выразительно и обозначает наказание тяжелой работой. Если помощник капитана говорит: «Ну погоди, я тебя затемню!» — твоя судьба решена. Тебя действительно загоняют, если только ты не сумеешь взять над помощником верх. — *Прим. авт.*

15

Ленивцы — чисто древесные животные; они обитают в лесах Центральной и Южной Америки, питаются листьями и проводят всю жизнь на деревьях в подвешенном положении.

16

Людей из общества (букв, «людей рассудка») *(исп.)*

17

Испанец (*исп.*).

18

Фанданго — испанский танец.

19

Изображение адмиралтейского якоря с обнесенным вокруг штока и рогов канатом.

Здесь — «мазью, облегчающей страдания» *(лат.)*.

21

Ныне Лос-Анджелес.

22

Койоты, или луговые волки, типичные хищники из семейства собачьих, обитают на открытых пространствах на западе и в центральной части Северной Америки, на людей не нападают.

23

Из-за происшедшей впоследствии перемены кораблей капитан Томпсон прибыл в Бостон почти на год раньше «Пилигрима» и отправился в другое плавание; по этой причине матросы не имели возможности привлечь его к суду. Вскоре после выхода первого издания этой книги в 1841 году я получил письмо от Стимсона из Детройта, штат Мичиган (где он снова ступил на стезю коммерции), отрывок из которого и привожу здесь: «Что касается описания порки, то я полагаю, ты описал все, как было на самом деле, за исключением разве излишней сдержанности относительно зверского и подлого поведения капитана Томпсона. Когда все это случилось, я был в носовом трюме и вкратце опишу тебе происшедшее, насколько оно сохранилось у меня в памяти. Мы доставали в носовом трюме товары, заваленные шкурами, и для этого надо было перетаскивать шкуры с места на место. В это время Сэм поранил руку и, по своему обыкновению, стал чертыхаться безо всякой меры, хотя, как я полагаю, он не замечал, что капитан Томпсон стоит рядом. Капитан же грубо спросил, в чем дело, но Сэм из-за своего косноязычия не смог, как ни старался, сразу ответить. Наверно, от боли он, может быть, и был несколько резок. Так началась столь ярко нарисованная тобой сцена, представляющая, на мой взгляд, точное описание всего случившегося без малейшего преувеличения». — *Прим. авт*

24

Английские моряки *(исп.)*.

25

«Солдат» — самое последнее оскорбление для матроса и означает того, кто отлынивает от работы. Слово «пехота» чаще применяется к неумелым и неловким, кого считают сухопутным. Заставить матроса ходить взад-вперед по палубе с вымбовкой на плече, подобно часовому, самое постыдное наказание. На военном корабле для матроса первой статьи оно может оказаться хуже порки. — *Прим. авт.*

26

«О ловец волны» *(итал.)*.

27

Цепные ядра — два ядра, связанные куском цепи, — применялись для разрушения рангоута и такелажа.

«Браво! Еще разок! Да здравствуют моряки!» *(исп.)*.

29

Стандартная форма доклада о появлении кита на американских китобойных судах того времени.

30

Бичкомбер — моряк, предпочитающий слоняться на берегу; термин характерен для Тихого океана.

Здесь — ребрами.

32

У двух североамериканских родов гремучих змей *(Crotalus* и *Sistrurus)* на конце хвоста имеется погремушка, или трещотка, состоящая из подвижных сегментов, которые при быстрых колебаниях кончика хвоста производят своеобразный звук. Укусы гремучника крайне опасны для человека.

«Мой любимый Августин» *(нем.)*.

«Часовой! Будьте начеку!» *(фр.)*.

35

Водка *(исп.)*.

36

«Пастух, ты вольно раскинулся на спине под сенью буков» *(лат.)*.

Кстати *(фр.)*.

38

Калифорния была открыта Э. Кортесом в 1532 — 1533 годах (третья и четвертая экспедиции в Южное море) и названа «Калида Форнакс» (от *лат.* «жаркая печь»), откуда и пошло ее современное название.

Администраторов *(исп.)*.

40

Это было ранчо Сепулведа, где во время войны между Соединенными Штатами и Мексикой в 1846 году произошло сражение.

41

Гостиница для моряков, широко распространенное понятие времен парусного флота XVIII — XIX столетий.

42

Сплесень — место сращивания двух тросов.

43

Мне сообщили, что это описание китобойного судна оскорбило промышленников Нантакета, Нью-Бедфорда и Виньярда. Однако оно нисколько не преувеличено. Внешний вид подобного судна и его команды не мог не поразить воображение молодого человека, воспитанного в традициях «Элерта». В то же время многолетние наблюдения убедили меня, что во всем, относящемся к управлению судном, нет лучших моряков, к тому же столь отважных и искусных навигаторов, чем шкиперы и помощники с наших китобойцев. Тем не менее мне ни разу не посчастливилось встретить китобойное судно, внешний вид которого указывал бы на соблюдение морской дисциплины и порядка. Возможно, сама природа сего промысла делает невыполнимыми подобные требования и я судил слишком строго. — *Прим. авт.*

Такие взаимные визиты экипажей судов среди китобоев называются «свободной охотой».

Черт побери! *(исп.)*.

46

Через год Ричардсон поставил на том же месте одноэтажный кирпичный дом, считавшийся потом долгое время самым старым строением в городе Сан-Франциско. — *Прим. авт.*

Бог да вознаградит вас *(исп.)*.

«Так вы, но не вам» *(лат.)* (слова римского поэта Вергилия), то есть вы работаете, а плата дается другим.

49

Дон Томас *(исп.)*.

Капитан пляжа *(исп.)*.

Управляющий (*исп.)*.

52

Прогуляться *(исп.)*.

53

Ясновидящий (*исп.*).

Может быть, когда-нибудь и это всплывет в памяти *(лат.)*.

55

Тайный гражданский и уголовный суд в Англии в XV и XVII веках, своего рода английская инквизиция.

56

В Австралию.

57

У нас было немного золотого песка, который приносили мексиканцы и индейцы. Как я впоследствии узнал от владельцев фирмы, наши суда нередко привозили его, правда в небольших количествах. Слышал я и разговоры о золотых жилах, но никто почему-то не обращал на это внимания. — *Прим. авт.*

58

Когда по возвращении в Бостон была снята кат-балка, под ней оказались два отверстия, просверленные для дубовых клиновидных нагелей, которые почему-то забыли вогнать, и эта небольшая оплошность причинила нам множество неудобств. — *Прим. авт.*

59

Обычаи, касающиеся распределения «харчей», почти одинаковы на всех американских торговых судах. Если забивают свинью, матросам достается от этого бачок мяса. Все остальное идет в каюту на ют. На кур и прочие деликатесы команде не позволяют даже взглянуть. Но матросы даже не жалуются — ведь иначе пришлось бы держать на судах слишком много живности, чтобы хватило на всех. Хуже другое — солонина и та выдается не по совести. Когда открывают бочку, то прежде чем закладывать мясо в расходный бак, стюард выбирает самые лучшие куски для кают-компании. Делается это совершенно открыто, и нередко сами же матросы помогают откладывать то, что получше. Из-за таких порядков команде по большей части достаются жесткие, жилистые куски «старой клячи» (так называют такую солонину матросы). В среде моряков бытует рассказ о том, как в Бостоне был осужден мясник за продажу на судно старой конины вместо говядины. Он должен был сидеть в тюрьме до тех пор, пока не съест весь свой товар. Я не раз слышал эту историю даже на иностранных судах. Обычно она не вызывает никаких сомнений и встречает общее одобрение как пример торжества справедливости. — *Прим. авт.*

60

Морской дьявол (морской фольклор).

61

Обычное прозвище кока на всех судах.

62

4 июля 1776 г. была принята Декларация независимости, провозгласившая образование Соединенных Штатов Америки.

63

Приготовлявшееся для нас питье состояло (как и на большинстве американских торговых судов) из пинты чая, полутора пинт патоки и трех галлонов воды. Все это кипятилось в «медяшке», и перед раздачей содержимое кастрюли перемешивали палкой, чтобы каждый получил свою долю сладости и аромата чайных листьев. Но в кающе, конечно, чай заваривали, как обычно принято, в чайнике и пили с сахаром. — *Прим. авт.*

Сиеста *(исп.)* — послеобеденный отдых, дрема.

65

Название морского узла.

В силу самого факта, тем самым *(лат.)*.

67

Рулевой обязан слово в слово повторять каждую команду. Обычного «Есть, сэр!» здесь недостаточно. — *Прим. авт.*

Полоса штилей, где погибало много лошадей от недостатка воды и корма во время перевозки этих животных из Европы в Америку.

69

Эреб — в древнегреческих мифах — вечный мрак (одно из начал мира), порождение Хаоса.

Земная твердь *(лат.)*.

71

Намек на выражение «blow one's own horn» — «дуть в собственный рог», то есть бахвалиться, заниматься саморекламой; мыс Горн в переводе тоже означает рог.

72

По Фаренгейту.

73

Защита от перетирания.